Конст. Симонов

ОСТАЮСЬ ЖУРНАЛИСТОМ



Константин Симонов

ОСТАЮСЬ ЖУРНАЛИСТОМ

Путевые очерки, заметки, репортажи, письма
1958—1967

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА. 1968



От автора

Время действия этой книги 1958—1967 годы.

Большую часть этого времени я отдал своим романам о войне — работе, которая и сейчас еще не доведена до конца.

Однако больше трех лет из этих десяти прошло в поездках, иногда длительных, иногда недолгих, главным образом по Средней Азии, Северу и Северо-Востоку нашей страны.

Мне еще трудно, даже наедине с самим собой, определить, какие из этих поездок были преимущественно писательскими и какие — журналистскими. В большинстве случаев они были и тем и другим. Я привозил из них и записные книжки, в запас, на будущее, и печатал путевые заметки и репортажи, главным образом в «Правде», от времени до времени посылавшей меня своим разъездным корреспондентом в разные концы страны.

О том, что я вынес из этих поездок как писатель, говорить сейчас было бы рано и неосмотрительно. Сначала пишут роман, а уже потом, если потребуется, рассказывают, из чего он сложился.

А то, что я привез из своих поездок как журналист, составляет содержание этой книги, в которую вошла большая часть написанного за эти десять лет.

Последние годы у нас все меньше спорят на старую тему о том, в какой мере могут сочетаться в одном человеке профессии писателя и журналиста, не мешают ли они друг другу. Но все же эти споры иногда и сейчас вспыхивают и в писательском кругу и в писательском сознании, в последнем случае как споры с самим собою.

Для меня самого это спор в общем-то решенный.

Даже когда пишешь о таком, хотя уже отдаленном, но по-прежнему ни с чем не сравнимом по масштабам потрясений времени, как минувшая война, то сегодняшнее, живое, журналистское прикосновение к повседневной мирной жизни приносит тебе как писателю нечто весьма необходимое для твоего ощущения войны, для твоих оценок всего свершившегося.

Во имя чего и ради кого были принесены жертвы — есть один из наиболее важных политических и нравственных вопросов, встающих перед писателем, затрагивающим в своих сочинениях тему минувшей войны с фашизмом.

Какие дела, достойные подвига павших, совершены нами, живыми, за протекшие после войны десятилетия? И какое неуважение к памяти павших то там, то здесь проявляем мы не тем, что с опозданием ставим им памятники, а тем, что порою с еще недостаточным напряжением сил и самоотверженностью отдаем себя тому делу, за которое они погибли...

Конечно, нельзя рассматривать настоящее только с точки зрения этих вопросов, связанных с прошлым. Но для человека, пишущего о прошлом с позиций современности, ответы на эти вопросы очень нужны. И мне как писателю не раз помогала находить их именно моя журналистская работа.

Я назвал свою книгу «Остаюсь журналистом». Это самоощущение остается для меня и сейчас, на шестом десятке, таким же важным, каким было в молодости. А насколько оно верно, пусть судит читатель.

Константин СИМОНОВ

Январь, 1968 год.



ЧТО ТАКОЕ ГОЛОДНАЯ СТЕПЬ

Пламенный и душный сентябрьский день, в котором ничто не напоминает об осени. На железный борт «газика» руку кладешь, как на сковородку. В степи завиваются маленькие бурые смерчи песка и пыли, завиваются, и исчезают, и снова бегут к горизонту, как перекати-поле. Над головой висит серое, пыльное солнце, и шофер с трудом набирает в пересохшем арыке полбанки мутной жаркой воды, чтобы долить в закипевший радиатор.

Сто сорок первый километр Большого Узбекского тракта. На столбе пыльная табличка с потрескавшейся от жары краской: «Город Янги-Ер»; после столбика с табличкой еще километр такой же степи, как и до него, потом недостроенный каменный забор, вывеска «Автобаза № 56», столпотворение грузовиков, склады под открытым небом, горы леса и железной арматуры,

и вслед за этим компактный, сразу чувствуется, жестко спланированный квартал уже подведенных под крыши двухэтажных домов. Он обрывается так же неожиданно, как и начинается, за ним снова четыре или пять километров степи, и среди этой степи вторая табличка на столбе, такая же, как и первая: «Город Янги-Ер».

Таким осенью прошлого года по дороге в цветущую Ферганскую долину я впервые увидел Янги-Ер — центр начинающегося освоения Голодной степи.

И вот март нынешнего года. Снова те же места; Голодная степь словно нарочно хочет показать свое второе лицо, или, если хотите, изнанку. Тяжелая, мокрая, непогожая весна; уже много дней подряд дождь, ветер; дорога местами размыта. В начинающей зеленеть степи повсюду темными пятнами стоит вода, не то налившаяся сверху, не то выступившая из пор земли. Ветер мелкими порывами бороздит ее, а дождь колет тонкими иголками. В нескольких метрах от дороги беспомощно торчит хобот провалившегося в солончаковую трясину экскаватора, потом попадается полузатонувший трактор и рядом—второй, очевидно, пробовавший вытянуть его. Третий опасливо маневрирует рядом, ревя и посылая в хмурое небо килограммовые плевки грязи.

Голодная степь — строгая штука. Так говорят о ней люди, успевшие изучить ее нрав. Она страдает и от недостатка и от избытка воды. В ней нет пресной воды для полива, той воды, без которой здесь не зазеленеет ни одно дерево, ни один куст хлопка, и в то же время в ней избыток подпочвенных горько-соленых вод, выпирающих на поверхность при каждом промахе людей, осваивающих эти земли.

Людям, слышавшим слова «Голодная степь» и не взглянувшим при этом на карту, часто кажется, что Голодная степь — это где-то очень далеко, что туда надо ехать и ехать... На самом же деле от Ташкента до границы Голодной степи всего два часа на машине и примерно столько же до другого ее края — от Самарканда.

Голодная степь буквально под носом. Это кусок пустынной, не освоенной человеком земли — если брать в приблизительных цифрах, восемьдесят — сто километров в поперечнике,— почти со всех сторон охваченный давно или недавно освоенными землями Узбекистана, Южного Казахстана и Таджикистана.

Возникает вопрос: почему этот массив в сотни тысяч гектаров, по сути, плодородных земель, лежащий на перекрестке старых торговых путей, так мало был освоен до сих пор и почему даже теперь, при высоком уровне и большом количестве техники, работа по освоению обещает быть длительной и трудной?

Главная сложность, мешавшая до сих пор радикальному освоению Голодной степи, заключается в том, что вся ее территория представляет собой громадную замкнутую впадину, не имеющую достаточного естественного стока вод. Это обстоятельство и геологическое строение здешних почв создали во многих местах Голодной степи высокий уровень стояния соленых подпочвенных вод. Эти подпочвенные воды имеют постоянную тенденцию к подъему и соединению с водами, оказавшимися на поверхности земли. Эта тенденция усиливается при проведении через степь каналов. В то же время, если дать сюда по каналам пресную воду для полива, то количество солнца может обеспечить здесь великолепное вызревание хлопка.

Таково главное противоречие. Нужно дать пресную воду на поверхность Голодной степи и в то же время не допустить систематического подъема подпочвенных соленых вод. Если эта задача будет решена, то Голодная степь будет освоена. Если бы эту задачу не удалось решить, то освоение Голодной степи оказалось бы бесперспективным.

Для полной ясности нелишне поставить перед собой еще один вопрос: почему затрачиваемые и очень крупные средства так соблазнительно бросить в ближайшее семилетие именно сюда, на Голодную степь? Почему несколько сот тысяч гектаров представляют такой интерес?

По трем причинам.

Во-первых, как уже показала жизнь, при соблюдении всего комплекса мероприятий, не позволяющих подниматься соленым подпочвенным водам выше определенного уровня, земли Голодной степи дают прекрасные урожаи хлопка. Наиболее ярким свидетельством этому является многолетний опыт самого высокоурожайного в стране хлопкового совхоза «Пахта-Арал», в северной части Голодной степи.

Во-вторых, под боком Сыр-Дарья, воду в Голодную степь можно дать с самых близких точек в любое время года в достаточном количестве, ибо на Сыр-Дарье уже создан в 1948 году Фархадский гидроузел, впервые поднявший воды реки, а в прошлом году — крупное Кайрак-Кумское водохранилище — два громадных водяных амбара, способных регулярно, по графику, поить голодностепские земли. Большинство этих земель лежит ниже, и воду можно подавать туда самотечными каналами, без насосных станций — значит, вода будет дешевой.

В-третьих, по Голодной степи проходят железнодорожная магистраль и шоссейная дорога; до Голодной степи рукой подать от нескольких промышленных центров. Все это, вместе взятое, намного удешевляет перевозки, а в итоге — строительство. Освоение какого-нибудь другого массива, удаленного от готовых путей сообщения, обошлось бы дороже.

Итак, при условии, что строителям удастся покрыть Голодную степь оросительной сетью, не допустив при этом подъема грунтовых вод выше уровня, угрожающего земле засолонением, а хлопчатнику гибелью, освоение Голодной степи обещает создание единого громадного — в четыреста тысяч гектаров — массива хлопковых полей с высокими урожаями дешевого и удобного для транспортировки хлопка.

Как же практически предполагают освоители Голодной степи исключить возможность засолонения почв и создать на всей этой территории устойчивые урожаи хлопка?

Это главный вопрос, от решения которого зависит успех всего дела. Естественно, что над тем, как наилучшим образом решить его, думают все, кто сейчас имеет дело с Голодной степью: и ученые многочисленных экспедиций, и директора осваивающих целину совхозов, и партийные работники Янги-Ерского горкома, и старые среднеазиатские ирригаторы, руководящие Главголодностепстроем, и молодые механизаторы, съехавшиеся с разных концов страны и уже успевшие узнать, какую египетскую работу задают и людям и механизмам здешние солончаки.

Однако каковы все-таки общие контуры решения всей проблемы в целом?

На этот вопрос, заданный в июне, на третий месяц моих поездок по Голодной степи, начальник Главголодностепстроя Акоп Абрамович Саркисов отвечает примерно так:

— Мы полностью уверены в успехе, но отдаем себе отчет, что полный успех достижим только при соблюдении всех без исключения условий, выработанных наукой и практикой в борьбе с засолонением и заболачиванием земель.

— Всех без исключения и притом с самого начала! — подчеркивает он.— Иначе все недодуманное и недоделанное все равно придется потом наново и втридорога переделывать, как это уже происходит сейчас с землями двух-трех совхозов.

Что это за непременные условия?

Прежде всего широкое использование новой техники орошения, чтобы избежать потери воды; одновременная подготовка обеих, принципиально неразделимых частей оросительной системы — каналов, по которым будет приходить вода для орошения, и коллекторно-дренажной сети, по которой будет уходить вода, сбрасываемая с полей орошения. Система притока и система оттока должны быть выполнены с одинаковым размахом и тщательностью. Вода должна приходить только для того, чтобы делать свое дело. Конечно, часть ее при всех обстоятельствах будет просачиваться в землю, но это должно быть сведено к достижимому минимуму.

Умелое использование воды связано с предварительной тщательной планировкой, то есть выравниванием полей, отводимых под хлопчатник. Кроме этого, надо планировать наперед ежегодные крупные работы по поддержанию всего хозяйства — каналов и дренажей — в идеальном порядке.

Все это, вместе взятое,— первое условие.

Второе — это жесткое, неукоснительное соблюдение водного режима. По каналам Голодной степи должно проходить в течение года ровно столько воды, сколько нужно для полива хлопка, и в те периоды, когда этот полив необходим. В остальное время — воду на замок! Каждый лишний кубометр ее пойдет во вред: он, хотя и в микроскопических дозах, будет способствовать повышению уровня грунтовых вод.

При строжайшем соблюдении этих двух условий Голодная степь, по нашему мнению, будет обводнена и при этом не заболочена и не засолонена.

Но, хотя это главные условия, дело не сводится только к ним. В Голодной степи есть разные районы, в том числе более тяжелые для освоения, чем некий воображаемый средний уровень. Сильные осадки в том или ином году могут создать дополнительные трудности. Наконец, мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не жить на острие ножа, когда каждое нарушение водного режима будет грозить нам засолонением и заболачиванием.

Исходя из этого мы предпринимаем ряд важных дополнительных мер. Вода через стенки каналов просачивается в почву. Если через каналы идет лишь необходимый минимум воды и лишь в периоды полива, то естественно, что ее и просачивается гораздо меньше. Но все-таки она просачивается. Значит, следующий наш шаг — сделать так, чтобы сами стенки каналов не пропускали воду или пропускали ее как можно меньше. Самый надежный, но и самый дорогой путь — бетонирование каналов. На наиболее опасных, в смысле просачивания воды, участках мы пойдем на это. Но, учитывая общую протяженность каналов, мы одновременно ищем другие пути и сейчас проводим опыты уплотнения самой земли в стенках каналов.

Обычно система дренажа делается открытой, вода течет по мелким и крупным коллекторам. При этом часть ее уходит в землю. Мы построим крупный завод гончарных труб, и звенья труб, пригнанные друг к другу, будем закапывать в дренажные канавы и засыпать сверху землей. Вода, не просачиваясь, пойдет по ним. Опытные образцы машин, механизирующих процесс закладки труб, уже работают в Голодной степи. Как только уберем дренажную сеть под землю, мы тем самым сразу увеличим непрерывную площадь ничем не перекопанных хлопковых полей, сэкономим тысячи и тысячи гектаров земли и создадим на образовавшихся у нас огромных хлопковых массивах, или, как мы их называем, картах, идеальные условия для механизированной обработки хлопчатника на всех стадиях его развития.

Одновременно мы ставим опыты вертикального дренажа. В степи будут буриться скважины в глубокие подпочвенные слои воды, годной для полива, со слабым содержанием соли. Насосы поднимут эту воду, которая будет использована для полива. В глубине земли после подъема этой воды начнет образовываться вакуум, туда будут уходить постепенно верхние засоленные подпочвенные воды, а верхние слои почвы, орошаемые пресной водой, начнут постепенно рассолоняться. Очевидно, на некоторых участках Голодной степи мы изберем именно этот метод дренажа.

Вообще на такой огромной территории, как Голодная степь, различные варианты освоения не только вероятны, но и практически неизбежны. И это нисколько не смущает наш коллектив строителей и освоителей Голодной степи. Мы глубоко уверены в конечной победе, но знаем, что таких масштабов борьба с природой потребует от нас не только коллективного труда, но и коллективного творчества при решении многих трудных проблем, не только уже стоящих перед нами, но и могущих еще возникнуть по ходу дела...

Примерно так ответил на мой вопрос начальник строительства.

Я перенес этот ответ, полученный мною в конце поездки, в начало своего повествования для того, чтобы читатель сразу представил себе и масштабы трудностей, стоящих перед строителями, и масштабы принимаемых ими принципиальных решений.

И мне хочется также здесь же, в начале, попробовать дать представление о масштабах того общего понятия, которое вкладывается в слова «Голодная степь».

Что такое Голодная степь в более широком и в более узком смысле этого слова? Какова общая картина того, что там сейчас происходит и развертывается?

В более широком смысле слова — это не только то, лежащее в центре, огромное пространство, которое сейчас начали осваивать, но и все то, что окружает это пространство,— полтора десятка районов, принадлежащих трем республикам и со всех сторон врезающихся в Голодную степь. Часть территории этих районов когда-то — где пятьдесят лет назад, а где всего два года — сама была Голодной степью, ее окраинами. В этих рай-

онах расположены совхозы и колхозы, обладающие многолетним, и удачным и неудачным, опытом освоения различных земель Голодной степи. Здесь обосновались научно-исследовательские станции; здесь расположены автомобильные и перевалочные базы Главголодностепстроя; здесь растут новые заводы строительных материалов, предназначенных для Голодной степи; отсюда черпаются кадры строителей и рабочих будущих целинных совхозов. Жизнь этих районов тесно переплелась с жизнью организаций, осваивающих новые целинные земли. Через эти районы идут грузы для Голодной степи. На территории этих районов находятся электростанции, питающие строительство, и водохранилища, собирающие воду для Голодной степи. Отсюда на последующих стадиях освоения будут переселяться в Голодную степь тысячи людей. Многие здешние предприятия уже сейчас полностью или частично работают для нужд Голодной степи. Наконец, ирригация Голодной степи не будет чем-то замкнутым, самодовлеющим. Наоборот, она будет многими нитями связана с уже существующими в этих районах ирригационными системами.

Поэтому, употребляя понятие «Голодная степь» в широком смысле этого слова, необходимо иметь в виду также и ее уже обжитую часть.

Голодная степь в более узком смысле слова, то есть новая территория, которая будет освоена в ближайшие семь лет,— в свою очередь, понятие достаточно сложное и многообразное.

Это — строительство нового социалистического города Янги-Ера—центра освоения Голодной степи. Это строительство главной артерии Голодной степи — Южного канала длиной 126 километров и шириной 80 метров. И строительство нового, третьего, громадного Чар-Дарьинского водохранилища.

Это — планирование, закладка и строительство нескольких десятков совхозов, по нескольку поселков в каждом. Первый опытный совхоз сейчас только еще начинает подниматься в центре Голодной степи, в 40 километрах от Янги-Ера, но если говорить о будущем, то в степи будет жить 150 — 200 тысяч людей, и для них надо построить ни много ни мало — два с лишним миллиона квадратных метров жилья.

Это — строительство новой железнодорожной ветки Сыр-Дарья — Джизак, пересекающей всю Голодную степь по диагонали и значительно сокращающей расстояние между ее двумя крайними точками.

Это—строительство крупнейших прирельсовых баз; одна из них уже бурно строится в Обручеве, на полдороге между Урсатьевской и Джизаком, для того, чтобы принимать прямо с колес грузы в адрес «Главголодностепстроя», количество которых будет увеличиваться с каждым месяцем.

Это—строительство шоссейных дорог, многие из которых уже сейчас ушли далеко в глубь Голодной степи. Сейчас они похожи на тупики: они вдруг обрываются где-то в пустоте посреди степи, но потом, когда их сетка будет полностью наложена на Голодную степь и соединена по всем направлениям, окажется, что все новые совхозы и их отделения, поселки и фермы посажены точно у заранее спланированных и проведенных хороших дорог.

Это—строительство заводов железобетонных изделий, заводов силикальцитовых, керамзитовых, гипсолитовых, крупноблочных, стеновых материалов; фундаменты и первые корпуса этих предприятий начинают подниматься в степи за Урсатьевской, в Беговате, на окраине Джизака и в ряде других мест.

Это каменные, гравийные, песчаные карьеры, к которым сплошным потоком с утра до вечера идут грузовики.

Это заброшенные далеко в степь палатки геодезистов, изыскателей, геологов, гидрологов, зоологов, которые проводят дополнительные исследования каждый день возникающих то там, то здесь все новых и новых проблем.

Это миллионы корней кустов и деревьев, уже высаженных, главным образом этой весной, в Голодной степи, в районах вновь возникающих городков и поселков.

Это сотни людей, которых каждый день можно видеть возле посадок,— нянек, на чьих руках оставлен отныне этот многомиллионный, требующий постоянных забот зеленый детский сад.

Наконец, Голодная степь — это механизаторы: экскаваторщики, бульдозеристы, скреперисты, трактористы с их небольшими, средними, большими, огромными, не-

имоверными механизмами, с их разбросанными по всей степи вагончиками для жилья, с их не больно-то удобным бытом на этой земле, которую они постепенно своими руками делают удобной для людского жилья, и с первыми плодами их трудов — миллионами кубометров земли, уже выброшенной на поверхность.

В сумерки, когда смещаются расстояния, начинает казаться, что Голодная степь перерезана в разных направлениях длинными ровными горными цепями. Эти цепи земляных холмов, тянущиеся к горизонту по сторонам вырытых каналов, порой кажутся бесконечными, но работы продолжаются, и у каждой такой цепи есть свой конец. Где-то вдали, часто уже невидимый за горизонтом, там, за последним выросшим над степью холмом, стоит экскаватор, и в его раскаленной двойным жаром — жаром степи и жаром мотора — кабине человек снова и снова нажимает на рычаги, и стрела опрокидывает еще полгрузовика земли на очередной, тысячу первый или две тысячи двадцать первый, вырастающий в степи холм.

Такова Голодная степь. И хотя общий объем земляных работ, которые предстоит выполнить ее строителям, равен сумме объемов земляных работ на каналах Москва — Волга, Волга — Дон и на Куйбышевском гидроузле, но как современную войну не напишешь старой традиционной батальной кистью — с сомкнутыми строями пехоты и лавинами всадников,— так и эту современную битву с природой трудно сжать в одну картину. Здесь нет столпотворения, нет тысяч людей, сошедшихся на одном кусочке земли. Здесь все разбросано на огромном пространстве. В одном месте делается одно, в другом — другое.

В одном месте — это эффектное зрелище нескольких тонн мокрого грунта, с десятиметровой высоты рушащегося, как обвал, из ковша Большого Шагающего.

В другом месте — это невидная, однообразная работа бульдозера, пласт за пластом, бугорок за бугорком срезающего почву под будущую промышленную площадку для какой-нибудь будущей одиннадцатой или двадцать второй автобазы.

В третьем месте шестеро каменщиков просто выкладывают оконные проемы заброшенного в глубь Голод-

ной степи будущего жилого, по всем правилам возводимого фундаментального дома.

А в четвертом месте еще проще: женщина в выгоревшем платочке, подсучив рукава, заботливо проводит бороздку в земле — от маленького арычка к крошечному, робко зазеленевшему деревцу.

Все вместе, в одну общую картину, это собирается только на общей генеральной схеме Голодной степи. Там скрещиваются дороги, соединяются каналы, отмечаются границы между уже начинающим существовать четвертым совхозом и еще не существующими пятым, семнадцатым и восемнадцатым. Там растущая сейчас в степи прямо из земли железная арматура обозначена итоговой пометкой — кирпичный завод. Там уже нанесены на положенном им месте поселки, построенные из силикальцита, завод по изготовлению которого пока что сам еще только-только вылупливается из земли.

Конечно, схема — это всего-навсего схема, но, когда перед этим в степи увидишь порознь — в разных, отдаленных друг от друга многими километрами местах — зачатки всего того, что сведено здесь в единое целое, на одном листе бумаги, схема начинает оживать, сквозь нее проступают и солнце, и дождь, и песок, и побелевшая от соли земля. За ней начинают всплывать шумы и гулы работ, шуршание дорог с несущимися по ним машинами и самое главное — напряженные, усталые, разгоряченные, сердитые, добрые, задумчивые, воодушевленные лица тех людей, которые на этой схеме будущего своим трудом напишут когда-нибудь: «Сделано!».

СТАРОЖИЛЫ

— Если хотите познакомиться с действительным старожилом Голодной степи, поезжайте к Брухтию.

Так сказали мне в Янги-Ерском горкоме партии, и я в один из непогожих апрельских дней поехал к Брухтию — председателю колхоза «Октябрь», расположенного на землях Мирзачульского района, пожалуй, самых старых из всех освоенных земель Голодной степи.

Брухтия я не застал: он уехал в бригады и должен был вернуться через час. В председательском кабинете сидел секретарь партбюро колхоза Урмеев — рослый,

нестарый человек с сильно рябоватым лицом и огненно-рыжей шапкой курчавых спутанных волос. Как выяснилось, для разговора с Брухтием я приехал не совсем удачно: сегодня подряд два собрания. Во-первых, из нового, осваиваемого под хлопок района прибыла делегация звать туда опытных хлопкоробов-переселенцев, и вопрос о том, кто и на каких условиях согласен ехать, будет решаться на собрании с участием делегации. А после этого собрания сразу второе: метеосводка обещает завтра сносную погоду, и если не обманет, то на полях, что хоть немного подсохли, начнут выборочный сев хлопчатника. В последние дни пробовали новые сеялки для квадратно-гнездового сева, и чувствуется, что в бригадах еще неважно их освоили — ломают. Завтра — сев, значит, надо разобраться, в чем причина: где конструкция, где инструкция, а где дурные руки. Дело срочное, срочнее его нет.

До избрания секретарем партбюро Урмеев был инструктором райкома, а потом зональным инструктором по здешней Мирзачульской МТС. В самом колхозе он недавно, но чувствуется, что здешние дела по старому райкомовскому опыту знает довольно основательно, и поэтому, не отнекиваясь, вступает в разговор со мной, не дожидаясь прихода Брухтия.

Земли колхоза действительно чуть ли не самые старые из освоенных в этих местах. Освоение их — если он, Урмеев, не ошибается — началось еще в девятисотые годы. Тут, неподалеку, был когда-то поселок Спасск, даже и теперь один из колхозных участков сохранил это старое название. Колхоз на протяжении почти тридцати лет своего существования сложился большой и многонациональный. Кто тут только не оседал и не впрягался в общую работу в разное время — и до войны и после нее! Сам председатель колхоза Брухтий — украинец, он, Урмеев, секретарь партбюро,— татарин, в правлении есть и узбеки, и русские, и таджики, и мордвины, и азербайджанцы.

— Всего национальностей в колхозе двадцать три, или нет, даже двадцать шесть! — по памяти поправляет себя Урмеев.

Есть несколько китайских семейств, есть даже австрийцы и мадьяры — потомство военнопленных первой мировой войны. В сельскую школу на урок зайдешь —

смотришь на ребят и не знаешь, какой национальности дети перед тобой сидят. Все переплелось в колхозе.

Урмеев приводит несколько кратких данных. Основное направление колхоза — хлопок: 1 500 гектаров посевных площадей, из них в этом году 950 гектаров собираются посеять квадратно-гнездовым способом. В прошлом году с хлопком вышло плохо: дали только по двадцать семь центнеров с гектара. Правда, год был тяжелый — много полей побил град.

— Но разве это плохо — двадцать семь центнеров? — переспрашиваю я.

— Плохо,— решительно говорит Урмеев,— недовольны, привыкли к большему. В пятьдесят шестом году по тридцать два центнера дали.

Большое место в колхозе занимает семенное хозяйство: сажают семенную кукурузу, семенную люцерну, продают семена. Элитное семенное хозяйство колхоза пользуется доброй славой. Новые семена часто посылают испытывать сюда, в колхоз «Октябрь»,— это вошло в систему.

Перед нынешней посевной колхоз создал две опытных комплексных бригады и поставил во главе каждой механика. За одной закрепили 42 гектара, за другой — 46.

— Хотим обойтись полностью без кетменя. И уж на этих-то участках,— решительно добавляет Урмеев,— пусть хоть ругают нас, хоть прижимают, а будем делать по-своему: проводить полную комплексную механизацию на всех этапах. Я в первый момент не понимаю, почему Урмеев предполагает, что их будут прижимать и ругать, но он с той же решимостью, с какой начал, договаривает до конца:

— Очень просто. Заглядывая в будущее, основываюсь на прошлом. У нас ведь как до сих пор частенько бывало? Весной все за механизацию: давай отводи участки под машинную обработку и уборку, давай развертывайся пошире и так далее. Но для того, чтобы проводить машинную уборку, нужны предварительные условия: нужно, чтобы 80 процентов хлопка созрело. А между тем какая-то часть хлопка уже успела созреть раньше — то там, то здесь лопнет коробочка, начнет на землю течь. Приезжают уполномоченные из области. Смотрят на участки машинной уборки и начи-

нают жаловаться: хлопок падает, гниет. И, конечно, к председателю: давай собирай без потерь! Что у тебя людей, что ли, для этого нет?

Ну и начинаем на этих самых специально подготовленных к машинной уборке участках собирать хлопок вручную.

А в этом году не будем,— решительно заключает Урмеев.— Или мы проводим машинную уборку на этих участках в порядке действительной пробы наших сил и возможностей, или она для виду, для отчетности. Не будем,— еще раз повторяет он. И, подумав, добавляет: — Но вот уберем машинами — вторая проблема возникнет: останутся на кустах последки, по чайной ложке с куста. Если о таком сборе говорить с учетом себестоимости, то это не сбор, а горе. Идет этот последний хлопок как худший, низший сорт, а себестоимость, когда повыщипаешь его с каждого кусточка, складывается громадная — три рубля за килограмм. Добавлю к этому, что я сам текстильщик, был помощником мастера на текстильном комбинате, так спросили бы нас, текстильщиков, как мы мучаемся с этими последками хлопка! Когда-нибудь надо этот вопрос до конца додумать. В три этапа убирать одно и то же поле: сначала руками, потом механизмами, а потом снова руками — это только условно можно назвать механизированной уборкой. А хотелось бы рано или поздно поставить это дело всерьез...

А вот вам и товарищ Брухтий! — вдруг, прерывая сам себя и глядя через мое плечо, говорит Урмеев.

Председателю за пятьдесят. Он невысокий, приземистый, в забрызганном грязью брезентовом плаще и надвинутой на нос фуражке. Пока Брухтий в фуражке, он не кажется видным человеком, но когда, сев за свой стол, он снимает ее и большой, покрасневшей от ветра рукой приглаживает волосы, первое впечатление меняется: у Брухтия большая красивая голова с красивыми, правильными чертами лица и ранней, почти сплошной сединой.

Для начала он подтверждает, что верно, он старожил здешних мест. В девятисотые годы тут кругом уже поковыривали землю. Но всерьез осваивать начали с девятьсот десятого. Он сам приехал сюда с отцом в девятьсот двенадцатом году семилетним мальчишкой.

К этому времени тут уже село возникло, церковь и школу поставили. Школу построили хорошо, и сейчас в ней ребята учатся. А в церкви клуб тоже ничего построили, приличное здание.

— Ну, а насчет освоения, если с нынешней точки зрения взглянуть, то, когда я мальчиком был, как здесь работали? Как степь осваивали? По существу, надо признать — хищнически. Придут на новое место, посеют там года два хлопок, дренажной системы как следует быть не сделают, выжмут за два года наверх грунтовую воду, засолонят почву, испортят ее вконец и пойдут дальше, на другие земли. Так и называлось это тогда «взять добавку». «Добавками» такое освоение называлось.

Я спрашиваю Брухтия: откуда он приехал? Он говорит, что из Черкасского уезда Киевской губернии. Батька был каменщиком, а мать — батрачкой в имении... И, прищурившись, как бы мысленно порывшись в прошлом, добавляет:

— Разный народ в то время сюда ехал. Да и потом тоже. Поначалу было особенно много зимогоров, волжан, что шли сюда на зимние заработки, на рытье каналов. Шли сперва на сезон, а потом оставались, оседали. Есть тут и переселенцы; и дореволюционные, и с двадцатых годов, и бывшие выселенные сюда кулацкие семьи с тридцатых годов. Осели тут и многие эвакуированные во время войны; к некоторым потом мужья приехали. А у кого мужья в братских могилах остались, те или потом замуж здесь вышли, или от своей вдовьей доли уже никуда не двинулись. Есть у нас и другого происхождения колхозники: раненых бойцов после госпиталей тогда размещали по колхозам на отдых, так некоторые переженились тут; одни сразу здесь остались, а другие уехали, довоевали и сюда же вернулись. Ну, а о национальностях и не говорю, национальностей у нас много.

— Я уже рассказывал,— замечает Урмеев.

— Вот именно. Всех понемногу есть, даже коми есть.— Брухтий чуть заметно улыбается.— Мне, например, такая доля как раз выпала, что у меня сноха по национальности коми.

Я спрашиваю: как при таком сложном национальном составе колхоза обстоит дело с языком.

— Есть две школы — узбекская и русская. И вообще надо сказать, два основных языка у нас в колхозе — это узбекский и русский. Кто знает оба, тому проще, а для тех, кто не знает, на собраниях переводим с одного на другой. Кто на каком языке лучше говорит, на том языке на собраниях и выступает. А детишки растут уже все вместе, так что даже лучше понимают друг друга, чем мы, взрослые.— Брухтий говорит эту фразу о детишках с той привычной непоказной нежностью, которая сразу дает почувствовать, что этот человек любит детей.

Разговор о строительстве в колхозе он начинает именно с детей, с интерната.

— Сначала задумали мы школу-интернат построить, совсем новую, в отдалении от усадьбы, так, чтобы гектаров восемь опытных полей вокруг нее лежало. Но потом считали, считали — и высчитали: кусается. Полтора миллиона потянет — пока тяжело для нас. Тогда решили так: два старых школьных здания, что сейчас на усадьбе стоят, переоборудовать под интернат на 150 детей. А новую школу-десятилетку на 350 учащихся тут же рядом построить. Такая комбинация обойдется нам подешевле — тысяч в четыреста. А интернат будет хороший,— говорит он и вдруг вспоминает, как сам мальчиком в Мирзачуль в школу ходил.

— Шесть верст туда, шесть верст обратно. Всей душой за интернат! Не желаю, чтобы ребята, как я тогда, мерзли. Бывало, так намерзнешься, настудишься, даром что Средняя Азия, а зимы тут, знаете, какие холодные бывают! А ветер тут злой, как нигде!

Со строительства школы разговор переходит на нынешнюю позднюю и дождливую весну. Я спрашиваю Брухтия: как она, по его мнению, отразится на урожае?

— Пока положение неплохое,— говорит он.— Еще несколько дней с массовым севом хлопка можно подождать, ничего не случится. А если потом солнце хорошо работать будет, то эта водичка, которая сейчас нас поливает, тоже лишней не окажется. Сейчас используем время, планируем и перепланируем, выравниваем под линейку свои хлопковые поля, стараемся все образцово сделать. Грейдеры работают и планировщики. Ах, какая прекрасная машина, этот планировщик! И как только до нее раньше не додумались! Однако все же

машин не хватает. Кое-где часть земли и кетменем приходится снимать, особенно на мелких участках, ну и там, где овражки да взгорки, где вручную подрежешь, где вручную подсыплешь — не без того. А вообще, честно говоря, у нас за каждый грейдер, за каждый скрепер и бульдозер целая драка! Умоляли в МТС грейдер нам продать — нет, не продали. Говорят: мало их, не вы одни хотите купить, все хотят. А планировщик мы все-таки себе купили,— добавляет Брухтий,— выпросили, хотя с деньгами у нас и туговато. Полтора миллиона за технику — этакая махина денег!

Председатель непроизвольным жестом недовольно почесывает затылок.

Впрочем, через минуту выясняется, что за технику он уговорился расплатиться не в один год, а в два и туговато с деньгами не поэтому, а потому, что, кроме первой половины взноса, пришлось сразу вложить много денег в гараж. Колхоз поставил себе задачей выстроить до осени гараж на все 39 купленных тракторов, навес для всего остального инвентаря и механические мастерские. Если прибавить к этому сооружение школы и нескольких десятков жилых домов, которые колхоз строит колхозникам в кредит, то денег в этом году вкладывается действительно немало.

К расходам на кредитование строительства жилых домов председатель относится спокойно. Хотя кредитование рассчитано на десять лет, но практически, по его словам, деньги возвращаются в колхозную кассу не в десять, а в пять и даже четыре года. Колхозник, подавший заявление о строительстве дома, как правило, сразу же вносит большую часть денег, причитающихся ему за этот год на трудодни, а потом спешит расплатиться поскорей и за всю ссуду.

— Конечно,— говорит Брухтий,— когда ты уже дома, а за тобою ссуда, хоть и знаешь, что дом твой, а все-таки в глубине души не то... И вот хочет человек не сидеть в долгу, поскорей иметь свой дом целиком и полностью. На себя нажать, а долг отдать. Но это еще не все. Я замечаю, и это так и есть в действительности, как в людях крепко живет чувство ответственности за долг перед колхозом. Неудобно им как-то, что они колхозу должны! А исток этого в том, что у них, как правило, хорошее настроение, уважение к колхозу. Уважи-

тельно относятся люди к общему хозяйству; действительно его общим чувствуют и не хотят перед ним в долгу быть.

Брухтий останавливается, как бы подыскивая еще какие-то слова, которые могли бы не столько пояснить его мысль — она и так ясна,— сколько выразить то душевное чувство, которое стоит за самой мыслью. Но, так ничего и не добавив, он начинает вместо этого говорить о перспективах колхоза.

У колхоза нет и не предвидится неосвоенных земель: со всех сторон земли соседей. Перспектива развития целиком связана с повышением урожайности и снижением себестоимости. Можно также немножко увеличить размеры хлопковых полей за счет уменьшения травосеяния, но это в пределах необходимых норм севооборота.

— Мы не можем сильно нарушить севооборот, значит, должны ставить хотя бы несколько уменьшенное количество полей под люцерну — это во-первых; во-вторых, мы не можем уменьшить стада, а раз мы уменьшаем травосеяние по площадям, значит, мы должны это возместить урожаем — на меньшую единицу поля дать больше травы. Хлопка мы даем в среднем по 30—35 центнеров, но это нельзя считать высоким урожаем. Можно и нужно довести урожайность до 40—45 центнеров. Вот вам и вся наша перспектива.

— А дальше? — спрашиваю я.— Если в дальнейшем будет развиваться механизация, а с нею расти производительность, не окажется ли на землях, которыми располагает колхоз, больше трудоспособных, чем это будет необходимо при механизированной обработке?

— Да, очевидно, скоро дело подойдет к этому,—спокойно отвечает Брухтий.— Один раз — в 1954 году — мы уже переселили пятьдесят хозяйств в другой колхоз, ликвидировали несоответствие между количеством трудоспособных и уровнем производительности труда. Теперь этот вопрос снова начинает перед нами вырастать. Он никакой не «проклятый» вопрос, наоборот, законный, он объясняется движением вперед. Но решать его придется. Выход будем искать. Или снова сделаем такую же передачу, произведем переселение людей в другой колхоз, или, может быть, пойдем по

другому пути: предложим, чтобы другой колхоз с запасом земель, еще не освоенных или нерационально используемых, присоединился к нам, и будем растить хозяйство в целом за счет освоения и повышения урожайности этих земель. Ну, а потом,— вдруг широко улыбается Брухтий,— что-нибудь да будет еще, новые горизонты появятся, новые пути развития колхозного хозяйства, новые формы...

Я смотрю на него, и мне кажется, что у него есть какие-то свои далекие наметки и соображения насчет этих будущих форм, но он не из тех людей, которые зря бросаются словами, и наперед не хочет высказывать то, что у него самого еще только формируется и укладывается в мыслях.

Вместо этого он начинает говорить о перспективах механизации. Сообщает, что практически почти все поля колхоза уже распланированы под квадратно-гнездовой посев хлопчатника, и, усмехнувшись, вспоминает при этом, как два года назад один из его бригадиров, старик, когда впервые делали прореживание полей под квадраты, лег на землю перед трактором: «Не пущу хлопок губить!..» А сейчас, через два года, стал первым сторонником этого дела. Почему? А очень просто: потому что убедился, что дело стоящее.

— Вы не подумайте, что я шучу или там преувеличиваю,— вдруг добавляет Брухтий,— я вам точно говорю: лег под трактор — и все! А сейчас все поля своей бригады подготовил под квадратно-гнездовой. Вот вам, как говорится, две точки — от и до.

Звонит телефон, и, взявшись за трубку, только что улыбавшийся Брухтий становится озабоченным и даже злым. Судя по разговору, представитель Сельхозснаба предлагает ему постройку нового сушильного цеха. Брухтий краснеет, горячится, несколько раз круто повторяет по телефону, что он был в обкоме партии на заседании, посвященном этому вопросу, отказался от постройки у себя сушильного цеха, доказав, что конкретно их колхозу не надо сейчас сушильного цеха, и кончен этот разговор, и никаких после этого других решений быть не может. Сердито повесив трубку, он долго вытирает платком разгоряченное лицо и только потом отвечает на мой вопрос: в чем состояло существо спора?

— Мы уже давно ушами не хлопаем, у нас уже три сушилки есть. В общем, весь хлопок у себя просушиваем так или иначе. А за цех с нас шестьсот тысяч возьмут, это без здания, а здание еще триста тысяч потянет, а то, чего мы в итоге достигнем, у нас и так примерно есть, правда, названия нету, что это сушильный цех. Нет, нам за это девятьсот тысяч дорого платить на данном этапе. А кроме того, возьмите вторую сторону дела. Положим, у нас бы лишние деньги были; положим, что, если вперед заглянуть, цех этот — неплохая вещь в итоге будет. Но он 135 киловатт энергии возьмет сейчас, а у меня их на сегодня всего 165. Работаем на своих двух станциях, и с трудом хватает. Притом одна из двух — гидростанция. Когда канал на ремонте, она не работает. А чтобы от высоковольтной передачи дать энергию, так на этот счет пока еще обещаниями кормят. Нет у нас пока возможностей для этого цеха,— сердито подытоживает он.— И денег нету.

И в полном противоречии с только что сказанной фразой о деньгах вдруг мечтательно добавляет:

— Эх, нам бы сейчас в собственность бульдозер и грейдер! С руками бы оторвали, и на сто процентов использовали, и все бы сразу оплатили...— Брухтий даже вздыхает. В глазах его почти нежное выражение.— Все бы сразу до копейки заплатили. За что другое — нет, а за это уж все бы заплатили! Но не дают,— разводит он руками, и мечтательное выражение на его лице сникает и заменяется трезвым, деловым прищуром.— Не дают. Мало их еще. Не дают, и, по совести, не докажешь им на сегодняшний день, что они не правы!

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ХАРАКТЕР

Через несколько дней после поездки к Брухтию решаю поехать в соседний, Баяутский район к председателю колхоза «Коммунизм» Латыпову. Если та часть Мирзачульского района, где хозяйствует Брухтий, начала отвоевываться у Голодной степи полвека назад, то земли Баяутского района, на которых возник колхоз «Коммунизм», еще восемь лет назад были нетронутой голодностепской целиной.

Турсунбай Латыпов уже был председателем, когда люди его колхоза постепенно, со спорами и колебания-

ми, стали переселяться из своего бедного горного кишлака сюда, на целину. Он был председателем там, в горах, остался председателем здесь, в степи, пережил и тяжелые и переломные годы и в конце концов получил в прошлом году Звезду Героя за один из лучших в республике урожаев хлопка.

С таким человеком интересно поговорить. Вдобавок мы с ним уже немножко знакомы. В марте между двумя заседаниями областного партийного актива, посвященного передаче техники колхозам, в Ташкенте на площади перед оперным театром имени Навои, где в перерыве участники ели плов и пили зеленый чай, меня познакомили с крепким, широкоплечим моложавым узбеком, который в ответ на вопрос нашего третьего собеседника: как дела с передачей техники? — с места в карьер стал горячо рассказывать, что они взяли всех трактористов из МТС, пожелавших стать членами колхоза, никому не отказали, но при этом не всех их оставили трактористами, а некоторых перевели в полеводческие бригады.

— Почему? — спросил я.

Латыпов насмешливо блеснул глазами.

— Потому, что в МТС считали, что они годятся в трактористы, а мы считаем, что не годятся. Мы не для того тракторы покупали, чтобы они нам их портили. Мы уже их по прошлой работе взяли на заметку. В колхоз приняли, а на тракторы не посадим. Заменим их другими трактористами. Пусть поработают в полеводстве.

— А не сердятся, не спорят? — спросил я.

— Ничего, Латыпов им не поддается, у него характер тяжелый, артиллерийский!..— полушутя, полусерьезно отозвался наш третий собеседник.

Звонок оборвал тогда наш разговор, и мы договорились продолжить его в колхозе «Коммунизм».

В ожидании «газика», который отвезет меня к Латыпову, мы стоим на дощатой веранде Янги-Ерского горкома с помощником первого секретаря. Голосом, немного прерывающимся от легкой одышки (он только что в качестве утренней зарядки вскопал во дворе перед горкомом основательную клумбу), помощник секретаря рассказывает мне, как прошлым летом, когда здесь было всего несколько десятков палаток, а горком раз-

мещался в единственном засыпном домике, где теперь — и тоже временно — находится горком комсомола, он как-то дежурил ночью. Ночь была длинная, жаркая, душная. Часов до трех он проворочался на диване и только-только заснул, как вдруг звонок.

— Будете говорить с Москвой.

Это был первый на его памяти прямой звонок из Москвы.

— Держу трубку, жду, слушаю. Интересно. Наконец голос: «Это что, Голодная степь?» «Голодная степь». «Город Янги-Ер?» Отвечаю с некоторой запинкой: «Да, можно сказать, город Янги-Ер». «Ну, как у вас там дела, товарищи? Как строительство? Как вообще? Как настроение?» Голос веселый, громкий. Может быть, даже немного под хмельком. И в трубке слышатся шум разговоров и музыка, что-то хорошее играют. «Ничего,— отвечаю,— все нормально. Работаем, строим. Настроение неплохое...» «Ну, тогда примите наш московский привет. Вот собрались с товарищами, прочитали, что есть такой город Янги-Ер в Голодной степи. И набрались смелости позвонить вам по телефону. Справиться, как у вас дела. Значит, идут дела в Голодной степи?» «Идут, и неплохо». «Ну вот и хорошо. Простите, что побеспокоили. Желаем вам успехов, до свидания!» — И трубку положили.

— А потом выяснилось, кто звонил? — спрашиваю я.

— Да нет, откуда же? Просто звонили москвичи, спрашивали, как дела, желали успехов. Пожалуй, даже приятней было, что так и не выяснили, кто звонил...

Свернув с Большого узбекского тракта на другое шоссе, а потом на третье, едем по новым землям Баяутского района. По контрасту с еще не освоенными землями Голодной степи это производит особенно сильное впечатление. Едешь по асфальтированному шоссе, сворачиваешь с него в стороны на проселочные дороги и видишь, как в степь, словно зеленое половодье, заливами, протоками, озерками врываются шести-семилетние сады. И тут же рядом еще не залитая ими суша — бурая полуобжитая земля, маленькие пятнышки новорожденной зелени и то белые, то рыжие глинобитные дома, домишки и — гораздо реже — бараки.

Тем, кто помнит стройки прежних лет, особенно тридцатых годов, на новых стройках бросается в глаза

резкое уменьшение числа бараков. С каждым новым годом строительства их все меньше. Одноквартирные, двухквартирные, реже четырехквартирные дома, которые здесь строятся, не всегда хороши, а иногда еще, надо сознаться, просто плохи. И все-таки поворот от строительства бараков к строительству домов сделан принципиальный и решительный. Еще много полумер, много неокончательных, иногда вынужденных обстоятельствами, а иногда и плохо продуманных решений, но в принципе люди намерены устраиваться по-другому. У них новые требования, новый и твердый взгляд на то, каким должно быть их жилье.

Проезжая по новым поселкам Баяутского района, я вспоминаю свой вчерашний разговор с директором расположенного здесь же неподалеку совхоза «Дружба». Мы были с ним в одном из совхозных отделений, куда только что начали прибывать переселенцы. Поселок целиком состоял из маленьких, узеньких домиков, несколько лет назад принятых здесь за основной стандартный тип индивидуальных жилых строений. За тесноту, неудобство, холодо- и жаропроницаемость их уже успели окрестить «курятниками», и сейчас, кстати сказать, после долгой борьбы, эти дома, кажется, начинают сходить со сцены, их перестают строить. По этому поводу директор совхоза рассказал мне следующую историю.

Многие колхозники, которые, переселяясь из других районов, идут сюда, в совхоз, рабочими, не желают покупать в кредит эти «курятники». Они смотрят на дело так: дом маленький, плохонький — тесная комнатка, тесная кухонька. Правда, переселенцы получают под этот дом три тысячи безвозвратной ссуды, но остальные деньги придется, хотя и с долгой рассрочкой, возвращать. А какой смысл? Лучше постепенно построиться так, чтобы уж действительно был дом! И вот чуть ли не половина переселяющихся сюда, в это отделение, семейств заявила директору следующее: работать у вас хотим, переселяться не отказываемся, в отведенных для нас домах жить будем, но в собственность их брать не желаем. Пожалуйста, получайте с нас, сколько положено по закону квартирной платы, будем ее платить, а ссуду на строительство собственного дома желаем получить отдельно. Сами или с ва-

шей помощью, но будем себе строить дома по-другому...

Латыпова я застаю на центральной усадьбе колхоза, на лесах достраивающегося нового клуба. Я окликаю его снизу, он перегибается с лесов, и я вижу над собой его круглое веселое потное лицо. Сегодня наконец выдался солнечный день, и, как видно, там, наверху, на лесах, припекает. Латыпов слезает, поправляя на круглой, коротко остриженной голове черную традиционную узбекскую тюбетейку. Одет он, как большинство председателей колхозов в этих краях, в сапоги и френч — ему это идет. Бывший фронтовик, восемь лет прослуживший в армии, он ловко носит свой полувоенный костюм.

Клуб строится с размахом — он будет поместительным,— но в то же время и с экономией: здание пристраивается сзади к старому дому правления. Таким образом выгадывается одна стена, это во-первых, а во-вторых, как объясняет мне Латыпов, в те комнаты правления, к которым пристраивается клуб, будет сделан ход: если на сцене заседание, значит, сзади сцены — комнаты для президиума, а если спектакль — артистические уборные.

Задержавшись взглядом на ладной, подтянутой фигуре Латыпова, я спрашиваю, кем он был на фронте. Оказывается, большую часть войны был артиллеристом, а потом, уже в пехоте, дослужился до младшего лейтенанта. А где именно служил? Оказывается, в трех разных армиях. Услышав это, я спрашиваю, сколько раз он был ранен. Наверное, два раза? И угадываю. Именно так. Сначала был в одной армии, потом в госпитале, после первого ранения оказался в другой армии, а после второго ранения — в третьей. В свою часть возвращаться не удавалось.

Около часа ходим мы с Латыповым по усадьбе колхоза, и он рассказывает, где что будет достроено и построено, где разобьют сквер, где пройдет новая улица.

— А вон там,— показывает он пальцем на пустырь,— через год будет стоять школа с интернатом.

— Где именно? — переспрашиваю я.

— А вон там, где ишак стоит...— Сам расхохотавшись над своим неожиданным и пока единственным ориентиром, показывает Латыпов на понуро пасуще-

гося в самом центре пустыря маленького серого ишачка.

Потом он показывает мне на краю усадьбы место, где скоро начнет строиться механизированный сушильный цех, тот самый, от которого в моем присутствии Брухтий так усиленно отбрыкивался по телефону.

— Всего в шестнадцати колхозах республики строят такие опытные механические сушильные цеха, и в том числе один нам строят по договору.— В голосе Латыпова слышится нотка гордости.

Заинтересованный разным отношением двух председателей колхозов к одному и тому же новшеству, я расспрашиваю Латыпова поподробнее, и после расспросов мне начинает казаться, что у него по отношению к этому сушильному цеху в глубине души двойственное чувство: с одной стороны, он гордится тем, что это новое, передовое предприятие будет строиться у них в колхозе, но в то же время кое-что его смущает: во-первых, цех обойдется довольно дорого; во-вторых, его проектная мощность значительно превышает то количество сырья, которое может отправлять колхоз «Коммунизм». Значит, он будет принимать часть сырья со стороны, но на каких началах, кажется, еще не до конца ясно. Не вполне удовлетворяет Латыпова и место, где будет ставиться цех. Если бы цех перерабатывал продукты только одного колхоза, место это идеальное, но, если будут привозить часть сырья со стороны, транспортировка сюда не самая удобная. В итоге Латыпов высказывает мысль, что эти сушильные цеха, пожалуй, следовало бы строить на паевых началах, как межколхозные и соответственно определять их местоположение.

Мы идем с Латыповым на поля. На больших, отлично спланированных картах колхоза третий день идет сев хлопчатника квадратно-гнездовым способом. Латыпов то в одном, то в другом месте нагибается и, проверяя точность квадратов, поковыряв землю под контрольными колышками, находит там семена хлопчатника, посеянные с математической точностью. Отклонение в рядках всего на один-два сантиметра — значительно меньше допустимых теоретических норм.

Вчера, когда я был на полях совхоза «Дружба», там на каждую работавшую сеялку приходилось по одной,

если не по две стоявших на ремонте. Практикантки из Ташкентского сельскохозяйственного института, приехавшие на сев, жаловались на непрочную конструкцию новых сеялок, а директор совхоза — на доставшиеся ему в наследство от прежних времен, плохо спланированные, невыровненные площади хлопковых полей и говорил, что основная причина поломок механизмов связана с перекосами на неровных площадях; при этом он сетовал на то, что освоители Голодной степи ему не помогли техникой, чтобы успеть уже к весне перепланировать площади, а трест совхозов не разрешил отказаться от квадратно-гнездового сева на неподготовленных для этого площадях.

— Директор совхоза в основном прав,— отвечает Латыпов на мой вопрос.— Неровные хлопковые карты — главная причина поломок новых сеялок. У нас они работают хорошо, не ломаются. Хотя, пожалуй, некоторые узлы конструкции и нежноваты, не хватает запаса прочности; чтобы обойтись без поломок, требуется исключительно высокая тщательность в работе.

Вспомнив о нашем разговоре в Ташкенте у театра имени Навои, я спрашиваю Латыпова, сколько в итоге они сняли с тракторов старых механизаторов и взяли новых.

— Думали, что больше придется, но сняли только трех, а остальные подтянулись. Вместо этих трех взяли хороших трактористов со стороны. Ну, теперь они уже наши,— улыбается Латыпов.— Уже приняты в колхоз и дома строят.

С полей идем в сад. Сад большой, молодой, превосходно распланированный: айва, груши, яблоки, персики; в прошлом году получили первый и сразу же большой урожай. Урожай и теперь ожидается отличный. Впрочем, это последнее видно и без объяснений. Латыпов рассказывает, что над садом шефствует Узбекский научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства. Сад заложен силами колхозников из оплаченного ими посадочного материала института и под наблюдением его работников. Шефство это продолжается и сейчас: институт выделяет специалистов, наблюдающих за развитием сада, и на базе сада в широком масштабе ежегодно закладывает опыты по своему научному плану.

В центре сада вырыт большой квадратный водоем — хауз, а в центре водоема на четырех бетонных столбах укреплена красивая беседка — летняя чайхана; с двух сторон к ней переброшены мостики; по берегам хауз обсажен деревьями и виноградом, лозы которого забрались на крышу чайханы. Изобретательно, красиво, а главное, благодаря окружающей воде и зелени, наверное, прохладно в любую жару.

Колхоз заложил большие виноградники, давшие уже в прошлом году очень крупные доходы. В связи с этим Латыпов, в котором скуповатая хозяйственная жилка удивительно гармонично уживается с широким государственным подходом к делу, говорит, что, по его личному мнению, до сих пор на виноград была установлена слишком высокая заготовительная цена. Конечно, такая цена способствовала расширению виноградарства здесь, в Средней Азии, но в итоге в прошлом году получилось, что государство заготовляло виноград по ценам, в полтора, а то и в два раза более высоким, чем сложившиеся в прошлый урожайный год рыночные цены. Доход с гектара винограда оказался в прошлом году куда большим, чем доход с гектара хлопчатника.

— Если бы дать волю стихии, то у нас в колхозе, пожалуй,— говорит Латыпов,— засадили бы гораздо больше винограда, чем намечено по плану, и в конечном итоге готовы были бы это сделать даже за счет посевов хлопчатника. И тут ничего странного: видят люди, какие громадные доходы получили, и жмут на это. А в общем, это вряд ли верно! По-моему,— добавляет он,— надо в дальнейшем это урегулировать: несколько снизить заготовительные цены на виноград по сравнению с ценами на хлопок.

После осмотра сада возвращаемся на центральную усадьбу и заходим домой к Латыпову. В парадной комнате на домотканом паласе висят семейные фотографии. На одной из них, должно быть, увеличенной с очень маленького снимка, сфотографирован сам Латыпов: на широкой груди заретушированного до неузнаваемости хозяина три ордена Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За взятие Кенигсберга». Да, как видно, хозяин дома воевал не за страх, а за совесть!

На второй фотографии Латыпов в штатском с женой и четырьмя детьми. Сейчас, как выясняется, их уже не четверо, а пятеро.

— Было еще двое детей у меня, но умерли, пока был на войне,— просто говорит Латыпов, и за этими простыми словами совершенно неожиданно для меня возникает рассказ о трагедии, которую пережил этот человек. В том горном кишлаке, откуда переехал сюда, на целину, Латыпов, во время войны вдруг разразилась короткая, но страшная эпидемия энцефалита; у Латыпова умерли не только двое детей, оставленных им перед уходом в армию на руках у молодой жены, умерла и жена, умерла мать, умер отец...

— В нашей семье, кто на фронт пошел умирать, только тот и жив остался,— я и брат,— вдруг говорит Латыпов, говорит так же просто, как все, что он говорил до этого, но где-то в глазах его лежит глубоко похороненное и все-таки не умершее горе.

Во второй раз он женился уже после войны. Вернулся, стал председателем колхоза, одним из первых переехал сюда, на целинные земли, пережил трудное время, когда колхоз был разорван на две части — часть там, в горах, часть здесь, на целине. Боролся, перетаскивал сюда одного за другим людей, трудом, делом, возрастающими доходами колхоза упрямо доказывал вместе с другими колхозными коммунистами, что здесь, на целине, жить выгоднее, перспективнее; в конце концов доказали, подняли сады, вырастили хлопок, построили времянки, затем дома, потом стали перестраивать старые дома на новые...

Я заговариваю с Латыповым о «курятниках». Правильно ли, по его мнению, что сейчас отказываются от этого типа домов и нельзя ли было начать отказываться от них еще раньше?

По мнению Латыпова, этот вопрос диалектический: когда сюда переезжали первые переселенцы, то им и «курятники» казались хорошими. А не сажали они садов возле домиков не потому, что домики казались плохими, а потому, что еще не до конца поверили в землю, боялись неурожая, не шли на риск. Но потом поверили, посадили сады и виноградники на каждом участке. И теперь уже участки стали лучше домов, теперь уже участок, в свою очередь, тянет человека пе-

рестроить или построить дом, чтобы одно соответствовало другому.

Заговорив о домах, Латыпов переходит вообще к проблеме перестройки колхозной усадьбы.

— Конечно, всякое строительство — расход,— добавляет Латыпов.— Когда оставляем эти деньги на строительство в неделимом фонде, принимаем по этому вопросу решение на общем собрании; колхозник согласен: ладно, давай оставим; а раз уж оставил, он и дальше согласен: давай израсходуем на строительство. А если не оставить в неделимом фонде, раздать все по рукам, поди потом собери! Когда человек все уже на руки получил, тогда один согласен на общую стройку деньги дать, а другой не согласен — жмется, хотя в душе и понимает, что для него же будет строиться.

Каждому поодиночке не только это, многое в жизни трудно в себе преодолеть.

Мы долго сидим в доме Латыпова, пьем чай, едим плов, потом снова пьем чай и говорим на разные темы. Но у Латыпова, как у всякого деятельного человека, есть своя задушевная тема, над которой он именно сейчас больше всего думает и поэтому несколько раз в разговоре снова и снова возвращается к ней. Эта тема — колхозные пенсии, причем Латыпов думает о них не только как о пенсиях, а и шире — как о новом явлении, которое заставляет людей по-новому глядеть на колхоз, по-новому чувствовать себя в нем.

В колхозе «Коммунизм» переведено на пенсию 78 старых людей — мужчин и женщин. Как складывается их жизнь, что они получают? Во-первых, им в качестве пенсии засчитывается по двенадцать трудодней в месяц. Они уже не работают, но знают, что по двенадцать трудодней в месяц получат. А эти двенадцать трудодней при высоком урожае прошлого года составляли в денежном выражении солидную сумму — примерно 360 рублей каждый месяц. Но, кроме того, за пенсионерами остаются их приусадебные участки, которые вдобавок колхоз им бесплатно запахивает. Все, вместе взятое, обеспечивает спокойную старость. Если мужчины в свои 60 лет или женщины в 55 чувствуют, что еще в силах работать в колхозе, они получают и на заработанные трудодни сверх своих гарантированных

двенадцати дней. Если же они не работают, то уровень их пенсии все равно зависит от оплаты колхозного трудодня, то есть от уровня хозяйствования колхоза, и они и с этой стороны чувствуют себя связанными с колхозом, заинтересованными в его успехах.

— Но дело не только в самочувствии самих стариков,— говорит Латыпов,— дело в самочувствии всех колхозников. Я уже в этом году наблюдаю, что установление пенсии старикам оказывает влияние на общее отношение колхозников к своему труду. Теперь каждый знает, что если он дожил до пенсионного возраста и, согласно принятому нами уставу, при этом не менее шести лет проработал в нашем колхозе, то будет с пенсией, может не беспокоиться. Это, конечно, играет роль и для механизаторов, которые приходят в колхоз, и для людей, которые приезжают из других мест и вступают к нам.

— Ну, а если, скажем, человек пришел в колхоз уже немолодым, если ему 55—57 лет. Как тогда? — спрашиваю я у Латыпова.

— Бывает и так,— улыбается он в ответ.— Несколько таких уже пришли. Мы их приняли, но заявили: устав общий, сколько бы тебе ни было лет, а пенсию все-таки дадим только после того, как шесть лет у нас проработаешь. В 57 лет пришел — поработай до 63. В шестьдесят — до шестидесяти шести. А то, не сделай мы так, глядишь, у нас новых 59-летних членов колхоза, сами не заметили бы, как целая бригада набралась! Это уже у нас введено,— с гордостью добавляет Латыпов,— а у соседей этого пока еще нет. А разница для людей чувствительная. И главное,— повторяет он все ту же полюбившуюся ему мысль,— для всех это важно, для отношения к колхозу, независимо от возраста...

* * *

...В третий раз я встречаюсь с Латыповым в непогожее сентябрьское утро. По московским понятиям, для сентября погода неплохая: чуть-чуть поморосил дождь, подул теплый ветер, солнце то скрывается за тучами, то снова выглядывает из-за них. Но здесь такая погода никого не устраивает. Наступает период массового созревания хлопка, и, чтобы он не затянулся, солнце

должно работать вовсю — с утра до вечера. А оно уже третий день недодает положенного тепла.

Мне повезло. Я застаю Латыпова в правлении, куда он забежал на пять минут побриться перед тем, как ехать на поля. Едва мы успеваем поздороваться, в пустой комнате правления раздается гулкий звонок телефона. Латыпов прижимает трубку к недобритой щеке. О чем могут позвонить в такое время в правление колхоза? Конечно же, запрашивают сведения о сборе хлопка.

Латыпов коротко сообщает, что собрали 620 центнеров, кладет трубку и без особенного энтузиазма замечает мне, что их колхоз одним из первых по области перешагнул первые 10 процентов. Потом он, морщась, смотрит в окно — солнце снова скрылось за тучами.

— Похолодание,— говорит Латыпов и с надеждой добавляет, что прогноз на октябрь обещает теплую погоду. Хорошо, если оправдается.

Парикмахер на скорую руку бреет председателя, который, неуютно примостясь на краешке стула, нетерпеливо притопывает ногой. Он, как и весной, в сапогах, в галифе, в выгоревшем, старом кителе и от этого еще больше похож на командира, торопящегося на передовую.

Разговор мы продолжаем уже в машине. В прошлом году колхоз собрал по 30 центнеров хлопка с каждого из 1 225 гектаров. В этом году по обязательству, принятому в честь XXI съезда партии, колхозники предполагают собрать по 30,4 центнера с площади в две тысячи триста гектаров, а всего около семи тысяч тонн, из них тысячу — хлопкоуборочными машинами.

Я спрашиваю: за счет чего образовался такой большой прирост площадей под хлопчатником?

Латыпов отвечает, что в этом году к ним присоединился соседний, отстающий колхоз — 1 100 гектаров посевной площади, с которой в прошлом году было собрано всего по 19 центнеров, а в этом году соберут по 30.

— А как вы этого добились?

— А почему бы нам этого не добиться? — отвечает Латыпов вопросом на вопрос и рассказывает мне о первом общем собрании после присоединения отстающего колхоза.— Мы начали с того, что спросили народ: в чем

дело, почему у нас тридцать, а у вас девятнадцать? Почва одна и та же, вода из одного и того же арыка, а результаты разные. Ответ простой: хозяйство было запущено, на трудодни ряд лет получали мало, не чувствовали перспективы, не работали в полную силу, больше надеялись на доход с приусадебных участков, чем на доход с колхозного поля. Колхозники отстающей артели настолько не свели в прошлом году концы с концами, что при окончательном расчете недополучили на трудодни 248 тысяч рублей и 80 тонн зерна. Начали с простого. За счет общих накоплений через неделю после собрания погасили эту задолженность. Потом авансировали вновь присоединившихся колхозников наравне с прежним составом колхоза — по 10 рублей и по 2 килограмма зерна на трудодень, чем и внушили твердую уверенность: если каждый человек в колхозе по-настоящему возьмется за дело, то к концу года никто не останется внакладе. А раз люди поверили в это, то стало вполне возможным с первых же дней весны организовать высококачественную работу на всех площадях колхоза — и старых и новых.

— Я бы сказал, что местами сейчас их хлопок даже лучше, чем наш,— говорит в заключение Латыпов и сам невольно улыбается этим словам «их» и «наш», словам, которые через год отживут, но пока еще по привычке остаются в лексиконе объединившегося колхоза.

Наш разговор об укрупнении колхоза и о видах на урожай несколько раз съезжает на другую тему — на капитальное строительство. Это вполне естественно, ибо, пока мы едем на машине, само это капитальное строительство то слева, то справа возникает перед глазами. На том пустыре, где весной пасся ишачок, стоит подведенная под крышу школа-десятилетка. Рядом штабеля кирпича и склад леса. До зимы здание накроют крышей и к марту закончат внутренние работы. Это строительство стоимостью в миллион восемьсот тысяч рублей — единственное переходящее на следующий год, все остальное начатое в этом году строительство будет в этом же году закончено. А всего колхозом ассигновано в 1958 году на строительство ни мало ни много — 7 миллионов 421 тысяча рублей.

— И ни рубля кредита при этом не взяли,— не без гордости отмечает Латыпов.

Невдалеке за колхозной усадьбой кран поднимает в воздух последнюю бетонную ферму будущего сушильного цеха. Строители обещают сдать цех к 15 октября, через него должна пройти значительная часть уже нынешнего урожая хлопка.

Новый типовой коровник на сто голов тоже подведен под крышу. Достраивается и склад для зерна.

Латыпов по дороге много раз то высовывается из машины, то вылезает, показывая мне колхозные стройки.

Кроме того, теперь уже готового клуба, на лесах которого я застал Латыпова весной, строится еще один, тоже на пятьсот мест, на другом участке. Строится и многое другое: баня, родильный дом, свинарник, дезинфекционная ванна для скота. Кроме того, большие суммы вкладываются в электрификацию и радиофикацию всех колхозных поселков, монтируется телефонный узел на тридцать точек.

— Хотим, чтобы у наших агрономов и бригадиров были на дому телефоны, чтобы сведения о результатах дневной работы вечером получать по телефону, не вызывая их в контору,— говорит Латыпов и вдруг смеется: — Конечно, если результаты хорошие! А если плохие, несмотря на телефон, все равно вызовем для личных объяснений!

Мы сворачиваем с одной проселочной дороги на другую и нескончаемо едем вдоль хлопковых полей. Слева и справа тянется сплошное пыльно-зеленое море хлопчатника, и, как в настоящем море, в нем то там, то здесь белеют гребешки раскрывшихся коробочек.

Мы останавливаемся возле той самой хлопковой карты, где весной Латыпов проверял при мне точность квадратно-гнездового сева. У дороги, на огражденной рыжим дувалом бетонированной площадке, уже сушатся первые тонны хлопка; работающая здесь бригада рассчитывает снять по сорок центнеров с гектара.

Мы едем во вторую бригаду, в третью, в четвертую — повсюду та же однообразно-прекрасная картина: мощные пыльно-зеленые поля, утонувшие в них по грудь, то близкие, то далекие фигуры сборщиков, а на краю полей то бетонные, то земляные, плотно утрамбованные площадки, покрытые густым белым ковром уже собранного хлопка. Между полями, по узким полевым дорогам, идущим поверх засыпанных к нача-

лу уборки арыков, медленно движутся повозки с мешками хлопка. Учетчики принимают сырец прямо в борозде, чтобы сборщикам не таскаться с мешками на плечах к хирманам. Тут дорого все: и время и людские силы; все берется в расчет, все экономится, да иначе и нельзя, раз обещание сдать семь тысяч тонн дано всерьез.

В одной из бригад Латыпов задерживается дольше, чем в других. Бригадир Кушак Михкамов — могучий, толстый, черноусый мужчина, уже немолодой и, судя по его повадкам, хорошо знающий себе цену,— встречает председателя, добродушно улыбаясь в усы. Латыпов тоже улыбается в ответ, они жмут друг другу руки и усаживаются рядом на гору хлопка.

Однако, несмотря на такую дружескую встречу, разговор дальше — больше начинает принимать крутой оборот. Бригадир сердится, а Латыпов, хотя и продолжает по привычке улыбаться, упрямо гнет свое и, кажется, не собирается уступать ни пяди.

В разговоре вскрывается одно из тех повседневно возникающих противоречий, которые приходится разрешать председателю.

В бригаде, куда он приехал, хлопчатник хороший, но с более поздним созреванием, чем у соседей. Коробочек раскрылось еще совсем мало; сборщики здесь собирают по 33 — 34 килограмма сырца в день, а в соседних бригадах — по шестидесяти — восьмидесяти.

Агроном вчера дал распоряжение бригадиру, чтобы он на несколько дней приостановил сбор хлопка на своем поле, а людей перебросил в соседние бригады. Однако бригадир не только не выполнил распоряжения агронома, но и сейчас, встретясь с председателем, отстаивает свою правоту.

Ход его рассуждений прост: агроном — мальчишка, работает всего второй год, а он, бригадир, человек заслуженный, с какой стати агроном будет указывать, куда ему перебрасывать людей. Вдобавок из-за позднего созревания хлопчатника его бригада и так оказалась во временно отстающих; так что же теперь, отдать своих людей соседям, а самому еще неделю срамиться? Бригадир считает ход своих рассуждений вполне убедительным и ждет, что Латыпов поддержит его против агронома.

Однако Латыпов думает иначе. Продолжая спокойно улыбаться и ни разу не повысив тона, он в течение получаса терпеливо, но беспощадно внедряет в сознание знатного бригадира, что его подход к делу личный, а не общеколхозный, или, говоря шире, местнический, а не государственный.

— Сколько твои колхозники собрали вчера у тебя на поле? По тридцать три, да? А сколько бы они собрали в соседней бригаде, где хлопок раскрылся раньше, чем у тебя? По семьдесят — восемьдесят, да? Значит, каждый из них не добрал по сорок килограммов? А теперь, сколько у тебя выработали вчера колхозники, собрав по тридцать три килограмма? По одному трудодню, да? А сколько бы они выработали в соседней бригаде? По два трудодня. Кому, спрашивается, выгодно, что они здесь работают? Колхозу? Нет! Колхозникам? Нет! Это выгодно только твоему самолюбию: «Мол, я сам хозяин, моя бригада — не захочу и не пущу!» Если бы ты вчера отпустил своих людей, твоя бригада временно имела бы еще меньший процент сбора — это верно, но зато весь колхоз за вчерашний день имел бы больше валового сбора; что важней — подумай сам! А теперь такой вопрос,— продолжает Латыпов, не давая бригадиру передышки,— когда у тебя наступит бурное созревание хлопка, ты управишься с одними своими людьми?

Бригадир молчит, упрямо насупившись.

— Нет, ты скажи: да или нет? Управишься или попросишь помочь тебе людьми? — доканывает его Латыпов.

— Попрошу,— с великим трудом наконец выдавливает из себя бригадир.

— А мы тебе тогда не дадим людей, раз ты их сейчас соседям не даешь! Что скажешь тогда?..

— Завтра он даст тебе людей! — говорит Латыпов через полчаса агроному, тому самому, которому не хотел подчиниться бригадир.— Я убедил его, что он неправ!

Агроном стоит посреди кишлачной улицы, недовольно похлестывая плеткой по пыльному сапогу. Он рад, что председатель убедил упрямца бригадира, но его самолюбие страдает оттого, что ему не удалось это сделать самому.

— Ничего, он сделает. Ты правильно распорядился,— повторяет Латыпов. Присев на корточки, он одновременно и разговаривает и, по-военному положив блокнот на колено, крупным быстрым почерком пишет распоряжение завскладом о выдаче агроному трех дополнительных бричек для вывоза сырца с полей.

— Надо с будущего года укрупнять бригады,— как вывод, уверенно подытоживает Латыпов, как только мы садимся в машину, чтобы ехать дальше.

— Сейчас за каждой бригадой 60—70 гектаров, а надо им дать по 150. При таких масштабах в каждой бригаде окажутся поля и с более поздним и с более ранним созреванием хлопка. Меньше будет трений, меньше согласований. Каждый маленький начальник сможет сам сманеврировать своими резервами — так, кажется, это на войне называлось?

Уже к концу дня мы оказываемся с председателем на самом краю колхозных полей. Здесь из сырцового кирпича сложено двадцать временных глинобитных домиков. Чуть поодаль механизаторы выравнивают новую стогектарную хлопковую карту. Это последний участок свободной, не использовавшейся ранее земли. Дальше начинаются земли соседей.

— Освоим это,— говорит Латыпов,— и придется расти только за счет повышения урожайности.

Вспомнив, сколько мы уже исколесили до этого, я говорю председателю, что, в общем, ему грех жаловаться: земли немало, хозяйство крупное.

— Да, порядочное,— соглашается он.— Несколько лет назад, до укрупнений, на нашей территории знаете сколько колхозов было? Восемнадцать! Восемнадцать председателей, восемнадцать бухгалтерий, восемнадцать сводок, восемнадцать уполномоченных. А теперь мы от одного отказываемся. Третий год заявляем на бюро райкома: и без уполномоченных дадим все, что обещали!

Мы пылим по дороге обратно к центральной усадьбе колхоза. Навстречу нам едет длинный воз, запряженный парой лошадей. На возу высокая гора мешков с хлопком, а на самом верху горы — старик с белоснежной бородой, в пыльном халате, распахнутом на могучей бронзовой груди. Когда мы равняемся с ним, он вдруг широко улыбается нам сверху, с горы хлопка,

и увесисто хлопает ладонью по верхнему туго набитому мешку: вот, мол, видишь, раис, собрали, везем!

Латыпов тоже счастливо улыбается ему в ответ, но сразу же с мгновенно изменившимся выражением лица снизу вверх тревожно взглядывает в потемневшее небо.

Мне кажется, что я без слов угадываю те беспокойные мысли, которые владеют им в эту минуту. Этот воз с мешками до неба и еще десятки таких же возов, ползущих по колхозным дорогам, и десятки грузовиков, уже ушедших на заготовительные пункты, и гигантские простыни из хлопка-сырца на бригадных хирманах — все это, вместе взятое, всего-навсего десять процентов плана. А девяносто еще впереди! И, чтобы их взять все без остатка, нужен труд и характер. Недюжинный труд и твердый характер. Без того и другого в хлопководстве далеко не уедешь!

ОДИН ИЗ ПАХТААРАЛЬЦЕВ

В вышедшей девять лет назад в Алма-Ате книжке журналиста Н. Г. Загородного, посвященной истории старейшего и самого высокоурожайного на землях Голодной степи совхоза «Пахта-Арал», на первых же страницах встречается имя Ахмета Арысланова. Сын гурьевского нефтяника, он, пробатрачив несколько лет у баев, юношей приехал в Голодную степь и вскоре прославился как один из лучших землекопов на строительстве будущего «Пахта-Арала».

Это было в 1924 году, 34 года тому назад...

Миновав знаменитые пахта-аральские земли, я еду по так называемому Жетысайскому массиву, северному, казахскому краю Голодной степи, в новый совхоз имени Ленина, который полтора года назад начал закладывать здесь бывший пахта-аральский землекоп, а ныне уже немолодой человек, директор совхоза Ахмет Арысланов.

От «Пахта-Арала» до нового совхоза больше пятидесяти километров. Каналы, вереницы тополей, лесные полосы, хлопковые поля и среди островков густой зелени поселки колхозов и совхозов, вторгшихся в степь в разное время — двадцать, пятнадцать, десять, пять лет тому назад. Наступление на Голодную степь идет здесь уже четвертое десятилетие, и сейчас на самом

переднем крае его — совхоз имени Ленина, ровесник Янги-Ера. Так же, как и там, здесь сделали первую разведку земель осенью 1956 года, так же, как и там, весной 1957 года приступили к строительству.

Усадьба совхоза, как полуостров, выброшена далеко в степь. Судя по датам, поселок еще не вышел из ясельного возраста, но, судя по его виду, строила его зрелая хозяйская рука.

Вокруг всего поселка — зеленая защитная зона. Молодые деревца тянутся вверх еще робко, зеленеют неуверенно, пока еще не они защищают, а их надо защищать, но они посажены широким фронтом, к ним подведена вода, и чувствуется: пройдет несколько лет, и они начнут сторицей возмещать людям затраченные труды. Вдоль улиц поселка тоже идут аллеи посадок; поселок хорошо спланирован, его дома — щитовые и кирпичные — сооружены на совесть, по-серьезному. Есть и еще один признак добротной работы: на дорогах внутри самого поселка, несмотря на дождливую весну, куда меньше грязи, чем в иных более обжитых местах, что мы сегодня проехали. Дороги построены со знанием дела, с хорошим дренажем.

День воскресный, но, остановившись у директорского домика, ничем, кстати, не отличающегося от десятка других таких же добротных домиков, стоящих справа и слева, я узнаю, что Арысланова нет дома. Он с утра поехал в новое отделение совхоза.

Отделение организовали лишь позавчера, и поэтому в ответах на вопросы обнаруживаются разногласия: шофер главного агронома говорит, что туда пятнадцать километров, жена директора — что двадцать, а спидометр впоследствии уточняет — двенадцать.

— Езжайте через мост по колее, потом сверните вдоль канала, и так по-над каналом и двигайте, пока в степи вагончиков не увидите,— это и будет новое, третье отделение.

Мы едем километр за километром вдоль канала, и слева и справа нас провожают бескрайние поля, распаханные, но в большинстве своем еще не засеянные: мешает погода. Сеять здесь начали только вчера и только на сухих местах. Во вновь организованном отделении, пользуясь относительно погожим днем, тоже сеют — по этому поводу туда и выехал директор.

Если совхоз имени Ленина — это передний край освоения Голодной степи, то его новое отделение — это край края, крайнее отделение на краю самого крайнего совхоза. За ним уходит к горизонту уже вовсе не обжитая, и сейчас, в этот пасмурный день, словно хмурый закат, густо лиловеющая цветами степь.

Вагончики показываются в степи именно в той стороне, где мы и ожидали их увидеть, и через несколько минут мы въезжаем на усадьбу отделения. Сейчас она похожа на только что перекочевавший табор, конечно, с поправками на современность: три или четыре палатки, штук двадцать полевых вагончиков с развешанным между ними, выстиранным по случаю воскресного дня бельем и автолавка, возле которой идет бойкая торговля. Несколько маленьких детишек играют между вагончиками под наблюдением двух женщин, из которых одна — казашка, а другая, судя по национальному красному платью,— туркменка. Поодаль стоит ремонтная летучка, и несколько мужчин возятся у выстроившихся в ряд тракторов: завтра, если погода установится, сев начнут уже не выборочно, а всплошную.

Спрашиваю: «Когда вы приехали сюда?» Отвечают, что кто позавчера, а кто и вчера. Часть механизаторов уже в поле — сеют, а остальные, по воскресному дню, кто на базаре, кто на центральной усадьбе совхоза.

— К ночи все тут соберутся,— говорит, отрываясь от трактора и вопросительно поглядывая в темное небо, механик,— завтра сеять будем.

Он добавляет к этому, что погода не больно-то обещает, но время не ждет. Только позавчера организованное отделение уже имеет на 1958 год твердый и немалый, в несколько сот гектаров, план посева хлопчатника.

Директора совхоза в отделении нет, он уехал на поля, и мы выезжаем за ним вдогонку.

Ахмета Шакуровича Арысланова мы застаем еще километров за пять в степи. Навстречу мне из «газика» вылезает невысокий худощавый пожилой человек, с худым мрачноватым лицом, одетый как придется, пополевому — в старую кепчонку, плащ и стоптанные кирзовые сапоги. По первому впечатлению, от первого разговора, это сильный, суровый, угрюмый и несловоохотливый человек. Первые два ощущения потом

подтверждаются: да, сильный и суровый. Но не угрюмый и не молчаливый в тех случаях, когда речь заходит о деле всей его жизни — об освоении этих земель. Из 54 лет Арысланова тридцать четыре прошло здесь, с двумя перерывами — четыре года фронта и два года учебы. Начав землекопом, он стал помощником главного садовода «Пахта-Арала», уже взрослым человеком получил образование за среднюю школу, управлял отделением совхоза, потом был заместителем директора «Пахта-Арала», потом поехал закладывать новый совхоз, потом еще один — тоже новый, потом, отвоевав четыре года, вернулся сорокалетним лейтенантом, заложил еще один совхоз и, наконец, проучившись два года на агрономических курсах повышения квалификации, в кои-то веки раз, как он сам, усмехаясь, говорит об этом, решил осесть на работе поспокойнее, в Алма-Ате, в министерстве. Но не тут-то было. Как раз подоспело постановление о Голодной степи...

— И поехал я, раб божий, в октябре позапрошлого года вдвоем с этим вот товарищем,— дружески со своей хмурой усмешкой кивает Арысланов на шофера,— поехал с ним вдвоем подыскивать здесь подходящие места, решать, где что у нас будет...

Арысланов не закончил намеченные на сегодня дела, и мы с ним примерно еще с час ездим и ходим по полям. При этом я замечаю, что там, где сев идет хорошо, он разговаривает со своими механизаторами при мне; там же, где что-нибудь, по его мнению, не в порядке, он вдруг быстро, явно не желая, чтобы за ним следовали, углубляется в поле метров за сто, нагибается, поковыривает землю, потом манит к себе рукой тракториста или агронома, работающего на участке, и там, в поле, без чужих ушей, объясняется. Слова не долетают до меня, но, судя по скупым сердитым жестам Арысланова, он делает проборку. Характер у него, видимо, крутой. Внешность тут не обманывает.

С полей мы возвращаемся в контору совхоза, пока что расположенную в одной половине жилого стандартного домика. Кажется, со строительством большой, запроектированной по плану конторы Арысланов не особенно торопится, считая, что не в ней счастье. Мы несколько часов подряд сидим в маленьком кабинетике директора и говорим о его работе.

Мне прежде всего хочется узнать у этого человека, всю свою жизнь провоевавшего со здешней трудной землей: что, по его мнению, обрекает при неудачном освоении эти почвы на засолонение и, наоборот, что гарантирует от него?

Он начинает с того, что довольно сердито сетует на все еще продолжающуюся нехватку машин для радикальной планировки земель.

У плохо спланированной земли — плохие стоки, и она быстро засолоняется. А между тем машин для планировки маловато. Ну, согласен, объем работ по всей стране такой, что глазом не охватишь. Согласен, что машин еще какое-то время будет не хватать. Но ведь надо искать выходы из положения. Почему, если не хватает бульдозеров, нельзя готовить отдельно бульдозерные ножи как запасные части? Поставь их на трактор, приспособь — вот тебе и дополнительная возможность планировать земли. Так нет, все еще не доходит, не делают!

Арысланов начинает перебирать все обстоятельства, которые мешают бороться с засолонением земель.

Землю надо осваивать комплексно. Что это значит? Во-первых, с самого начала надо получить хорошую пресную воду. Пришел на место, пробурил скважины — одну, другую, третью,— сделал водопровод: вода и для полей и для всего нужна. А наличие артезианских колодцев уже в какой-то мере помогает уходить вниз грунтовым водам. Значит, это со всех сторон хорошо. Пробурили, сделали водопровод. Что дальше? Дальше — сажай деревья. Но не для отчетности сажай, чтобы цифрочки в соответствующие места понатыкать, а по существу сажай — чтоб росли! Теперь много говорят о вертикальном дренаже. Есть сторонники того, чтобы вообще при помощи его осваивать степь. Дело это перспективное, но мне странно, что некоторые горячие агитаторы за этот метод забывают, что всякое древонасаждение само по себе тоже не что иное, как вертикальный дренаж! Тысячами деревьев мы уже тянем вверх воду; надо их много сажать, все время сажать. Если много не сажать, степь никогда по-настоящему не освоим!

Третий вопрос — севооборот. Мы сплошь и рядом намечаем площади под хлопок таким образом, что на-

рушаем нормальный севооборот. Возьмите «Пахта-Арал». Он много лет на моих глазах живет, опыт есть. Грунтовые воды там высокие, засолонить землю недолго. Но «Пахта-Арал» держится, избегает засолонения. На чем он держится? На целом комплексе агротехники, и в том числе на правильном севообороте. Он железно стоит на семипольной системе: четыре поля хлопка, а три поля люцерны все время восстанавливают землю, не дают ей деформироваться, а это тоже мешает засолонению почвы. Однако правильный севооборот наладить — это не только планы исправить, не только отказаться от стремления непременно, сегодня же, всю свободную площадь хлопком засеять, без всякого рассуждения о том, как оно пойдет в дальнейшем. Допустим, мы намечаем правильный севооборот, решаем дать под люцерну все, что ей положено по штату. Но решить — этого еще мало. Вопрос упирается в семена. У нас еще плохо поставлено в широком масштабе люцерновое семенное хозяйство. Иногда и земля отведена под люцерну, а семян не хватает! Это тоже надо исправлять. И у нас и в других местах.

Наконец, режим воды. Почва засолоняется, когда мы прогоняем через поля слишком много воды. Значит, во-первых, надо соблюдать строгий, неуклонный водный режим. Во-вторых, надо совершенствовать методы полива. Дождевальные установки сейчас созданы, и я всецело за них — хорошая вещь! Но их мало, опыты с ними надо ставить куда шире. Если мы мысленно представим себе совхоз, который в близком или более отдаленном будущем всецело обслуживается дождевальными установками, то о засолонении перестанет идти речь. При поливе дождевальными установками была бы громадная экономия воды. Мы бы бросали на землю ровно столько воды, сколько ее необходимо растениям, и не пропускали бы через поля ни одного лишнего кубометра.

— Заглядывая в будущее,— помолчав, задумчиво добавляет Арысланов,— я бы сказал, что тут и людская экономия будет, а не только водная. Возьмите меня, например, я не один год проработал поливальщиком, и, можете мне поверить, это тяжелый труд. А главное, шесть-семь лет человек проработал — вечно ноги в воде,— и в итоге ревматизм как профессиональная бо-

лезнь. Это легко проверить. Хотя мы мало говорим об этом, но это так. Возьмите сведения в райздраве. На сто больных ревматизмом, ручаюсь, восемьдесят окажутся в прошлом именно поливальщиками. Я лично считаю, что за дождевальной машиной большое будущее. Во-первых, она решает технический вопрос, не допускает подъема грунтовых вод, а значит, и засолонения. Во-вторых, решает человеческий вопрос — в перспективе обещает покончить с одним из самых тяжелых видов ручного труда. Механик на дождевальной машине земле дает воду, а сам к воде и не прикасается. Он в галстуке может сидеть у себя на машине.

Начав с дождевальной машины и поливальщиков, Арысланов с горячностью, от которой его хмурое лицо сразу перестает быть хмурым, продолжает говорить о волнующей его проблеме вытеснения ручного труда. Он, как и многие другие, побывал на совещании хлопкоробов в Москве, слышал горячие, обращенные в будущее слова, звавшие к вытеснению ручного труда повсюду, где это практически и материально уже возможно, и эти слова со всей силой отозвались в его душе, как и во многих других душах.

— Мы ведем крутую борьбу с ручным трудом всюду, где мы в силах это сделать,— решительно говорит он.— Кетмень у нас в совхозе основательно ушел с поля уже в прошлом году. Уже в прошлом году мы нацелили людей на бескетменную обработку. А в этом году их уже не надо нацеливать. Они это в толк взяли. Надо только поддерживать их и не отступать. И вообще я выскажу вам свой личный взгляд: когда мы берем установку на механизацию, то в этом надо быть последовательными людьми. Дело не только в личности бригадира, которому ты поручаешь участок. Дело в складе его ума, в направлении мыслей, связанном со специальностью. Мы у себя в совхозе полеводов во главе бригад сейчас не ставим. Ставим только механизаторов. Полевод, тот, как правило, к кетменю потянет, а механик — к трактору попрет. У него ход мыслей другой, чем у полевода, он уже, по существу, если хотите знать, промышленный рабочий. Бывают, конечно, поправки на личности, но я в принципе говорю. Упряжка вся должна быть хорошо подобрана. Но кто в ней коренником, это не праздный вопрос.

Я спрашиваю у Арысланова, как у него здесь, в новом совхозе, обстоит дело с себестоимостью продукции.

— Хотя мы в прошлом году и дали урожай хлопка выше запланированного, но себестоимость, по совести говоря, была еще очень высокая. И в этом году тоже еще высокая. Конечно, надо отдавать себе отчет, что период освоения накладывает на себестоимость свою печать. Поскольку мы растем, количество техники и планируется и дается нам заранее навырост. Расширение идет бурно, и, если не иметь некоторого запаса техники, возникает опасность торможения работ. Это первое, что ложится на землю рублем, раскладывается на каждый гектар. А второе...— Арысланов, сделав короткую паузу и усмехнувшись, тычет себя пальцем в грудь.— Второе — это мы, аппарат, управление совхоза. Посчитайте сами. Мы в ближайшее время должны обрабатывать 7 тысяч гектаров. На это количество гектаров рассчитан наш управленческий аппарат. А в прошлом, в первом году жизни совхоза, мы освоили 1 400 гектаров. Это значит, что управленческие накладные расходы легли на каждый гектар в четырехкратном размере. В этом году мы расширим посевные площади больше чем вдвое. Это значит, что теперь на каждый гектар падет уже меньше бюрократических денежек, но все еще много, все еще душа болит. Не знаю, как кого, а меня лично это обстоятельство дополнительно подталкивает быстрее закончить период освоения.

Для вас, наверно, не секрет, что у нас тут среди освоителей споры идут: как действовать? Сперва строить, а потом осваивать? Или делать и то и другое одновременно? Так я за то, чтобы одновременно. Давайте вспомним «Пахта-Арал». Ведь при тогдашнем наличии техники, а верней, при отсутствии ее, мы все-таки все основные площади совхоза за пять лет освоили и, как говорят строители, бросили лопату. А сейчас есть сторонники в современных условиях строительство совхоза растягивать чуть ли не на семь лет. Не пойдет так. Мы здесь у себя перед строителями ставим вопрос следующим образом: вы должны нам за три года все закончить и уйти. Сейчас закладываем четвертое отделение, к осени заложим пятое, на будущий год начнем работу на последнем, шестом, и нечего тут тянуть.

— Тем более,— добавляет Арысланов,— что расши-

ряться легче, чем начинать. Организовать новое отделение так, как мы позавчера организовали, не столь трудно. Уже резерв у тебя есть, люди есть, вагончики для жилья есть. Отовсюду поднатащил, собрал — и отделение организовано!

Другое дело — начинать сначала, как мы позапрошлой осенью начинали. Что у нас было в октябре 56 года? Вот этот «газик» да первых два вагончика. Печати даже у меня не было, а какой же я директор без печати,— снова усмехается он.— Заказал печать в Алма-Ате в граверной мастерской, так два месяца держали, говорят: заказов много. Но я, как только собрал первых людей, сразу же отправил их в разные стороны, во все известные мне питомники закупать посадочный материал, чтобы деревья сажать, а сам тем временем кинулся к директорам соседних совхозов. Стоял октябрь, как раз время хлопкоуборочной, а в 1956 году на уборке хлопка очень мало механизмов использовали, больше языки насчет механизации чесали, так что трактора у директоров были свободные. Ну а у меня деньги, у меня уже текущий счет есть, я уже директор, хотя и без печати. Значит, есть резон: дали мне трактора, запахали мне первые площади — и денежки получили. А для меня распаханные земли — большое дело, начало!

Конечно, народ в совхоз не сразу собрался. Новый, 1957 год встречали здесь, в степи,— было нас тридцать человек вместе с геологами. Кстати, над геологами мы посмеялись в день их приезда. Почвы тут тяжелые, геологи, еще не доехав до наших вагончиков, у нас на глазах в трясине завязли. Стали вытаскивать из трясины свою машину, мы помогаем им, а сами смеемся: «Что, говорим, товарищи геологи, уже с места в карьер приступили к изучению наших почв?»

Так начинали. А в марте прошлого года заложили первые дома. Как раз, помню, в женский день, восьмого марта...

Прикинув в уме, что это было всего тринадцать месяцев назад, я говорю Арысланову о том выгодном впечатлении, которое уже сейчас оставляет центральная усадьба совхоза.

— Стараемся вместе со строителями сделать все на совесть,— говорит Арысланов.— И считаем правильным

наш рабочий класс,— Арысланов сознательно подчеркивает эти слова, он именно так и хочет выразиться о рабочих совхоза,— ориентировать на изобилие. Выделяем участок, стараемся сразу построить приличный дом и требуем на хорошем участке посадить хороший сад. И даем для этого наилучший, какой имеем, посадочный материал. Если узко дело понимать, то даем этот посадочный материал для личного сада в убыток себе—за копейки. А по существу, конечно, даем с большой прибылью для дела, даем так, чтобы через 4 — 5 лет у него, у этого дорогого товарища, вырос действительно сад, а не одно название. Вот тогда он не уедет от нас, тогда его от нас не оторвешь!

— Походите по усадьбе, поглядите. Многие сады посадили, и приличные сады! Кажется, уже привык к тому, что все на пустом месте возникает, а иной раз сам ходишь и удивляешься: как быстро!

Сады, лесные посадки, защитные полосы — конек Арысланова, и он сам, увлекаясь размахом совершающегося вокруг дела, долго и горячо рассказывает мне, как будет выглядеть эта степь через десять — пятнадцать лет и что для этого делается.

— Пока что на трех усадьбах высадили 150 тысяч корней. В июле у нас здесь бывают горячие степные песчаные ветры, шпарят что твой кипяток. Поэтому мы решили от них отгородиться с северо-запада десятикилометровой широкой полосой насаждений. А потом, когда разрастется совхоз, продолжим эту полосу еще на десять — пятнадцать километров. Вот у нас уже и не будет тех ветров, что сейчас за окошком свистят,— слышите? А сейчас апрель, не июль. А в июле они о-го-го!

Тысчонок десять дубов в прошлом году посадили вместе с акациями. Дубы, особенно здесь, первые пять-шесть лет туго растут. И мы их на первые годы прикрываем тенью быстро растущей акации. Но зато, когда дуб уже вылупится, в силу войдет, он так тебе попрет, что не удержишь! Акация через тридцать — сорок лет отомрет. А дуб — он на века. Сажаем и шелковицу. Уже посадили тысяч сорок деревьев. В смысле лесонасаждений, как говорится, чем дальше в степь, тем больше дров. В «Пахта-Арале», когда я там работал, мы в общем высадили 850 тысяч деревьев. Нема-

ло, надо сказать, но здесь на второй год уже имеем 300 тысяч корней. А в итоге — с садоводами планируем — полтора миллиона!

Покончив со своей любимой темой, Арысланов начинает рассказывать о строительстве центральной усадьбы совхоза. И если в отношении лесопосадок и садов он полон оптимизма, то тут его далеко не все радует.

В поселке строится интернат при средней школе, большой, на 500 человек, потому что отделения разбросаны далеко от центральной усадьбы. Кроме того, строится школа механизаторов, тоже с интернатом на 400 человек. Это предусмотрено правильно, но что касается клуба и комбинированных детских садов-яслей, то здесь, по мнению Арысланова, нормы проектировщиков порой не верны, а прямей сказать — нелепы.

— Подумайте сами,— говорит он,— посчитайте. (Я уже заметил — это у него такая привычка, он любит, чтобы его собеседник сам подсчитывал.) На всю центральную усадьбу, к примеру, спланирован детсад на сто человек,— включая туда ясли,— всего. А теперь выйдите из комнаты и обойдите вместе со мной хотя бы два двора... этот дом — а он ведь наполовину канцелярией занят — и соседний. Только в этих двух домах у нас уже десять детей дошкольного возраста.

Что на практике означают такие проектные нормы? То, что мы построим завтра полностью все, что положено, а послезавтра уже откажем половине желающих и имеющих право поместить сюда своих детей. Нереальный проект тащит за собой перманентно нерешенную проблему. А эта нерешенная проблема тащит за собой другую проблему. Половина женщин, если не больше, из-за того, что некуда на день отдать детей, будет лишена возможности работать в совхозе. А это, в свою очередь, значит, что в совхозе окажется больше населения, чем нужно для дела. Там, где могли бы работать два человека от одной семьи, будет работать один. Но рабочая-то единица в совхозе нужна, следовательно, приедет еще одна семья! А приедет еще одна семья — надо строить для нее дом или полдома! И таких домов или полудомов придется строить десятки и десятки. Спрашивается, что сэкономили проек-

тировщики по своим нормам? Ничего не сэкономили, наоборот!

Это если брать только одну сторону вопроса. Но есть и вторая. Многие женщины с удовольствием станут заниматься полезным трудом в совхозе и получать квалификацию при условии, что будут спокойны за детей. Семья, где два человека занимаются производительным трудом, имеет другой, более высокий жизненный уровень, а кто не хочет иметь более высокий жизненный уровень? Все хотят! Тут стоит побороться за решение этой проблемы. Она, знаете ли, выходит из пределов совхозной усадьбы, она пошире! Это вопрос о целесообразном распределении сил в социалистическом обществе, о роли и судьбе женщины, о развитии заложенных в ней сил и возможностей. Тут есть смысл повоевать, и мы тут у себя, в совхозе, коммунисты, посоветовались и решили воевать.

Я спрашиваю Арысланова, сколько, по его мнению, будет всего рабочих в совхозе, когда все площади будут освоены?

Этот вопрос оказывается не простым.

Арысланов долго думает, даже как будто прикидывает в уме цифры, и потом говорит:

— Врать не хочу, а точно сказать трудно. Если говорить по старинке, можно было бы вам ответить сразу, не думая: хлопок — трудоемкая культура, под него намечено 6 тысяч гектаров, значит, на хлопке будет три тысячи человек: человек на два гектара. Но, по нынешним видам на будущее, на комплексную механизацию в этот расчет придется каждый год вносить поправки в сторону уменьшения. И состав работников совхоза будет меняться. Все больше будет механизаторов, шоферов, всякого рода специалистов и все меньше полеводов.

— Ну как, совесть все-таки есть у тебя, а? — вдруг раздается спокойный женский голос.— Сколько мне еще ждать? Сколько раз чай кипятить? С рассвета ведь не пил, не ел ничего.

В дверях, укоризненно сложив руки на груди, в позе привычного долготерпения стоит жена Арысланова.

Мы подчиняемся и идем пить чай. Дом Арысланова стандартный: три небольших чистеньких комнаты с паровым отоплением и сверкающая чистотой кухонька.

Мы пьем чай и перекусываем на кухне, тут тепло и уютно.

Жена хозяина — немолодая маленькая женщина, загорелая, обветренная, прожившая всю свою жизнь в этих степях вместе с мужем, судя по всему, с одной стороны, уже давно и безраздельно живет его интересами, а с другой стороны, имеет почти по каждому вопросу свое собственное суждение.

— Больше меня переживает за погоду,— кивает на жену Арысланов.— Если погода нам неподходящая, бегает к барометру раз по шесть за сутки, добро бы днем, а то и ночью: подай ей хорошую погоду для нашего совхоза, и все тут!

А жена, пригорюнившись и подперев подбородок рукой, вдруг говорит, что ей надоело кочевать.

— Вот построили здесь собственный дом,— говорит она.— И заявляю тебе, что в последний раз в жизни я опять новый сад и новый огород завела. И уже никуда не поеду отсюда. Ты как хочешь, а я не поеду.

Угроза явно нереальная, и Арысланов только молча улыбается.

— Да, да,— кажется, рассерженная этой улыбкой, упрямо говорит жена.— Хватит нам с тобой кочевать, уже люди немолодые. Другие на тепленьких местах угрелись, сидят себе, и не каплет на них. А ты...— Она чуть-чуть запинается, как бы не решаясь сказать при постороннем то, что собиралась, но характер все-таки берет свое.— А ты, как дурень, с места на место, где чего потруднее, там ты, пожалуйста, готов! Где новую землю осваивать — там ты. Других нету, кроме тебя! Сколько мест переменил, осточертеть может. Погорбатил на одном месте — хлоп! — поехали на другое снова горбатить! А что полегче, что потом — это уже другие за тебя и гребут и стригут, кто как сумеет...

Она говорит все это очень сердито, почти зло, и в то же время даже мне, постороннему, вполне очевидно, что на самом деле любит-то она этого немолодого беспокойного человека как раз за то, что он, «как дурень», переходит с одного трудного дела на другое трудное дело, и если это повторится еще раз, то она будет сажать еще один огород и еще один сад на том, еще не ведомом ей, еще одном новом и трудном месте...

Начало апреля. Вдали, за шоссе, там, где проходит Южный Голодностепский канал, сквозь сетку дождя видна высоко вкось занесенная в небо стрела шагающего экскаватора. Возвращаясь с Кайрак-Кумской ГЭС, мы решили заехать к экскаваторщикам, расширяющим Южный канал. Но, кажется, нам не повезло: тот из двух экскаваторов, к которому можно подъехать с этой стороны, почему-то стоит. Стрела его неподвижна. Мы все-таки едем. Накручивая целые карусели свистящей в воздухе грязи, «газик», переваливаясь с боку на бок, наконец добирается до экскаватора. Громадина стоит в бездействии, на высоту семиэтажного дома подняв свою железную руку над бурой, грязной весенней водой канала.

Оказывается, «шагающий» только что перешагал сюда, на новое место, и двое электриков, возившихся с переключением его на другой участок электролинии, видя, что мы вылезли из «газика», просят для скорости подкинуть их на машине к подстанции, в километре отсюда. Они уезжают подключить экскаватор, а мы, хотя и не впервые видим это зрелище, все же с невольным почтением молча несколько минут смотрим на столпотворение наваленной экскаватором земли, сухой, старой, только что смоченной сверху дождями, и новой, вчерашней и сегодняшней, вынутой со дна канала — зыбкой, мокрой, сползающей по откосам. Справа от нас канал уже расширен вдвое. Здесь, на еще не обработанном участке, он кажется совсем узким, а слева, вдали, снова расходится в целую реку. Между двумя законченными участками осталась узкая горловина в полтора километра длиной.

Мы поднимаемся по лесенке в железный корпус экскаватора, который по его масштабам хочется назвать цехом. Здесь не больно-то уютно, но на улице сечет дождь, а тут все-таки железная крыша над головой; экипаж экскаватора в ожидании, когда снова подключат ток, отдыхает, перекуривает.

Знакомимся.

Помощник машиниста Николай Басюкин и электрик Рэм Муравин — совсем молодые парни. Машинист Анатолий Павлович Канопкин — постарше. Это худощавый

блондин лет за тридцать, крепкий, подобранный, он уже давно работает на «шагающем» и, при всей своей вполне очевидной скромности, в то же время вполне, очевидно, знает цену своей профессии на любом современном строительстве. Сюда он уже второй год как приехал из Мингечаура. Там он проработал машинистом «шагающего» четыре года, построил дом, обзавелся участком, посадил сад. И все-таки, когда там закончилось строительство, снялся с места и поехал сюда, вслед за своим экскаватором.

— Только ему, бедному, в разобранном виде пришлось ехать... А мне проще: забрал семью, сел в купе и через неделю здесь,— шутит Канопкин.

Вспомнив его слова о том, что в Мингечауре оставлен дом и сад, я спрашиваю его, как он устроился здесь, в Голодной степи.

— Вначале малость подобманули, если правду говорить. Обещали дать квартиру — не дали. Пожили и в палатке и в бараке. Но сейчас уже есть квартира двухкомнатная. Тоже маловата, потому что сам пятый: жена и трое детей. Но ничего, имея дальнейшую перспективу, жить можно.

Я спрашиваю его: а не жалко было бросать дом и участок в Мингечауре?

— Жалко-то жалко, слов нет,—говорит Канопкин.— Да ведь профессия такая... Участок бросить жалко — значит, его надо бросить,— выразительно постукивает он пальцем по железной стене экскаватора.— А если его жалко бросать, значит, участок надо оставлять. Он-то вот,— говорит Канопкин о своем экскаваторе, как о живом существе,— сюда, в Голодную степь, пошагал. Что ж теперь делать?

— А если еще куда-нибудь пошагает? — говорю я.

— Что ж, вполне возможная вещь,— соглашается машинист. И вдруг спрашивает меня: — А вы-то здесь давно сами?

Я говорю, что второй месяц.

— Ну, тогда, значит, видели нашу Голодную степь.

Слово «нашу» выговаривается у него уже естественно, по-хозяйски. Он уже привык к тому, что Голодная степь — его.

— Видали, какая она... Вряд ли в ближайшие десять лет он куда-нибудь отсюда пошагает,— снова говорит

Канопкин об экскаваторе, как об одушевленном существе, товарище по работе.— На десять лет и тут и кругом работы вполне хватит. А может, и подольше.

— Так что, опять сад будете сажать?

— А что ж, вполне возможная вещь, обдумаю.

Электрики включают ток. Канопкин садится на свое, как он шутит, шоферское место. Могучая, таящая в себе сдержанную силу дрожь моторов оживляет железное тело экскаватора. Я стою рядом с Канопкиным, может быть, полчаса, может быть, час и наблюдаю за его работой. Трудно оторваться от этого зрелища. Ковш то уходит в небо, далеко-далеко, на всю длину громадной стрелы, и кажется там, на конце ее, совсем маленьким; то с тяжелым плеском вертикально врезается в воду совсем под боком, рядом с кабиной, и когда он вылезает из воды, неся в себе мокрый, сливающийся через края серыми потоками грунт, то видно, что он размером с кузов большой грузовой машины. Но вот ковш опять отдаляется, стрела, дрожа от нетерпения и напряжения, делает крутой разворот, и из ковша, ставшего снова маленьким, поверх уже насыпанных гор земли вываливается еще несколько кубков глины, ила, воды... От удара взлетает громадный грязевой гейзер, его брызги долетают до кабины машиниста, стекла которой почти все повыбиты в разное время залетевшими сюда крупными комками.

— Просто не знаешь, куда от этих брызг деваться,— ни на секунду не отрываясь от работы и напряженно следя за ковшом, говорит Канопкин.— Бьют, да и только. Уже толстые стекла доставали и небьющиеся — все равно бьют. Иногда еле увертываешься. Не каждый раз, правда. Вот видите, уже двадцать ковшей выбрали — и ничего, только брызги. А на двадцать первом, бывает, как ахнет!

— А таких стекол, чтобы действительно не бились, нет?

— Всякие ставили: с прокладками, с проклейками... Если не бьется, то трескается, а раз потрескалось — ни черта не видно через него. Нет, все-таки, видать, не нашли еще по-настоящему подходящего стекла для такого дела!

По-прежнему не отрываясь от работы, Канопкин называет цифры: сколько грунта уже вынуто здесь при

расширении Южного Голодностепского канала их экскаватором и вторым, таким же четырехкубовым, который работает на несколько километров подальше отсюда; сверху, за горами вынутого грунта, на горизонте, из кабины видны движения стрелы экскаватора.

Цифры астрономические. Там, где в свое время понадобились бы тысячи людей, сейчас канал расширяют всего шесть человек в смену: два экскаватора — два экипажа по три человека в каждом. Одновременно — шесть человек, а если взять все три смены — восемнадцать. Если применить военные сравнения, это не батальон, не рота, даже не взвод, а всего полвзвода людей!

Южный канал обладал пропускной способностью 45 кубов в секунду. Сейчас его расширяют для пропуска 125 кубов. И эту работу на протяжении тридцати с лишним километров проделают восемнадцать человек в срок, без суеты, спокойно, день за днем, ночь за ночью. Здорово!

Именно это слово я невольно произношу в ответ на скромно, между делом, изложенные машинистом выкладки. Для него это будни; пройдет не так уж много времени, и вся эта работа по расширению Южного канала на их участке будет закончена и придется «пошагать» на другой участок, на новое дело, которое Канопкин, быть может, уже сейчас держит на примете...

* *
*

Начало июня. Жаркий летний день еле заметно начинает клониться к вечеру. Мы стоим вместе с Петром Казановским у шоссе, на полдороге из Мирзачуля в Янги-Ер, и смотрим, как работает его экскаватор — машина средней мощности и отличных качеств, рабочая лошадка Голодной степи, как отзывается о ней сам Казановский. Правда, при этом он оговаривается, что в Голодной степи есть и такие участки, где даже эту «рабочую лошадку» засасывает под землю, и там уже выручают только маленькие, «болотные» экскаваторы легкого веса, на специальных широких гусеницах.

Сам Казановский отработал смену в ночь, и ему заступать лишь на следующий день, но он заодно со мной заехал сюда поглядеть, как идет дело у сменщиков.

Двадцатичетырехлетний Казановский уже второй год бригадир. Участок его бригаде достался трудный, и работа, хотя в общем идет споро, но с полным напряжением сил, с использованием всего накопившегося мастерства и опыта. Экскаватор должен пройти несколько километров большого коллектора для стока вод. На этом участке коллектор идет вдоль шоссе; полевой вагончик экскаваторщиков стоит в десяти шагах от дороги, а экскаватор работает в пятидесяти.

Здесь особенно низкое место в Голодной степи, и небывало дождливая весна превратила его в болото. Если бы экскаваторщики задумали работать здесь прямо с гусениц, с земли, машина их в два счета засела бы в трясине по самую кабину. Приходится работать с бревенчатого настила — поверх зыбкой земли положено подряд десятка три здоровенных длинных и толстых бревен, и по этой площадке, похожей на маленький отрезок какой-нибудь военной дороги через нескончаемые болота Северо-Западного фронта, передвигается экскаватор. Сейчас он делает проходку первой очереди — роет сравнительно узкую прорезь в земле, еще не на всю ширину. Потом повторно двинется вдоль всей дистанции, выбирая окончательно всю ширину и одновременно заравнивая под заданный угол откосы — оба: и левый и правый.

Метрах в трехстах виднеется уже вырытое полностью ложе коллектора. Туда экскаватор доберется завтра к вечеру и пойдет обратно по второму разу.

Прорезь в земле, которую вынимает ковш, сейчас же заполняется бурой подпочвенной водой. Она неотвязно следует за ковшом; уже не первую неделю работа идет в тяжелом мокром грунте.

Черпая землю и грузно подрагивая на то утопающих в почве, то вылезающих из нее торчком пляшущих бревнах, экскаватор постепенно доползает от одного конца настила до другого. С той, пройденной стороны за машиной осталась десятиметровая грязная бревенчатая дорога, а впереди гусениц лежат только два бревна. Они все глубже уходят в землю, и грязь, взрываясь, как маленькие бомбы, с хлопаньем вылетает из-под бревен: экскаватор начинает чуть заметно крениться. На лице Казановского напряженное выражение. Он сердито почесывает пальцем переносицу, потом тем же пальцем

чуть-чуть сдвигает на затылок кепку; очевидно, в душе его борются два чувства: ему и хочется сказать, что положение становится опасным, и в то же время не хочется своим преждевременным замечанием вмешиваться в работу такого же опытного, как и он сам, сменщика.

— Эх, как бы не загряз! — шепотом говорит он.

И я чувствую, что сейчас он повторит это уже громко, уже крикнет, ибо интересы дела — прежде всего, а самолюбие — и свое и чужое — все же дело десятое...

Но сидящий за рычагами старый машинист Тараканов уже и сам замечает, что дошел до предела возможного, больше экономить время нельзя, не то экономия выйдет боком. Выбросив на отвал последний ковш мокрой земли, он, пока стрела делает обратный поворот, кричит своему помощнику Панасюку: «Давай!»

Но тому не надо кричать даже этого «давай», он уже по движениям машиниста понял, что выемка кончилась. Быстро пробежав по настилу, Панасюк ловко зацепляет толстый железный хомут за последнее, крайнее бревно разостлавшейся позади экскаватора дороги, другой конец хомута рывком закидывает за цепь ковша, и Тараканов, приподняв ковш, поворачивает стрелу. Бревно, поднятое одним концом в воздух, другим описывает полуокружность по земле и опускается по другую сторону экскаватора, рядом с тем последним бревном, до которого он дошел. Тараканов скупым движением встряхивает ковш, хомут соскакивает, бревно ложится на землю. Тараканов опускает ковш до самого уровня земли и двумя, тоже очень скупыми, движениями прижимает зубьями ковша и подравнивает бревно к соседнему. Он делает это так легко и ловко, словно действует своими собственными пальцами, подравнивая на столе одну спичку к другим.

И снова быстрый разворот, снова Панасюк набрасывает хомут, снова бревно описывает дугу, опускается; одно движение — соскакивает, еще два движения — ложится в ряд с другими, и снова поворот стрелы, и снова...

И вот уже дорога из бревен лежит не позади экскаватора, а впереди него, и он, стоя в начале этой дороги, опять набирает первый ковш земли. Я слежу по часам. Рабочее время экскаваторщиков распадается на две почти равные части. При всей быстроте и слаженности работы, когда экскаватор используется как сам себе

слуга на все руки, перекладка бревенчатого настила каждый раз занимает почти столько же времени, сколько выемка грунта.

Пока Тараканов и Панасюк снова берут грунт, я спрашиваю Казановского, как при этих условиях работы у них обстоит дело с нормами выработки.

— Ну, с работой экскаваторщиков ведь как? — отвечает он полувопросом.— Всего не предусмотришь. Где придется подстилать бревенчатый настил, а где не придется — это не всегда заранее угадаешь, и это каждый раз учитываться не может. Учитывается одно: что этот участок считается тяжелым, значит, нормы по справедливости исходят из того, что работа идет на тяжелом грунте. Сейчас у нас месячная норма на экскаватор — от 15 до 17 тысяч кубов. Январь, февраль и март работали удачно, вынули за три месяца 75 тысяч. Но в особенности в апреле, да и в мае тоже, замучили дожди — вода, слякоть. В апреле сделали 10 тысяч, в мае натянули 17. Когда экскаватор приходится перегонять на другое место, эти дни отдельно оплачиваются, при условии, если перегон большой. За пять месяцев, начиная с января, мы сделали всего четыре перегона, в среднем по пятнадцати километров. Если считать это по дорогам, то выйдет не так много времени. Экскаватор, в принципе, по норме идет 2 065 метров в час. Значит, на каждый такой переход, считайте со всеми прибавками,— день. Это вполне терпимо. Но бывает и по-другому. В апреле нас один переход сильно подрезал — залезли в болото. Переход всего в полтора километра, но весь этот путь — сплошь вот так, как он сейчас ходит.— Казановский кивает на Тараканова, который тем временем уже снова начал перекладывать настил.— И даже хуже. В общем, на то, чтобы проползти полтора километра, ушло трое суток. Этим отчасти объясняется наша низкая апрельская выработка. И по карману чувствительно ударило, но главное, я бы сказал,— по настроению. Трое суток подряд работали в поте своего лица, а что сделали? Руками не потрогаешь — ни одного кубометра не вынули!

— Вообще,— некоторое время молча последив за работой сменщика и, как мне кажется, с трудом оторвавшись, выясняет свою мысль Казановский,— экскаваторщики привыкли, что в один месяц больше зара-

ботают, в другой — меньше... И при том, что вообще заработок у нас приличный — у машиниста в среднем 2 200 рублей в месяц, а у помощника 1 500,— падение в том или другом месяце из-за особенно невыгодного грунта не вызывает долгих разговоров. Это в порядке вещей. Но вот когда время зря уходит, тогда душа болит.

А когда время зря уходит?

Первое: когда управление плохо спланирует и начинают экскаваторы гонять туда-сюда, как шары на бильярде. Если задашь вопрос, то в оправдание говорят: так нужно. Кабы нужно, так и слов нет. Но потом, когда задним числом сами прикинем, подчас выясняется, что можно бы все по-другому разыграть,— вот это уже обидно!

Второе: кончаешь работу на отведенном тебе участке, а перспективы еще не знаешь. Сменщики, скажем, свободны, они бы уже и на место съездили и фронт работ прикинули. А где будем работать, до последней минуты неизвестно. Это тоже утрата времени. И, наконец, самое простое, но самое скучное дело. Работает экскаватор где-нибудь в глубине, вагончик, конечно, есть, но у того семья, у другого семья, кончил смену — не очень-то хочется две смены в степи отсиживать... А с машинами так бывает: на смену, особенно утром, доставят, а со смены — то да, то нет. И чаще нет, чем да. Подождешь-подождешь, да и потопаешь, а топать иногда, если попутная не случится, километров пятнадцать. И времени жалко, и ног жалко, и настроения своего жалко. Потому что, если бы в самом деле нельзя, тут о чем разговор, взял да потопал. А если знаешь, что на самом деле можно, а выходит, как будто нельзя, тогда уже настроение действительно портится. Тут уж в хорошем настроении быть себе не прикажешь.

Казановский говорит об этом, и я вспоминаю, сколько раз мне за эти месяцы, разъезжая по дорогам, приходилось подвозить голосовавших на перекрестках механизаторов.

А Тараканов уже успел переложить бревна и снова ковш за ковшом гребет грунт. Он работает, не отрываясь, не тратя ни одного лишнего движения, ни одной лишней секунды. Смена идет к концу. На его крупном,

обветренном, вспотевшем лице следы напряжения и усталости.

Да, если даже не каждый раз, а иногда после такого рабочего дня приходится без железной на то необходимости топать десять километров, это действительно непорядок. Казановский не только прав, но, пожалуй, высказывается на эту тему с излишней деликатностью.

— Слушай-ка,— говорит Казановский, когда Тараканов наконец отрывается от работы и, вытерев пот со лба, вылезает на минуту из кабины, чтобы поздороваться.— Вода тебя жмет,— Казановский показывает на полосу воды, неотступно следующую за ковшом.— Может, тебе лучше будет перемычку маленькую оставить, ну, в полметра, в метр. Потом мы ее на обратном пути снимем, а сейчас все-таки меньше воды будет. Снизу станет набираться, но по следу уже не пойдет, удобнее работать будет.

— Я уж и сам подумал,— кивает Тараканов.— Сейчас оставлю.

И, не теряя времени, он поворачивается и идет к экскаватору. Большой, грузный, уже немолодой, самый старший в молодежной бригаде Казановского. Забравшись в кабину, он сокращает размах стрелы и забирает следующий ковш уже поближе, оставляя метровую перемычку.

— Ну что ж, поедем,— постояв и еще минут пять молча последив за работой сменщика, говорит мне Казановский.

Раньше он следил за работой экскаватора ради дела, обдумывая тот свой совет, что дал теперь Тараканову. А сейчас, после того как уже дал совет, смотрел просто так, как зритель, и ему это быстро наскучило.

— Поехал, что ли? В Мирзачуль? — окликает Казановского, когда мы идем к машине, помощник машиниста Панасюк, рослый красивый украинец, с головы до ног забрызганный грязью.

— Поехал,— отвечает Казановский.

— А кино сегодня будет, не знаешь?

— Кажется, будет.

Они уже перекрикиваются через все возрастающее расстояние.

— А как у тебя? Когда домой ждешь?

— Обещали в воскресенье.

— Может, вечером увидимся,— кричит Панасюк,— Мирзаахмедов и Валитов скоро должны смену принять.

Мы садимся в машину, и я спрашиваю, кого ждет в воскресенье Казановский.

— Жену он ждет, двадцать девятого мая в роддом ушла и сына ему родила,— говорит наш третий спутник, Ищенко, освобожденный комсомольский секретарь стройуправления, в недавнем прошлом шофер автобазы. Он не садится с нами в машину, а, разогнав свой мотоцикл, выезжает на шоссе и бойко пылит впереди нас. Это характерно для Голодной степи: по сторонам от дороги — чавкающая мокрая земля, а на самом шоссе — пыль столбом.

— По всем делам на мотоцикле гоняет,— кивнув на несущийся впереди столб пыли, дружелюбно говорит Казановский. И вдруг улыбается.— Вообще мотоцикл у нас здесь, в Голодной степи,— комсомольская машина. Мотоцикл пылит — значит, считай, какой-нибудь комсомольский секретарь едет, в одном случае из двух наверняка не ошибешься.

— Вы комсомолец? — спрашиваю я Казановского. Я знаю, что он был делегатом съезда комсомола.

— Сейчас кандидат партии. Вообще сперва у нас была бригада молодежная, а сейчас, можно считать, коммунистическая. Один — Тараканов, вы его видели — коммунист, а трое нас за это время вступило в кандидаты партии.

Пока мы едем, Казановский рассказывает о своей бригаде и о том, как он сам начал здесь работать. В бригаде сейчас семь человек — два украинца, один русский, один казах, один татарин и два узбека. Состав вообще довольно характерный для людей, собравшихся работать здесь, в Голодной степи.

Я спрашиваю, почему семь человек. Три смены по два — это будет шестеро.

— Да вообще-то так, но временно сейчас работаем всемером. Машинисты перешли на четырехсменную работу, а помощники втроем обслуживают все четыре смены. Причина простая: Тараканов, тот, что работает сейчас в степи, находился в другой бригаде, на экскаваторе с пневматикой. Но эти экскаваторы пока плохо приживаются в Голодной степи, а новые «рабочие лошадки» еще на подходе. Не стоять же хорошим экска-

ваторщикам в простое. Вот Тараканов и еще два-три человека и включились в другие бригады временно. Должны подойти на днях новые экскаваторы, запасные машинисты перейдут на них, и бригада опять будет работать в три смены.

Разговор простой, но за ним невысказанное, большое содержание. Работа в четыре смены материально менее выгодна, чем в три, но чувство товарищества оказывается сильнее этих расчетов. Добавлю: не только чувство товарищества, но и простое рабочее сознание, что не должен же хороший специалист из-за временно сложившихся обстоятельств месяц-два околачиваться в простое, без своего коренного дела.

Кстати, насчет материальных невыгод работы в четыре смены Казановский мне не говорит ни слова. Это я знаю сам, без него. Мне об этом говорили еще днем в строительно-монтажном управлении.

Казановский родом из Винницкой области, кончил в Казатине железнодорожное училище, два года работал кузнецом, потом пошел в армию. Там попал в строительные части, там же получил специальность машиниста экскаватора.

Спрашиваю, почему и как он после армии оказался именно здесь, в Голодной степи.

Оказывается, тут повинна «Комсомольская правда». Незадолго до демобилизации Казановский вместе с товарищами прочел в «Комсомолке» заметку о работе как раз того голодностепского строительно-монтажного управления, где он теперь работает. Заинтересовались, поговорили, посовещались, послали сюда запрос об условиях работы и о марках экскаваторов и других механизмов.

Вскоре получили ответ, доложили командованию, что поедут не по домам, а в Голодную степь. И поехали вчетвером, все из одной роты. Теперь он, Казановский, работает на экскаваторе, двое других переквалифицировались на бульдозеристов, а один уволился, вернулся в родные места.

— А почему уехал? — спрашиваю я.

— Да как сказать,— говорит Казановский без укоризны.— В других местах тоже работа. Просто, видно, не подошла ему Голодная степь по характеру, а нам подошла.

В бытовом отношении, как выясняется, Казановский не избежал участи других приезжающих сюда людей. Некоторое время помучился в общежитии, снимал частные комнаты в Мирзачуле, а теперь имеет неплохую квартиру в новом доме.

— Подождите-ка, остановимся,— говорит он вдруг, прервав свой рассказ на полуслове.

Мы останавливаемся.

— Вон уже Мирзаахмедов и Валитов на смену идут.

На перекрестке дороги, возле которого мы остановились, стоят два высоких худощавых парня, в заправленных в брюки белых рубашках: узбек Мирзаахмедов и татарин Валитов. В руках у одного из них небольшой узелок, должно быть, с харчами, а спецовки оставлены там, на месте, у экскаватора, в вагончике.

Мы здороваемся.

— Там уже Тараканов с Панасюком вас поджидают,— говорит Казановский.

— Слушай, завтра закончим,— говорит Мирзаахмедов. Лицо у него озабочено и даже нахмурено.— А куда потом перейдем, не говорили тебе?

— Заходил сегодня днем в управление; пока не сказали.

Мирзаахмедов недовольно качает головой, очевидно, собирается высказаться по этому поводу, но его напарник резко вскидывает руку и останавливает попутный грузовик. Времени дальше разговаривать нет: грузовик ждать не будет, а до экскаватора десять с лишним километров. Помахав уже из кузова тронувшегося грузовика своему бригадиру, Мирзаахмедов и Валитов исчезают, за их белоснежными рубашками из-под задних колес грузовика двумя серыми смерчами взвивается пыль.

Перед тем как расстаться с Казановским, мы заезжаем с ним и Ищенко на старый канал имени Кирова.

Ищенко не купается: он только что переболел желтухой, а мы с Казановским с наслаждением четверть часа плаваем в мутной и быстрой воде канала, такой быстрой, что в ней никак не сдвинешься с места, плывя против течения. Потом все втроем, радуясь наконец-то свалившейся с неба вечерней прохладе, сидим на бережку, и хотя, казалось, все разговоры закончены и мы приехали сюда просто искупаться, смыть дневную

пыль, но как раз здесь, на бережку, Казановский в ответ на какой-то мой случайный вопрос заговаривает о том, что сейчас, когда я вспоминаю, мне кажется самым главным из всего сказанного.

Вопрос касался каких-то, уже не помню сейчас, подробностей в оплате экскаваторщиков. Ответ касался взаимоотношений между людьми, работающими вместе в одной бригаде.

Система оплаты построена так, что Казановский — как бригадир — получает определенный небольшой процент надбавки к общебригадной месячной выработке. Как машинист он получает наравне с другими машинистами. Количество вынутого грунта в целом подсчитывается в конце месяца, и все деньги, причитающиеся за вынутый грунт, распределяются между всеми членами бригады в примерном соотношении — 1 : 1,5. Заработок машиниста в полтора раза превышает заработок помощника.

— А как расчеты между сменами? — спрашиваю я.— Если машинист с помощником, работающие в одной смене, вынимают за месяц грунта больше, чем другой машинист с помощником? Бывает же так?

Казановский подтверждает, что, конечно, так на практике и бывает: то грунт неодинаковый попадется — на одну смену тяжелее, на другую легче, то переходов экскаватора больше придется, то какая-нибудь поломка, вынужденный простой — в одной смене он есть, а в другой его нет.

— Да и вообще,— добавляет,— если вы возьмете примерно одной квалификации машинистов, все-таки люди неодинаково слеплены: один быстрее работает, другой помедленнее, один против другого при каждом повороте стрелы дает экономию в несколько секунд.

— Ну и как же вы выходите из этого положения?

— А очень просто,— отвечает Казановский.— Добиваемся возможно большей месячной выработки на всю бригаду: больше получим — больше разделим.

И он начинает развивать свою мысль: если бы в их условиях вздумать подсчитывать выработку после каждой смены, то это была бы не работа, а канцелярия. Вокруг экскаватора крутилось бы больше учетчиков, чем экскаваторщиков, да и вдобавок пошли бы приемки, сдачи из смены в смену, подсчеты простоев, оттяж-

ки срочно необходимых ремонтов до следующей смены — в общем, не было бы настоящей коллективной души в работе.

— А так,— говорит Казановский,— мы миримся только с одним: что люди хорошей квалификации все-таки не могут с одинаковой быстротой работать — один немножко быстрей, другой немножко медленней. Это закон, и тут у нас не принято, чтобы один другому этим глаза колол. А в остальном, конечно, свои интересы соблюдаем: лодыря в бригаду не возьмем, а если обнаружится — или в порядок его приведем, или выставим. Если у кого-нибудь поначалу квалификация немножко прихрамывает, ухватки, быстроты в работе недостает, придем в свободную смену, подучим его, покажем, поделимся опытом; и сам он к нам придет в свободную смену — будет смотреть, следить, перенимать приемы. В общем, коллективными усилиями доведем до уровня. Когда человек хочет и старается, можно потерпеть, подучить его. Он это людям трудом вернет...

— Добавим к этому,— вмешивается в разговор Ищенко,— что, когда помощник машиниста уже освоился с работой, в курс дел вошел и, подсменяя машиниста, сам порядочно земли вынул, он после этого зачастую идет на квалификационную комиссию, чтобы получить звание машиниста. И вот — его на комиссию не допустят, прежде чем его собственный машинист устно и письменно не подтвердит, что помощник вполне готов самостоятельно работать. А подтвердить такую вещь не просто, по-приятельски, не на бумажке кляксу поставить; это значит, сегодня ты подтвердил, а послезавтра этого парня могут к тебе же сменным машинистом прислать, если он комиссию пройдет. Пришлют — и тут уж тебе от своего слова отказываться не приходится. Новые машинисты — они ведь не с неба валятся, они, как правило, из помощников выходят. А стал он машинистом, сел в кабину — значит, уже от него с помощником треть выработки всей бригады зависит.

— Тут у нас товарищество строгое,— подытоживает этот вдруг возникший разговор о коллективном труде и коллективной ответственности Казановский.— У кого есть рабочая совесть, у того и карман не пуст. И проверяем друг друга, и учим, и жучим, и в обиду не даем...

Я возвращаюсь в Янги-Ер один.

На экскаваторе бригады Казановского уже работают Мирзаахмедов и Валитов. За эти два-три часа они заметно продвинулись. Вагончик, если смотреть с дороги, был прямо напротив экскаватора, а сейчас он много правее. У вагончика стоит красавец Панасюк в заправленной в брюки белой рубашке, и расчесывает гребенкой свои мокрые белокурые волосы. Тараканова не видно: наверное, еще переодевается в вагончике — пожилые люди обычно возятся с этим делом дольше, чем молодые.

Я еду дальше: еще один экскаватор, работающий в степи, еще один, третий, четвертый... А мимо всех этих работяг по железной дороге — на открытой платформе — со скоростью в семьдесят километров несется еще один экскаватор, новенький, свежевыкрашенный, следующий к месту разгрузки. И кто его знает, может быть, на этого самого новенького красавца через несколько дней перейдет работать старый машинист Тараканов...

ТРУДНЫЙ ДЕНЬ

В Голодной степи этой весной хоть отбавляй трудностей и неполадок. Происходят они от разных причин. На общие объективные сложности освоения этих земель наслаиваются специфические трудности первого, самого тяжелого периода строительства — нехватка механизмов. Их в стране много, механизмов, больше, чем когда бы то ни было, и все же их не хватает, потому что они нужны всюду — от Бреста до Владивостока. Нехватка квалифицированных кадров — их тоже больше, чем когда бы то ни было, и все-таки их не хватает. Нехватка жилья—дома растут, как грибы, но прирост рабочей силы идет еще быстрее. И многое, многое другое, из-за чего ежедневно сотни людей нервничают, ругаются, ломают копья, пишут приказы, выговоры, запросы, объяснения... А к этому прибавляется еще куча неполадок, вызванных уже вполне субъективными причинами — теми или иными промахами строителей и проектировщиков: задержка с планом и привязкой к ним уже строящихся объектов, простои рабочей силы, нехватка не переброшенных своевременно материалов

и т. д. и т. п. С чем-нибудь из этого на стройке, хоть раз на дню, не там, так здесь, а непременно столкнешься, то в большем, то в меньшем масштабе; однако с радостью отмечаешь при этом, что сами люди, как правило, относятся к своим большим и малым неполадкам чаще всего нетерпимо.

Видеть те или иные неполадки мне не внове, но сегодня с утра, как нарочно, все сходится так, словно самые разные нескладицы договорились между собой непременно скопом, в один день попасться на глаза.

С утра я еду в новый, строящийся в глубине Голодной степи совхоз. Едва свернув к совхозу с превосходной, проложенной в степи на десятки километров дороги, наш «газик» немедленно до подножек засаживается в грязь; его с трудом вытаскивают трактором. Подробность, не стоящая внимания, если бы не то, что пришедший нам на помощь трактор оказывается «дежурным». Мы, по словам тракториста, не первые и не последние, и он наряжен стоять здесь именно для того, чтобы вытаскивать из грязи машины. Итак, с одной стороны — усадьба совхоза, которому предстоит стать образцовым и опытным, с другой стороны — идущая мимо совхоза отличная дорога, в которую вколочено немалое количество денег, а между тем и другим — 800 метров непролазной грязи и дежурный трактор.

Начальник строительно-монтажного управления, на плечах которого лежит строительство этого совхоза, честно отвечает мне, что на первом этапе оказались виноваты и проектировщики и строители. Дорога должна была проходить вплотную мимо усадьбы совхоза. Дорожники провели ее по запланированным отметкам, но, начав закладывать усадьбу при отсутствии готового проекта, строители просчитались и отклонились на 800 метров; дорога прошла сама по себе, а совхоз сел на землю сам по себе. На втором этапе, как выражается начальник СМУ, идет торговля: совхоз строит один подрядчик, дорогу строит другой, на дополнительные 800 метров дороги денег не дано ни тому, ни другому, В итоге — вопрос утрясается наверху, а на «неутрясенной» трясине дежурит трактор.

Строители совхоза живут в превосходном, стоимости около трех миллионов рублей, передвижном городке, которым могло бы гордиться любое строительство.

Несколько десятков комфортабельных жилых вагончиков — с электричеством, водопроводом, паровым отоплением, телефоном; кроме жилых вагончиков, в комплекте городка предусмотрены передвижная электростанция, котельная, кухня, столовая, баня, прачечная, коммутатор, радиоузел, красный уголок — словом все удобства. Но... вагон-баня, вагон-душевая, вагон-прачечная отсутствуют вот уже несколько месяцев: изготовляющий их завод Министерства электростанций прислал городок в некомплекте.

Второе «но». Городок начали устанавливать здесь в начале зимы (кстати, достаточно холодной). Но отопление не работало, не работает и сейчас, в конце марта, потому что, хотя котельную в конце концов и смонтировали, но линию к ней так до сих пор и не удосужились присоединить.

Третье «но» — водопровод: заботливо предусмотренный в поселке, он тоже не работает; не работает и телефон.

Конечно, люди, собравшиеся сюда строить совхозную усадьбу, не сидят без дела. Идет кладка стен нескольких капитальных одноэтажных кирпичных домов, роются и бетонируются водоемы, сажаются деревья; когда передвижной поселок снимется и уйдет на другое место, здесь останутся уже распланированные для стационарного поселка посадки. Рядом с временной столовой под брезентовым навесом, обвисшим после вчерашнего дождя тяжелыми пузырями с водой, строится пекарня; поодаль бульдозеры выравнивают будущую промышленную площадку.

Но, в общем, из разговоров со строителями чувствуется, что на этом участке дело еще не клеится. Это вызвано, во-первых, отсутствием генерального плана усадьбы — его все еше нет, и неизвестно, когда он будет; во-вторых, постоянной лихорадкой с материалами, кажется, уже начинающей входить здесь в быт.

Когда мы подходим к строящимся домам и начинаем разговаривать с каменщиками, выкладывающими стены, выясняется, что, если до утра не подвезут кирпича, дело станет.

Спрашиваю: почему не подвозят кирпича?

Партopг отвечает: эта история тянется уже не первый день. Кирпичи не подают потому, что не хватает

машин, а не хватает машин потому, что начальник строительного треста, куда входит их управление, стянул все свои машины в один кулак в противоположность начальнику соседнего треста, который разбросал все свои машины по управлениям.

Я спрашиваю парторга: что лучше?

Он пожимает плечами: теоретически, пожалуй, лучше стянуть машины в один кулак, но практически это хорошо только тогда, когда, стянув все машины в один кулак, при этом одинаково будут помнить о всех, кто в них нуждается. А сейчас для тех стройуправлений, которые рядом с трестом, в самом Янги-Ере и вокруг, это стягивание в кулак выгодно, а для такой дальней точки, как совхоз, получается зарез: сюда каждый день выделяют только последки. Решение вроде и государственное, а на практике каменщики пока что сидят без кирпича.

— Ладно, кирпич,— говорит бригадир каменщиков, рослый, уверенный в себе, тридцатилетний мужчина, который, между прочим, заканчивает сейчас заочно шестой курс Института механизации сельского хозяйства.— Ладно, кирпич,— повторяет он сердито.— Нам бы твердый план вперед хоть на полгода и широкий фронт работ, мы бы тогда из-за кирпича не плакали, хоть неделю его не подавай! Мы всей бригадой — не белоручки! — ушли бы с лесов, стали бы на земляные работы — и дело бы сделали и свой заработок взяли. А потом, когда кирпич подошел бы, снова на леса взошли.

Эта беседа служит началом нескольких последующих разговоров об отсутствии генерального плана. Они возникают по самым разным поводам. Временная столовая, а вернее, навес на четырех кольях, стоит потому, что не утверждены ни место, ни проект постоянной столовой. На летний клуб есть стандартный проект, но опять-таки не утверждено место, на котором он должен стоять — не переносить же его потом! Нужна дозарезу столярная мастерская, нужна строителям, будет нужна совхозу, но где она должна стоять по плану и какой ее спроектируют — неизвестно. Ее все-таки строят, но, как говорится, дедовским способом: сперва построят, потом снимут с нее чертежи, потом составят смету и представят к оплате.

— А вообще,— вдруг разгорячась, говорит парторг,— вот ругают нашего брата за политико-воспитательную работу. Может быть, и есть за что, но вот что меня злит: слишком часто мы говорим о проблемах политико-воспитательной работы как о чем-то совершенно отдельном, само по себе существующем. А в наших конкретных условиях она не сама по себе существует, а упирается как в стенку, в некомплектность материалов и в отсутствие кирпича и цемента. Из-за этого — простои, из-за простоев — падение заработка и неуверенность, как будет идти работа завтра, а следствием всего, вместе взятого,— текучесть рабочей силы. Текучесть эта сразу видна по сводкам — она в них сверху плавает! Вот меня и вызывают и гоняют в связи с этой текучестью за плохую политико-массовую работу. Наверно, и я во многом виноват, пусть так. Но меня зло берет, что плохо слушают, что не трудятся до корня докопаться, понять, что текучесть эта в конце концов упирается не во что иное, как в плохое снабжение строительства материалами.

Парторг, по национальности узбек, человек горячий; выдержка, воспитанная школой партийной работы, с трудом перебарывает в нем природную вспыльчивость. Бригадир каменщиков — русский, северянин,— наоборот, медлительный на слова человек, роняющий их с паузами чуть не в полминуты. Но говоря об одном и том же, они оба злятся, каждый по-своему, и оба ищут выхода из положения.

У участника комплексной экспедиции Академии наук, молодого узбекского ученого, спокойные повадки кабинетного работника, ласковая, ровная, округлая речь. Но и у него тоже свои заботы и недовольства. Размах работ большой, научные работники сидят в десятках точек Голодной степи, есть уже серьезные результаты, но ему сейчас не хочется говорить «в общем и целом». Его беспокоят два вопроса.

Во-первых, проклятые термиты! На этом участке Голодной степи их огромное количество. По подсчетам зоологов и строителей, они способны в течение двух лет привести в негодность все нижние деревянные части возводящихся здесь строений. Перед зоологами была поставлена задача — застраховать от термитов строящиеся дома.

Зоологи в ответ попросили завезти сюда дуст и растворить его в водоеме, чтобы обмакивать предварительно каждую балку. Но строители их высмеяли: во-первых, неизвестно, сколько времени будет отгонять от себя термитов балка, обмакнутая в дуст, во-вторых, при таком методе, чего доброго, придется завозить сюда дуста больше, чем цемента.

— В общем, с треском провалили наше предложение, но другого-то у нас покамест нет,— сердито разводит руками молодой ученый, сидя напротив меня в полевом вагончике, на стене которого, по воле его обитателей, висит непривычное для глаза сочетание портретов: маршала Малиновского и Абдель Насера.

Но термиты в конце концов частная проблема. Как выясняется, молодого ученого куда сильней волнует другой, более важный вопрос. Лично он уверен в огромном будущем для Голодной степи вертикального дренажа; он считает, что на целом ряде земель полностью исключить возможность засоления можно только при помощи такого метода. Но, хотя это далеко не новая проблема, опыты по вертикальному дренажу до сих пор еще всерьез не заложены. По его словам, пять первых опытных скважин бурят сразу четыре организации и уже в течение двух месяцев руководители этих организаций никак не договорятся между собой, как и где бурить.

— В общем, четыре медведя вертятся вокруг одной дырки,— заключает он, и жесты его вдруг теряют вежливую научную округлость.

— Даже для нашей опытной станции в Янги-Ере еще дома не построили, а это уже первое дело!

Я вовсе не уверен в том, что построить для опытной станции дом в Янги-Ере — это первое дело; я также знаю, что есть разные мнения насчет роли вертикального дренажа в освоении Голодной степи. Но мне ясно одно: непорядки, о которых говорит этот человек, в той или иной мере реально существуют, и у него не зря болит за них душа.

На обратном пути в Янги-Ер мы сажаем в машину голосующего на дороге машиниста-экскаваторщика. Я спрашиваю его, почему он едет в Янги-Ер, разве у них нет здесь вагончика? Он отвечает, что вагончик в

степи, за десять километров, дальше идти туда, чем доехать до базы, до общежития.

— А как с питанием? — спрашиваю я.

— Питание сухое,— отвечает он и сразу озабоченно добавляет, явно не желая, чтобы его слова были восприняты как жалоба: — Вообще-то говоря, с питанием неплохо — утром на базе приличный горячий завтрак, вечером — горячий ужин, всухомятку только днем.

Я вижу, парень не из тех, что привыкли скрипеть по поводу каждого неудобства, но в то же время невольно думаю: а почему бы и не ликвидировать это неудобство? Вдоль дорог работает не один десяток механизмов, работа тяжелая, а термос с горячей пищей, погруженный на машину, в конце концов, не такое уж новшество — на войне, и то и возили и носили.

Остается еще несколько часов светлого времени, и я решаю съездить в сторону Фархадской ГЭС на строящуюся там новую насосную станцию. В мае ее первая очередь уже должна по плану дать воду на 2 000 гектаров машинного орошения.

Насосная станция, стоящая в глубине огромного котлована, в основном смонтирована. Главное сооружение впоследствии окажется ниже уровня водяного бассейна, и поэтому строители и монтажники возятся сейчас с проблемой водонепроницаемости: готовят для заливки битум. Громадные железные трубы почти метрового сечения, изгибаясь, как щупальца осьминога, ползут вверх по песчаному откосу.

Среди бетонщиков много узбеков, в том числе несколько женщин, работающих на зачистке бетона. Они сидят у бетонной стены на деревянных лесах и умело и привычно занимаются этой еще недавно абсолютно непривычной для них работой.

Инженеру-монтажнику, который водит меня, показывая стройку, явно не до меня, и вообще у него прескверное настроение. Дождь сечет как проклятый уже не первый день, срывая работы и оттягивая и без того нарушенные сроки. У легко одетого инженера на ветру и дожде не попадает зуб на зуб, а тут еще как раз не больно-то клеится самая канительная часть работы — прокладка насосных труб под продолжающей действовать линией железной дороги.

Это единственная нитка, связывающая Ташкент со всей Ферганской долиной; грузооборот здесь на верхнем пределе, и дорога согласилась дать строителям в их распоряжение только четыре часа остановки: два часа на укрепление так называмых «пакетов» и два часа на их разборку.

Там, где потом под дорогой прорыли траншеи для труб, сначала на месте этого будущего проема положили полдюжины мощных железных балок. На них поперек укрепили шпалы с рельсами. И только потом под серединой балок сделали выемку. Все это и называется «пакет». Сейчас по пакету медленно проползает товарный поезд, и пакет грозно, заметно для глаз вибрирует. Как только поезд проходит, рабочие, разошедшиеся в стороны, снова торопливо спускаются в выемку. Сейчас под пакетом пустота. И в нее, в эту пустоту, спускают на тросах громадные бетонные футляры. Уложенные на бетонные же основания и составленные рядом, эти футляры заполняют пустоту. Внутри них пройдут трубы, а на их поверхность, когда будет снят пакет, ляжет железная дорога.

Спуск очередного футляра не клеится. Работа тяжелая, требующая большой сноровки. Узкий пролет, теснота, стеной летящий дождь — все как бы сговорилось мешать работе.

А тут еще, как назло, какой-то подвыпивший и, как видно, по этому случаю отстраненный от работы, обиженно сидящий в стороне строитель, увидев, что инженер не один, вразвалку подходит и, уперев руки в бока, говорит с самоуверенностью пьяного человека:

— Ну, что вы тут бузу трете? Что мучаетесь, товарищи специалисты! Когда тут все можно в ажуре за один час сделать! Разве это у вас высота техники?

Инженер, стиснув зубы, сдерживается, но один из опускающих бетонный футляр рабочих, усатый немолодой человек, чем-то похожий на постаревшего Максима, резко поворачивается к пьяному.

— Иди своей дорогой, техника! — сердито огрызается он.— Не засти свет. У самого вся техника — как пол-литра одним дыхом из горлышка вытянуть, а тоже — советует!

Пьяный еще с минуту стоит, все так же подбоченясь и стремясь показать, что не страшится никакого отпо-

ра. Но потом, не видя ни с чьей стороны поддержки, заскучав, отходит и растаивает за бугром, словно его и не было.

Футляр по-прежнему никак не удается опустить ровно, так, чтобы он сразу стал на свое место; потом вдали свистит новый поезд, машинист крана стопорит мотор, рабочие отпускают тросы и с досадой расходятся в стороны, пережидая поезд.

Дождь по-прежнему льет как из ведра...

Когда я возвращаюсь в Янги-Ер, у горкома пасется целое стадо «газиков». Едва поднимаюсь на крыльцо, как навстречу мне вываливаются разгоряченные долгим заседанием люди. Оказывается, только что кончилось бюро; последний и главный вопрос был о неполадках в рабочем снабжении, поэтому и съехалось так много людей из разных стройуправлений. «Приглашенные на бюро разъезжаются, а члены бюро — еще в кабинете, обсуждают решение по последнему вопросу»,— так говорит мне помощник секретаря. Потом он сам заходит туда, а через минуту приглашает и меня.

Я вхожу и сажусь в сторонке, дожидаясь, когда освободится первый секретарь горкома,— мне хочется поделиться с ним кое-чем из виденного сегодня. Небольшая комната еще дымится после жаркой схватки. В только что открытые окна врывается вечерняя сырость и залетают капли дождя.

Общие выводы о мерах по улучшению рабочего снабжения уже обсуждены, остается обсудить персональный вопрос — что делать с тем начальником стройуправления, у которого сорвано строительство новой рабочей столовой, а в старой творятся разные безобразия. Начальник, беспартийный инженер, сейчас, в этот момент, здесь не присутствует. По выполнению плана он вывел свое СМУ на первое место, но в то же время дурно зарекомендовал себя вопиющим невниманием к элементарным нуждам рабочих. В ходе обсуждения атмосфера то разряжается, то снова сгущается. В общем, присутствующие, все вместе взятые, очевидно, говорят об этом человеке объективную правду, но одни при этом больше нажимают на его ошибки, настаивая, что его надо снять, другие — наоборот, нажимают на то, что он хороший производственник, и хотя

бывает грубоват с людьми и пропускает мимо ушей жалобы, но в то же время у него нет другой жизни, кроме работы — его найдешь на стройке днем и ночью. На последнее нажимают больше члены бюро — хозяйственники: им явно жалко лишиться хорошего инженера, и они дружно утверждают, что он после такой критики непременно исправится.

Одного из хозяйственников вдруг перебивает присутствующий на бюро городской прокурор:

— Послушаешь вас, так вообще никого и никогда снять с работы невозможно.

Но хозяйственник дает сдачи, огрызается:

— Ты меня давай не перебивай.— И сразу же апеллирует к председательствующему: — Говорю, что думаю, высказываю свои самостоятельные мысли. Что он меня, в самом деле, перебивает!

В конце концов выясняется, что в стройуправлении, о котором идет речь, через две недели закончится ревизия.

— Если к тому времени обнаружится, что и с этой стороны у него непорядок,— говорит один из выступающих, считающий, что там, где неполадки с рабочим снабжением, там и ревизия непременно покажет злоупотребления,— вот тогда его и снимем, тогда и гнать!

— Да, да,— поддерживает его другой с такой легкостью, за которой чувствуется, что он вряд ли верит в неблагоприятные результаты ревизии.

— Ладно,— резюмирует секретарь горкома,— откладываем до пятнадцатого. Если ревизия покажет неполадки, снимем — и под суд! Если ревизия покажет, что с финансовой стороны все в порядке, но он сам не покажет нам за это время, что хорошо понял, за что мы его брали в оборот, просто снимем.

— Ревизия покажет,— твердит самый непримиримый из участников обсуждения.— Я имею сведения, что у него уже сейчас в управлении на несколько десятков тысяч приписок есть.

— Э-э-э, да ведь разные вещи, бывает, спешат назвать приписками,— неожиданно спокойно, почти лениво отзывается заместитель начальника Главголодностепстроя, похожий на старого спортивного тренера, пожилой человек с длинным лицом и подстриженной под бокс головой.

— Разные бывают на строительстве приписки и описки,— повторяет старый инженер.— Запорешься с планом, забудешь про всякие подробности и просто-напросто вовремя не спишешь чего-нибудь. Простыня прослужила полгода в общежитии, ее уже давно нет в натуре, а не спишешь ее — вот она и висит на тебе!

— Итак, отложили до пятнадцатого,— еще раз повторяет секретарь горкома, и по выражению его лица мне кажется, что он тоже не очень-то верит в эти приписки и, наоборот, хочет верить, что человек, о котором идет речь, в состоянии перемениться к лучшему.

— Жаркое было бюро,— говорит третий, самый молодой из секретарей горкома, когда все, кроме него и двух других секретарей, уходят.— Жестоко покритиковали.

— Жестоко, жестоко,— перебивает его первый секретарь,— а как дошли до выводов — решать судьбу человека, все сразу замялись. А кто и на попятный пошел. И потому, что жаль, и потому, что решается не что-нибудь другое, а все же судьба человека; а некоторые, надо правде в глаза смотреть, потому, что при этом свои собственные дела вспомнили. Подумали: а ну, если б меня вот так потрясли, глядишь — и из меня что-нибудь да высыпалось бы.

— Между прочим,— помедлив, добавляет он,— потому так круто и взяли сегодня, что, если других потрясти, и у других нечто подобное найдется. Жесткий тон взяли для того, чтобы у них тоже головы зачесались.

Я спрашиваю, какой, по его собственному мнению, работник тот человек, чью судьбу они обсуждали сегодня.

— Неплохой,— говорит секретарь. И, подумав, добавляет: — Точней, хороший.— И, снова подумав, ставит точку: — Но, если не поправит дело с рабочим снабжением, снимем...

Поздний вечер. Вернее, ночь. Я сижу у лампы в маленькой, горячей от вытопленной печки и сырой от мокрой штукатурки комнатке Дома приезжих. Мой сосед, уморившись за день, мирно похрапывает на койке. Преодолевая желание последовать его примеру, я наспех записываю в блокнот некоторые подробности этого трудного для строителей дня.

И вдруг негромкий, но уверенный стук в дверь.

В комнату входит очень молодой человек, прилично, даже тщательно одетый, в выглаженном костюме и свежей рубашке с галстуком.

Он называет мою фамилию. Сюда он попал? Да, сюда.

Тогда он, в свою очередь, по-молодому важно отрекомендовывается, называя не только фамилию, но медленно и тщательно, чтобы не забылись, выговаривает свое имя и отчество. Он, инженер из научно-исследовательского института, приехал вместе с другими для переговоров об исследовании по договору некоторых научных проблем. Узнал, что я здесь, что я его сосед, и захотел зайти познакомиться со мной и спросить, какое у меня впечатление от строительства. Несмотря на свою показную вежливость, он довольно бесцеремонен.

— Вы расскажите мне свои впечатления,— быстро говорит он.— Обязательно расскажите, и я вам скажу, что тут верно и что вашим глазам не так представили!

Эта фраза несколько настораживает меня. Да и вообще, почему я, собственно, сейчас, ночью, должен делиться именно с ним своими впечатлениями, да еще «обязательно»?

Я отвечаю, что нахожусь здесь сравнительно недавно и общего впечатления о строительстве себе еще не составил.

— Эх,— с подчеркнутым возмущением взмахивает он рукой.— Здесь такие безобразия, каких я еще нигде не видел.

— А давно вы здесь? — в свою очередь спрашиваю я его.

— Сегодня приехал. Но я уже тут бывал в прошлом году много раз,— добавляет он таким поспешным тоном, что я почти уверен: если не вовсе врет, то привирает.

Но он, самонадеянно не заметив произведенного впечатления, тем же поспешным тоном начинает с большим апломбом разъяснять мне, что считает своим долгом предупредить меня: мои впечатления будут всецело зависеть от того, с кем я буду здесь встречаться. Что, если я буду встречаться здесь с начальством, то, он по опыту знает, мне представят все не в том свете, в каком следовало бы видеть, а на самом деле здесь столько беспорядков, столько трудностей...

И он все с тем же апломбом начинает в самых общих словах перечислять мне те трудности, о которых я уже много раз слышал за это время от самых разных людей, начиная с рядовых строителей и кончая начальником строительства и секретарем горкома. Он бегло перечисляет мне и кое-что из того, что я видел и слышал как раз сегодня.

Я слушаю его и вспоминаю, с какой откровенностью говорили со мной как раз сегодня люди об этих трудностях, как обвиняли в них и других и самих себя, как сидели до ночи, спорили, ища способов улучшить дело, и какой именно поэтому у них у самих был трудный день. Я думаю об этом, а молодой человек, упиваясь своим красноречием, говорит и говорит, с каким-то глупым удовольствием перечисляя все плохое, что он знает о строительстве, говорит с таким видом, словно вот он единственный правдолюб на всю Голодную степь, а все другие работающие здесь люди только тем и заняты, чтобы строить для меня, приезжего журналиста, потемкинские деревни. Молодой человек явно наслаждается своей ролью разоблачителя мнимых тайн и, кажется, рассчитывает на полное мое сочувствие.

А во мне борются два чувства. С одной стороны, мне хочется тихо спросить его: откуда ты взялся, такой чистенький, новенький, нахальный и такой заранее не уважающий десятки людей, мизинца которых ты не стоишь? С другой стороны, мне просто хочется его вздуть, но от этого меня, кажется, удерживает та же самая мысль, что сегодня вечером удержала собравшихся в горкоме людей от снятия проштрафившегося начальника управления,— а может, исправится?

— Слушайте,— говорю я,— я хочу спать, а информацию о Голодной степи я надеюсь получить из более надежных источников. Спокойной ночи!

Он уходит, с подчеркнутой тщательностью плотно закрыв за собой дверь. Он, кажется, обижен, возможно, даже возмущен. Вместо того, чтобы встретить родственную душу, он нарвался еще на одного из тех «советских бюрократов», походя обличать которых он, наверно, считает признаком истинно передового человека.

Наши комнаты отделены друг от друга тонкой пере-

городкой, и я слышу, как он там, за стеной, ложится, скрипнув пружинами, и шумно вздыхает.

Я слушаю эти обиженные вздохи и от души желаю ему поскорей, там уж не знаю как — вольно или невольно,— но выбраться из своего института и поработать на каком-нибудь из здешних строительных участков, из тех, что потрудней, где и земля с характером и люди с характером,— авось, поможет!

НЕМНОЖКО ЛИРИКИ

— Съездите на Фархад! — сказал мне начальник Главголодностепстроя в тот первый мартовский день, когда мы с ним встретились.— Если вы не увидите Фархадскую и Кайрак-Кумскую ГЭС, вы не поймете того, что делается у нас сейчас.

Вечером того же дня мы поехали с ним на Фархад. Поехали уже поздно, перед сумерками, после долгого и трудного, начавшегося для него в шесть часов утра, рабочего дня.

Фархадская ГЭС и Фархадское водохранилище, полностью законченные в 1948 году, действительно были первым истоком того, что делается в Голодной степи сейчас. Фархад начал строиться в разгар войны, в первую голову он должен был обеспечить электроэнергией целый ряд предприятий, особенно остро необходимых по военному времени. Но и водохранилище и выходящий из него Южный канал были уже тогда запроектированы впрок, с запасом, чтобы впоследствии дать воду в Голодную степь.

Коротко объяснив мне это и назвав на память несколько цифр, начальник остальную дорогу устало молчал. И я не удивлялся этому, я был в управлении и знал, что день был особенно трудный, с неполадками, с совещаниями, с вызовом людей, с поездками в несколько пунктов Голодной степи. Меня скорей удивляло другое: что после такого тяжелого дня начальник все-таки поехал со мной.

Но, когда мы уже в наступающей темноте приехали на Фархад и одно за другим объехали и обошли его сооружения, я понял, почему он и не пожалел времени лишний раз съездить сюда. Его сюда тянуло. В давно завершенной стройке была навсегда оставлена часть

его души. Вместе с десятками тысяч других людей он в годы войны начинал строить эту станцию и водохранилище; это была его любимая бетонная и каменная книга, которую он вместе с другими писал в ту пору, когда молодость переходит в зрелость — в пору между тридцатью и сорока. Сейчас ему за пятьдесят, он еще полон сил, но в то же время трезво знает, что еще десять лет, еще две таких же крупных стройки, как эта, давно отгремевшая,— и его жизнь строителя пойдет к итогу. А здесь в эту Фархадскую ГЭС было вложено пять лет жизни, пять лет строительства, пять лет поэзии. Строитель рано или поздно должен сдать построенный объект эксплуатационникам, но вместе с объектом он оставляет им и свой собственный, не записанный ни в какие акты кусок души. И с этим куском души, как видно, от времени до времени хочется повидаться и молча поговорить.

Бывший начальник Фархадстроя приехал на свидание. Он был молчалив, только иногда произносил несколько слов — три-четыре фразы,— но по этим отрывочным фразам я чувствовал, какие толпы воспоминаний теснятся в его душе.

— Вот здесь была наша первая, временная электростанция, сейчас ее демонтируют...

— Вот здесь закладывались первые бетонные основания...

— Здесь работали колхозники из Наманганской области, а здесь — из Самаркандской...

— А этот вот откос, когда не хватило бетона, по предложению рабочих был выложен вручную из камня...

— А вот тут, прямо в каменном котловане, перед двадцатью тысячами строителей, рассевшихся кругом, внизу, на дне, пели и танцевали приехавшие из Ташкента актеры...

— А вот здесь, на этом железнодорожном пути, в самый день открытия строительства погиб его главный инженер... Была метель, он спешил: наверное, хотел сократить дорогу, пошел по путям, усталый, счастливый, занятый своими мыслями, нахлобучив от метели шапку и подняв воротник. И его задавил первый прошедший по этим путям поезд. Вот тут недалеко его могила и памятник...

Среди эксплуатационников Фархада начальник быстро, без труда разыскал нескольких человек, когда-то вместе с ним строивших ГЭС. В прошлом самаркандские колхозники, потом бригадиры гремевших на всю стройку бригад, теперь это были механики и ремонтники, отвечавшие за нынешнее образцовое состояние того, что воздвигнуто их руками.

Уже спустилась ночь, а бывший начальник Фархада все еще стоит и разговаривает с ними то по-русски, то переходя на узбекский. Слышатся вопросы: «А где такой-то? А что с таким-то? А помнишь, как мы тут насыпали плотину?..»

Тихая ночь. Негромкие голоса четырех людей с общим прошлым. А внизу, под фонарями, бесшумное мерцание воды, далекая черная зыбь водохранилища Фархада, которое уже в этом году начнет поить новые земли Голодной степи.

И мне, стоящему рядом во время этого разговора, кажется, я даже почти уверен в этом, что, если бы бывший начальник работ сейчас не оказался на еще более масштабном и трудном деле, чем то, которое он со своим коллективом делал когда-то здесь, вряд ли бы он приехал сюда на эту ночь встречи с оставленной здесь частью своей души.

Когда годы идут и что-то большое, красивое и значительное в твоей жизни невозвратимо остается позади, в этом всегда есть оттенок грусти. И если бы бывший начальник работ находился сейчас не у дел, болел, сидел на пенсии, вряд ли бы его потянуло сюда. Тогда воспоминания, даже самые прекрасные, бывают слишком трудны.

Но то, что было сделано тогда, и то, что ему предстоит сделать сейчас, связано одной цепочкой. Вспоминая прежние трудности, он думает о будущих, и еще одна часть его души уже приготовлена к тому, чтоб остаться еще в одном месте, в Голодной степи, когда и там через несколько лет будут завершены работы и подписан последний акт о приемке. Наверно, именно это чувство продолжающейся работы, большой, новой, только еще заваривающейся каши строительства накладывает свой особый отпечаток на воспоминания, делает уже немолодого человека молодым и сильного — еще более сильным... И, наверно, именно поэтому,

словно не было никакого Фархада, никакого прошлого, никаких воспоминаний, как только мы садимся в машину и трогаемся в обратную ночную дорогу, он сразу же начинает говорить мне о текущих делах, о завтрашнем дне, об опытном совхозе № 4, куда непременно надо съездить, о новой комбинированной машине для закладки в землю труб закрытого дренажа, которую непременно надо посмотреть в действии...

Прошлое и будущее связываются в душе человека в один узел, да и вряд ли оно может быть иначе, потому что это не отдельные друг от друга старые и новые службы, старые и новые должности, а все одна и та же служба народу, в которой проходит жизнь, проходит, пожалуй, быстрее, чем хотелось бы человеку в пятьдесят лет. И в грустной нотке, которая нет-нет да и промелькнет в разговорах по этому поводу в голосе старых строителей, тоже есть своя частица поэзии, такая же законная, как и все остальные.

Многое имеющее самое прямое отношение к поэзии, наверное, навсегда останется жить в моей памяти после этой весны, проведенной на стройках Средней Азии.

Об одних встречах я написал, о других, наверное, еще напишу; напоминая о себе, они стоят у меня перед глазами.

* * *

Кайрак-Кумская ГЭС сейчас самая большая во всей Средней Азии. Она уже дала ток в декабре, и недалеко то время, когда она заработает на полную мощность.

За гребнем плотины нескончаемо тянется зеркало водохранилища, рассчитанного на четыре миллиарда двести миллионов кубометров. Оно еще не наполнено до высших проектных отметок, но уже и сейчас кажется необъятным.

А в тихом деловом кабинете управления строивший это водохранилище старый инженер-среднеазиатец Алексей Андреевич Жимский, высокий, худощавый, сдержанный человек, очень спокойно рассказывает мне, что они заранее рассчитали: это водохранилище будет через пятьдесят лет полностью заилено наносами, принесенными с гор Сыр-Дарьей, и выйдет из строя.

Он говорит об этом совершенно спокойно, потому что громадные планы будущих работ заранее предусматривают постройку за это время целого ряда новых водохранилищ, которые и переймут на себя гораздо большее количество воды, чем то, которое сейчас принимает в себя Кайрак-Кум.

Так будет. А пока монтажники должны через несколько часов пустить большую, пока самую крупную у нас, плавучую насосную станцию, которая подаст воду из Кайрак-Кумского водохранилища наверх, на Самгарский массив. Там, на горном плато, уже этим летом зазеленеет хлопчатник, и колхозники таджикского колхоза «Кзыл-Юлдуз» — «Красная звезда» — сегодня уже планируют, готовят под хлопок ту землю, на которую завтра пойдет вода.

На сухую, крошащуюся землю положен кусок потертого атласа, на нем лежит хлеб и стоят пиалы с чаем. Колхозники, оторвавшись на полчаса от тяжелой работы, собравшись в кружок, пьют чай; из стоящего рядом председательского «газика» по радио летит музыка, а снизу, оттуда, где монтажники проверяют стыки трубопровода, доносятся чуть слышные потрескивания электросварки.

Внизу, у маленькой перемычки, отделяющей котлован с плавучей насосной станцией от канала, прорытого к водохранилищу, дежурит экскаватор. Его экипаж — молодой белобрысый высоченный украинец Валентин Старун и такой же худой долговязый молодой узбек Ерали Ширанов — ждет торжественной минуты. Они, как лучшие экскаваторщики участка, по традиции вынут здесь последние кубометры грунта — разберут перемычку.

А пока проектировщики насосной станции — совсем еще молодые парни и девушки, всего год назад окончившие институты,— в нетерпеливом ожидании пуска своего первого детища бродят вокруг перемычки и, уговорив экскаваторщиков, фотографируются по очереди на память в высоко поднятом в воздух ковше.

Но вот дан сигнал — молодой машинист, перестав улыбаться, сжав зубы и так и забыв в них недокуренную папироску, начинает вскрывать перемычку. Сначала, закидывая ковш точно и вместе с тем щегольски — на красоту, он подрывает перемычки с двух сторон,

потом забирает несколько ковшей из самой середины, оставляя две тонкие земляные стенки, и, наконец, развернувшись, срезает верхушку гребня.

Вода бьет через подломившиеся стенки, запенившись, идет вкось вправо и влево, как расширяющееся лезвие секиры, и через пять минут начисто смывает остаток перемычки. Еще несколько минут вода кипит маленькими бурунами у берегов канала, подступая все выше и выше и проглатывая осыпающиеся слои земли. Потом все успокаивается; тяжелый понтон со смонтированной на нем насосной станцией вместе с водой поднимается на полтора метра. Идущие вверх от понтона трубы разгибаются на своих подвижных шарнирах, словно ноги человека, который сидел, опустив их в воду, а теперь поднялся и встал.

Еще несколько часов — и насосы, заполнив трубы, погонят воду высоко наверх, туда, где будет расти хлопчатник.

Вот и еще одно дело подошло к концу... Я смотрю на одинаково молодые и одинаково счастливые в эту минуту лица проектировщиков и экскаваторщиков. Сколько нового увидят еще в жизни их глаза, к скольким стройкам еще будут приложены их молодые руки!..

А руководитель юной проектной группы старый инженер-проектировщик Хачатуров уже тянет меня поехать посмотреть с ним другую, тоже спроектированную ими, насосную станцию — Ходжи-Бакирганскую. Она еще не закончена, но, по его словам, посмотреть ее будет еще интересней, чем эту, Симгарскую.

И я еду с ним туда, на другой конец Кайрак-Кумского водохранилища, и смотрю эту вторую, еще не законченную станцию, и слушаю его объяснения, и постепенно понимаю, почему он сказал, что она интересней, чем первая. Она интересней для него самого просто потому, что для истинного строителя еще не законченное всегда интересней уже законченного.

А вообще говоря, чем больше ездишь по нашим советским стройкам, тем яснее понимаешь и чувствуешь всю условность границ между законченным, незаконченным, начатым, начинающимся, запроектированным. Одно порождает другое, переходит в него и, как будто оставаясь за плечами, в прошлом, в то же самое время становится трамплином для нового прыжка в будущее.

В этом и воздух всей нашей эпохи и поэзия каждой, отдельно взятой, человеческой жизни, если она, эта жизнь, не на словах, а на деле, без остатка, от всей души отдана строительству коммунизма.

В апреле в Таджикистане, в Дальверзинской степи, примыкающей к голодностепским землям, я смотрел строительство еще одной насосной станции и уникального по своей сложности громадного бетонного лотка, по которому вода, опоясав крутую гору, будет переброшена за нее, в степь.

Мой спутник, старый фронтовик, с изуродованной на войне рукой, таджик по национальности, советский работник по должности и гидротехник по профессии, явно гордился этим красивым сооружением и не мог не гордиться им как специалист. Но в то же время долго задерживаться тут, где работы уже подходили к концу, он решительно не хотел и торопил меня дальше, в глубь Дальверзинской степи, туда, где на пустом месте строится новый город Янтак, где еще не начатых освоением земель больше, чем начатых, и куда в течение двух лет должны окончательно переселиться жители целого большого горного района, расположенного за триста километров отсюда.

В мае в Туркмении, посредине трассы Южного Каракумского канала, ночью, лежа рядом со мной на песчаном бархане, под пронзительно желтыми звездами пустыни, начальник строительства в ответ на мой вопрос: о чем он думает? — коротко отозвался: «О второй очереди».

И я поверил его словам, хотя знал, что этому человеку и тысячам других людей надо сначала еще пролить семь потов, чтобы в срок, к осени, достроить в этих лютых песках первую очередь канала.

В июне в горах Киргизии, на Орто-Токойском водохранилище, где люди пробили в сплошной шестисотметровой скале два встречных туннеля для пропуска воды, разойдясь при их сбойке всего на полтора сантиметра, то есть, попросту говоря, совершив чудо, я, слушая объяснения одного из старых строителей, испытал странное чувство. Этот человек словно бы жалел, что он может рассказать мне только об уже сделанном, ему словно было как-то не с руки, что стройка в общем уже закончена и все главное уже в прошлом, и, в кон-

це концов, оставив прошлое, он все-таки заговорил о будущем, о предстоящем бетонировании восточной ветки Большого Чуйского канала, в который подается вода из их Орто-Токойского водохранилища...

И вот июньская ночь; снова Голодная степь, Янги-Ер. Мы допоздна говорим с начальником строительства. Забежав вперед, я уже перенес почти весь этот разговор из своей записной книжки в начало моего рассказа.

Разговор окончен. Мы идем вдвоем по затихшему ночному городку от управления к Дому приезжих. Городок отдыхает после жаркого и пыльного июньского дня. В небе горят звезды, и стоит почти полное и редкое, как праздник, здесь, в Голодной степи, безветрие. В городке отдыхает все. Отдыхают белые стены домов, днем, казалось, пожелтевшие от яростных солнечных ударов, а сейчас, при ровном свете тихих электрических фонарей, вдруг нежно поголубевшие. Отдыхает вспотевший и размякший за день черный гудрон новых, только что проложенных мостовых. Отдыхают запыленные листья на молодых деревьях, посаженных вдоль улиц и в палисадниках...

О них, об этих деревьях, говорили, что их нельзя пересаживать сюда, что они здесь, в Голодной степи, не выживут. Но они выжили и сейчас отдыхают после трудной дневной борьбы с солнцем и ветром. Сколько было волнений и в марте и в апреле — как, зазеленеют ли они, а потом — не засохнут ли? Но они зазеленели, не засохли — и не засохнут, потому что к ним уже подтащили воду и еще потому, что для людей, устало спящих сейчас за потемневшими стеклами окон, эти деревья — вопрос принципа.

Здесь, в степи, дом отличается от времянки не толщиной стен и красотой фасада, а тем, поднялись или не поднялись вокруг него деревья. Если ты видишь здесь дом, вокруг которого ничего не посажено — ни деревца, ни кустика, ни цветка,— это даже при толстых стенах все равно психологическая времянка: люди, поселившиеся в этом доме, еще не решили, будут ли они здесь жить.

Но если ты видишь строительный вагончик, который когда-нибудь явно уедет отсюда на катках или колесах, но вокруг зеленеют первые посадки — это значит: люди

останутся здесь жить и построят здесь дом — иначе они бы не посадили деревьев.

Ночной Янги-Ер тихонько шуршит своей еще не густой, но цепкой, живучей, веселой зеленью. В этом городе люди собираются жить, и город так и строится, чтобы они здесь жили,— с удобными квартирами в небольших одноэтажных и двухэтажных домах, с хорошими дорогами, тротуарами, зеленью, с водоемами, водопроводом, с газом, который через год здесь появится, со спортплощадками и скверами, со школами и родильными домами... Город строится с уверенностью в том, что люди, пошедшие в наступление на Голодную степь, не отступят, и он сам, залитый электрическим светом, нарядно-белый и нарядно-зеленый, чистенький, подтянутый, как военный штабной городок, сейчас, этой ночью, кажется мне наглядным свидетельством этого.

Начальник строительства, проводив меня до полдороги, уходит домой. Он идет не спеша, и мне почему-то кажется, что, завернув за угол, он пойдет еще медленнее, быть может, даже остановится, потрогает листочки деревьев, закроет глаза и представит себе на минуту, каким этот город и вся Голодная степь станут к концу 1965 года. Потом он подумает о том, сколько шумных и хриплых, забитых до отказа делами, заботами и неприятностями дней и полубессонных ночей отделяют его от этого конца, и молча наедине с собой улыбнется своим счастливым и трудным мыслям старого строителя.

Мне тоже не спится. Я брожу взад и вперед перед Домом приезжих по все еще не остывшему, тысячами шин просвистанному за день шоссе.

Вдали, там, где срочными темпами на нынешней временной окраине города возводится школа-интернат, под самыми звездами высоко и медленно движется звездочка подъемного крана. Здесь она кажется одинокой, но я знаю, что над громадными пространствами Голодной степи сейчас, в эту ночную пору, много движущихся звезд. Я не раз видел их во время ночных поездок по здешним дорогам и, наверное, навсегда запомнил этот далекий гул моторов и движущийся, подрагивающий в черном, непроглядном сукне степной

ночи маленький рабочий огонек то слева, то справа от дороги.

Вот и сейчас, наверно, приплясывая на бревенчатом настиле, на север от Янги-Ера в третью смену роют коллектор экскаваторщики бригады Казановского. Бревна чавкают и пляшут внизу, под гусеницами, а вверху, над ковшом, чертит в воздухе свои неутомимые круги желтый рабочий огонек.

А на восток от Янги-Ера, в той стороне, где Фархадская ГЭС, в небе перемещаются целые созвездия огней. Там «шагающие» продолжают день и ночь расширять Южный канал.

Созданные людскими руками ночные созвездия всю ночь перемещаются в небе, напоминая о бессонной земной неукротимой работе строителей.

Когда-нибудь, когда Голодная степь зазеленеет садами и забелеет хлопком, вероятно, не будет недостатка в новых и прекрасных названиях для нее. Но сейчас, в эту ночь, мне кажется, что, быть может, и не надо будет ее переименовывать? Может быть, переменив в ней все, лучше будет оставить ее старое имя как свидетельство силы людей, как их улыбку над побежденной природой...

Март—август
1958 г.



Разведчики бухарского газа



До недавнего времени Бухара числилась городом музейным.

Сегодня слово Бухара так же неотделимо от слова «газ», как слово Донбасс неотделимо от слова «уголь» или слово Баку от слова «нефть».

Прежде чем газ начнет крутить заводские станки, прежде чем он загорится на кухне в новой квартире, люди многих профессий, сменяя друг друга, должны завершить несколько циклов работ, и каждая из них, как ступенька, через которую не перепрыгнешь!

Сначала поисковые партии обследуют громадные районы, где, исходя из общих геологических предпосылок, можно предполагать наличие газа.

Иногда, работая параллельно с поисковыми партиями, иногда после них, представители молодой науки — геофизики, пользуясь методом сейсмической разведки, подтверждают и уточняют сведения поисковиков.

Вслед за поисковиками и геофизиками идут так называемые структурные разведчики. Для того, чтобы объяснить смысл их работ, стоит прибегнуть к одному простому сравнению. Опустив в воду опрокинутую вверх дном чашку, вы можете загнать под воду большой пузырь воздуха, и, пока вы не перекосите чашку, этот воздух будет держаться там, в глубине. Нечто подобное происходит и с газом. В результате геологических изменений в некоторых местах под землей остались громадные газовые пузыри. Они остались там, где непроницаемые для газа породы расположились куполообразно и где газ, стремящийся вырваться вверх, прикрыт этими породами, как громадной чашкой высотой в сотни метров и шириной иногда в десятки километров.

Структурная разведка, буря землю на разную глубину, определяет контуры таких чаш, под которыми может содержаться газ.

Когда контуры определены, в дело вступает так называемая глубокая разведка. Эта разведка начинает бурить уже на той территории, которую предварительно очертила ей структурная разведка. Глубокая разведка непосредственно ищет газ и нефть; в итоге ее работ определяются мощность и глубина залегания пластов и определяются размеры запасов.

Затем в дело вступают эксплуатационники. Они производят на разведанных площадях промышленное бурение и по своим местным газопроводам подают газ на приемо-сдаточную станцию.

Здесь его принимает Главгаз — следующая, если можно так сказать, ступенька, а в масштабах страны — громадная система, в ведении которой и строительство и эксплуатация всех магистральных газопроводов. Главгаз строит их и гонит по ним газ через пустыни, горы и реки до сотен и тысяч больших и малых газораспределительных станций, с которых газ идет уже к потребителю.

Так в общих чертах выглядит вся эта лестница, но в этом очерке я остановлюсь только на двух ее ступеньках — структурной и глубокой разведке.

Поселок Газли, вокруг которого идет разведка самых крупных запасов бухарского газа, расположен в песках

Кызыл-Кумов, примерно на середине пути между Бухарой и Аму-Дарьей.

Дорога от Бухары ведет сюда через сплошные пески, и хотя в этом году закончено гравийное шоссе, когда дуют сильные ветры, с барханов несется песок и переметает дорогу. Я уже был здесь зимой, в январе, и, в общем, между зимним и летним пейзажем Кызыл-Кумов разницы мало. И в январе и в июне все тот же серо-желтый песок, только солнце сейчас припекает куда покруче, да саксаул среди барханов позеленей, чем зимой.

Поселок Газли возникает среди песков так же неожиданно, как промыслы на Нефтяных камнях возникают среди Каспийского моря. Там несколько десятков километров воды — и вдруг искусственный остров; здесь сто с лишним километров песков — и вдруг поселок, где живет больше двух тысяч человек. С зимы в поселке прибавилось несколько сот человек населения и несколько десятков домов, новый бассейн и новая столовая с рецидивами излишеств в виде лепных потолков и роскошных люстр, но в общем-то большая, просторная и удобная. Дворец культуры еще не сдан: неполадки с отделочными работами. Строители жалуются, что не так-то просто заслать в пустыню хороших отделочников, а хозяева поселка — разведчики — хотят иметь у себя в пустыне хорошо отделанный клуб... Словом, сроки приемки уже в третий раз отодвигаются.

Зато в устроенном как раз посредине поселка плавательном бассейне сейчас, после смены, стоит такой плеск и шум, что уже за сто метров слышно, что он сдан в эксплуатацию. Недалеко от поселка пробурили скважину, получили, правда, не питьевую, но вполне приемлемую техническую воду с небольшой примесью щелочи, и бассейн работает на полный ход с постоянным притоком и сливом воды. Комсомольцы собираются устроить здесь навесы и раздевалки, а о пляже заботиться не приходится — песка кругом сколько душе угодно!

Структурная разведка размещается в засыпном деревянном домике. У ее начальника — Якова Мироновича Каневского — кабинет как кабинет, даже к письменному столу придвинут второй столик поперек, но

пустыня напоминает о себе мелким скрипучим песком, лежащим всюду — и на столах, и на полу, и на подоконниках.

Каневский, старый среднеазиатец, последние одиннадцать лет работал в Термезе — уж на что жаркая точка, а все-таки в Газли климат покруче!

— Здешний ветер точь-в-точь как знаменитый термезский «афганец», но только с одной существенной разницей. В Термезе он дует три-четыре раза в месяц, а здесь, наоборот, три-четыре раза в месяц не дует... А, в общем, жить можно,— смеется Каневский.— Даже сына после конца учебного года привез сюда, пусть привыкает!

И Каневский и старший геолог структурной разведки Николай Викторович Сильченко — оба сегодня в отличном настроении. «Афганец» «афганцем», а за май структурная разведка выполнила свой план на 151 процент: вместо 3 600 метров пробурила 5 459 — есть чему порадоваться!

Мы договорились поехать за сорок километров на одну из буровых, и Каневский и Сильченко — оба при этом дружно сетуют, что только сегодня утром отпустили вертолет.

— На вертолете можно было за один день облететь все наши точки,— говорит Каневский.

Но вертолета нет, и мы на следующее утро едем вместе с Сильченко на «газике» на одну из точек, в Уч-Кыр.

Газли для структурных разведчиков — дело уже прошлое. Там теперь база, а их буровые ушли дальше, в пустыню, и на юг и на север от Газли.

По предварительным подсчетам, громадное Газлинское месторождение обладает запасами в 400—430 миллиардов кубометров газа. Но есть уже предположение поисковых партий и геофизиков, что и на юг от Газли, в районе Рометана, и на север, в районе Уч-Кыр, куда мы сейчас едем, тоже имеются площади с возможным присутствием нефти и газа.

Ими и занята сейчас структурная разведка. Та буровая, на которую мы едем,— одна из десятков будущих точек, которые при успехе исследований обрисуют контур нового месторождения.

Сорок километров мы покрываем примерно за два

часа. То едем по продавленной в песке колее, то сворачиваем там, где она уже утонула, и движемся напрямик по песчаным холмам, подминая кусты саксаула. «Газик» рычит и жалуется, но в конце концов всякий раз вывозит.

Первую половину пути на горизонте ровным счетом ничего нет, потом появляется тригонометрическая вышка, а возле нее юрта, колодец и овцы. Из загнутой вопросительным знаком широкой трубы неспешной струей течет отдающая сероводородом вода.

Структурные разведчики параллельно со своими основными работами ищут воду. Они оставляют за собой в пустыне помеченные на картах действующие и запасные колодцы. Эти колодцы нужны, и, конечно, здесь, в пустыне, они настоящий клад для чабанов.

Я спрашиваю Сильченко: не из этого ли колодца снабжается буровая, на которую мы едем? Оказывается, нет, они нашли новую воду, еще ближе к буровой.

Еще час езды — и мы на месте.

Среди барханов стоит могучий грузовик Минского завода со смонтированным прямо на нем самоходным буровым станком марки УРБ-АМ. За два-три километра отсюда — полная, глубокая, как еще недавно было принято говорить о ней, «вечная тишина пустыни», а здесь — заводской шум, шелест трансмиссий, скрежет бура, урчание и всплески употребляемого при бурении глинистого раствора.

Сейчас троих работающих здесь людей — бурового мастера Николая Артемчука, бурильщика Хамида Маматкулова и помощника мастера Барма Иргашева — беспокоит как раз этот глинистый раствор.

Под верхним слоем песка грунты здесь глинистые, и глинистый раствор во время работы быстро обогащается, густеет. Чтобы держать его в пределах необходимой для бурения нормы, надо все время доливать воду, а вода уже полчаса как кончилась.

— Загустел раствор, совсем загустел,— сердито говорит Маматкулов, перекрикивая шум бурового станка.— Ждем еще двадцать минут — не подъедет водовозка, придется бурение останавливать!

— Вы ехали, водовозку нашу не встречали? — озабоченно спрашивает Артемчук. Мы говорим, что нет, не встречали.

— Куда же она к черту запропастилась, заснул он, что ли, по дороге?

Предположение маловероятное, и Артемчук сам это понимает, хотя, в сущности говоря, шоферу водовозки есть от чего устать. Правда, вода здесь не так далеко, за восемь километров, но эту буровую обслуживает одна водовозка. Буровая потребляет около 14 кубометров воды в сутки, и, беря за один раз полтора кубометра, шофер должен сделать десять ездок туда и обратно, то есть 160 километров по этим барханам, плюс десять наборов и десять сливов воды. А в общем, как говорит Сильченко, это все-таки благодать: бывает, что приходится возить воду и за 30 и за 40 километров.

Артемчук стал буровым мастером недавно, всего две недели назад, заменив другого, уехавшего на курсы. До этого шесть лет работал бурильщиком, три года — помбуром. Всего десять лет здесь, в Средней Азии.

— А до этого? — спрашиваю я.

— До этого был в армии и в военизированной охране.

Родом он из-под Винницы. Но сейчас можно сказать, что и он и вся его семья стали среднеазиатцами. В Газли с ним вместе жена и трое детей.

— А, положим, это я так, по привычке, говорю — детей; старший-то, Геннадий, в этом году сам пошел уже работать помбуром, на эту же самую буровую, только сейчас на отдыхе, работает в ночную смену.

Помощник бурильщика Барман Иргашев — здешний. Он из лежащего на юг отсюда, за песками, Каракульского района. Семья там, в колхозе, а сам он уже два года работает на буровых. Он уже немолод, до этого проработал 24 года трактористом, был одним из первых трактористов в своем районе, а теперь вот в пустыне открыли газ, и потянуло сюда, на новую, трудную, но завлекательную работу.

С бурильщиком Хамидом Маматкуловым мне так и не удается поговорить. Грязевой насос вдруг перестал давать полную промывку скважины; Маматкулов несколько раз переключает бурение на разные скорости и, наконец, остановив станок, бросается к насосу. Теперь они все трое заняты стремительными поисками причины неполадок. Проверяется сначала один клапан, потом другой. С азартом работают люди, не теряя ни

секунды времени, мокрые с ног до головы, с лицами, залепленными серо-голубыми пятнами глинистого раствора, мгновенно засохшими на здешнем свирепом солнце. Они торопятся, и это понятно. Глубина бурения на их точке задана 400 метров. Послезавтра надо начинать думать о переходе на новую точку, а пока за два дня пробурено 193 метра. Объективно говоря, это немало, но у них есть желание перевыполнить задание.

Наконец найдена неисправность в насосе, на место сработавшегося ставят новый клапан. И наконец-то появляется водовозка! Шофер с лицом, обожженным до медно-кирпичного цвета, чуть ли не на ходу выскочив из машины, поспешно тащит шланг к стоящему подле буровой раскаленному пустому железному баку. Он работает молча, стараясь не глядеть на бурильщиков, зная, что опоздал, а раз так, стало быть, виноват, какие бы там ни были у него причины!

Уже на обратном пути я говорю с Сильченко о том, что действительно их бурильщики работают, не тратя даром ни минуты.

— Вполне естественно,— отвечает он.— Хотя мы и выполнили квартальный план, но глубокая разведка все-таки наступает нам на пятки, требует, чтобы мы скорей передали ей новые площади. Люди стремятся поднажать, особенно сейчас, к Пленуму ЦК. Это во-первых. А во-вторых, выработка у нас сдельная, с метра проходки да плюс премиальные за ускорение против плановой скорости — это тоже немаловажно. Да и сами условия работы подгоняют. Условия, по правде говоря, тут тяжелые, неизвестно, когда легче работать — зимой или летом: сейчас печет, как в аду, ветры, песчаные бури; хлеб — и тот жуешь пополам с песком. А зимой работают мокрые, в воде, в растворе, на ледяном ветру — буровую ведь не прикроешь! В этих тяжелых условиях зря проводить время из-за неполадок людям особенно досадно. Работать — да, а загорать из-за нераспорядительности нашего начальства — желающих мало!

Заговорив об этом, Сильченко вновь вспоминает о вертолете.

— Вы знаете,— говорит он,— даже трудно преувеличить, какую роль сыграл вертолет в том, что мы в полтора раза перевыполнили майский план. За месяц

сто часов на нем сделали, каждый день бывали почти на всех точках, оперативно решали все текущие технические вопросы. Да и продукты тоже, их на дальнюю точку на грузовике, а то и на тракторе тащить, а тут прямо с неба на буровую. Летчики Гиенко и Дараган сами за этот месяц загорелись нашей работой. Прилетят на буровую, если видят, что бур крутится, радуются; а когда бур стоит, спрашивают: за чем дело? Ну а слезть с вертолета посреди пустыни да людям в этакой жарище привезти охапку свежих овощей — разве это не приятно? Казали Ахмедов, главный инженер глубокой разведки, тоже с ними по своим точкам летал, теперь агитирует, чтобы и глубокие разведчики себе вертолет в смету заложили!

Ночь. Я ночую вместе со своими спутниками в маленьком домике газлинской «гостиницы». Вдруг спросонок начинает казаться, что меня куда-то тащат среди страшного рева и ветра. Потом раздается грохот, и я и мой сосед — двое здоровых мужчин — еле-еле закрываем обратно створки распахнутого бурей окна. Справившись с окном, мы выходим на крыльцо. Над поселком пелена летящего песка, буря скрипит и ревет, ветер рвет крыши и выгибает в дугу людей. А кругом Газли в барханах за двадцать, за сорок, за восемьдесят километров именно сейчас, в эту ночь, крутятся буровые станки, среди бури работают люди, прибавляются запланированные и сверхплановые метры пробуренных грунтов; прибавляются, несмотря ни на что!

В семь утра над поселком стоит неправдоподобная тишина. На песке, который перемел за ночь все поселковые улицы, словно на снежной целине, цепочки свежих, утренних следов.

Я иду к начальнику конторы глубокого бурения Михаилу Филипповичу Шевченко. До прихода эксплуатационников он со своей конторой здесь, в поселке Газли, главный житель и главный хозяин. Большинство живущих здесь людей или работает в конторе глубокого бурения, или так или иначе связано с ней. Глубокая разведка построила здесь большинство домов, на ее балансе здешняя электростанция — единственный вид связи, который пока есть у Газли с остальным миром.

Хотя только семь утра, у Шевченко уже много народа. Начинается еще один многотрудный газлинский день. Сегодня ждут приезда секретаря обкома партии по промышленности и начальника строительства газопровода Джаркак — Ташкент. Пока что питьевую воду в Газли возят за 40 километров машинами. Строители газопровода взяли на себя обязательство подать ее прямо в Газли. Сегодня должен решиться вопрос об ускорении этого важного дела. Первоначально было запроектировано строительство водопровода от Аму-Дарьи и даже ассигновано на это 100 миллионов рублей. Однако трасса оказалась не только дорогой, но и не до конца продуманной: Аму-Дарья меняет русло, и это создает дополнительные трудности для забора воды. Сейчас, не отбрасывая этот вариант, исследуют другие, более экономичные, а пока в качестве первого этапа тянут водопровод от пробуренных за 40 километров отсюда колодцев.

Видимо, на сегодняшний день с этим не все в порядке; во всяком случае, один из помощников Шевченко, которого начальник отправляет сопровождать секретаря обкома на трассу водопровода, сначала отнекивается.

— Ничего, ничего,— усмехается Шевченко,— езжай, сопровождай, жертвуй собой.

— Ладно, я поеду,— отвечает тот,— только обидно, если мне достанется на орехи, хотя как раз я в этом деле совершенно посторонний.

— А ты гражданин Советского Союза?

— Да вроде так...

— Так какой же ты после этого совершенно посторонний?

Помощник уходит, и сразу же возникает новый разговор еще с одним из сидящих в тесной комнатке людей.

— Значит, просишь утвердить его? — спрашивает Шевченко.

— Прошу.

— Добрая у тебя душа, любишь услужить человеку! А теперь спрошу тебя по-товарищески: представь, ты пересел на мое место, а я прошу тебя его утвердить! Как, утвердишь? И за дело не будешь тревожиться, а? Ну, что молчишь? Так и знал, что будешь молчать!

— А почему знали?

— А потому знал, что совесть у тебя все-таки есть!

Заходит человек с бумажкой на подпись. Он получил вызов по семейным обстоятельствам и просит отпуск за свой счет, чтобы поехать, как он выражается, устроить сына.

— Куда устроить? — спрашивает Шевченко.

— А после десятилетки. Он у меня десятилетку кончает.

— Так куда же его устраивать, давай привози его сюда. Сделаем разведчиком!

— Нет,— с недовольным выражением лица говорит посетитель,— не будет он разведчиком, не хочет.

— Он не хочет или ты не хочешь?

Пауза, молчание.

— А кем же он у тебя хочет быть? — допытывается Шевченко.

— Музыкантом.

— Тем более, бери его сюда, самодеятельность у нас есть, оркестр организуется...

Это последнее, впрочем, Шевченко говорит, уже подписывая бумажку. Тон собеседника не понравился ему, и его уже не тянет продолжать уговоры. Когда мы остаемся вдвоем, я спрашиваю, как обстоит дело с текучестью кадров.

— Текучесть изрядная,— откровенно говорит Шевченко.— Изрядная потому, что условия исключительно тяжелые. С тех пор, как вы были зимой, несколько сот человек ушло и несколько сот пришлось набрать новых.

Как боремся с текучестью? Боремся, понемногу улучшая условия, строя жилье, в меру сил налаживая снабжение. Боремся тем, что столовую построили, что хороший хлеб печем, что клуб, хоть и надули нас со сроками строители, а все-таки скоро пустим. А главное, боремся тем, что помогаем людям понять, какое крупное дело делается, какая штука этот бухарский газ, который отсюда без малого аж до Урала и до китайской границы пойдет! Еще как действует! В особенности на основной состав — на бурильщиков, на монтажников, на тех, от кого дело в первую очередь зависит. И надо сказать, что текучесть среди них гораздо меньше, чем среди подсобников. Сознание важности дела

держит человека, хотя место не сахарное. С такими, например, бурильщиками, как Махмуд Исаев, Хамид Галин, Захар Акзамов, вы знаете, с каких пор неразлучно газ ищем? С пятьдесят пятого года! Еще в Туркмении, с Султан-Санджара начали. Профессия у нас бродячая, а люди коренные!

— Слушайте,— входя и прерывая наш разговор, говорит главный инженер строительно-монтажной конторы Алексей Николаевич Ким, которого я уже один раз видел у Шевченко,— вы примете от нас вышко-монтажный цех или не примете? Вопрос ребром!

Улыбчивый Шевченко сразу становится хмурым.

— Если ребром, то не приму! Вы хотите мне цех сдать, а начальника цеха в тот же день забрать? Не выйдет. Тем более что в цехе есть люди, которые его уважают. Он уйдет на другое место и их за собой потянет. Что, не бывает так? — задорно вскидывает он глаза на Кима.

— С кем не бывает,— принимает тот вызов,— каждый начальник за собой хвост тянет. Хоть я, хоть вы!

— А вот я как раз и не тяну,— говорит Шевченко.— За мной этого не водится!

— А вам еще лучше,— огрызается Ким,— вы не тянете, так за вами сюда сами приехали? Приехали. И еще пишут, собираются ехать, так или нет?

— Так то же они сами,— усмехается Шевченко и снова неуступчиво, погасив улыбку, повторяет, что без начальника цеха цех не примет.

Как видно, тут нашла коса на камень. Оба начальника так и не приходят к соглашению. Ким удаляется очень сердитый, а Шевченко, объясняя свое упрямство, повторяет мне, что начальника цеха сейчас отпускать никак нельзя, он слишком хитрый мужик: уедет один, а пройдет две недели — потянет за собой целую цепочку, не успеешь оглянуться, как полцеха размотает. А у нас тут не курорт, людей разбазарить легче, чем собрать!

Мне уже рассказывали в Бухаре, что глубокая разведка решила досрочно дать окончательную цифру запасов газлинского газа не в первом квартале 1960 года, а к 1 декабря этого, 1959-го.

Я спрашиваю Шевченко, как возникла эта дата и насколько она реальна.

— Дело в том,— говорит он,— что надо ускорить проектирование газопровода. Идет ли речь о газопроводе до Урала, пойдет ли речь о других больших трассах, все равно, чтобы ускорить их проектирование, нужно дать цифру, за которую мы отвечаем головой. Весь ход разведки не опровергает предварительных цифр в 400 с лишним миллиардов, но этот подсчет должен быть нами железно подтвержден. Без такого подтверждения правительство не возьмет его на веру и не утвердит окончательного проекта газопровода. Перебрасывать газ на большие расстояния выгодно только при полной уверенности в его запасах на несколько десятилетий. Не так давно министр геологии прислал письмо, просил наш коллектив ускорить подсчет запасов и дать его уже в декабре. Мы собрались вместе с работниками своего главка и треста, прикинули силы и взялись закончить работу к первому декабря. А сегодня считаем, что кончим ее еще раньше, ну, скажем для осторожности, в ноябре.

В середине нашего разговора входит и сразу же включается в него геолог конторы Игорь Васильевич Петров, человек, несмотря на свою должность, очень еще молодой и, должно быть, поэтому, в противоположность Шевченко, ни при каких обстоятельствах не позволяющий себе улыбаться.

Он начинает говорить о перспективах, о том, что с окончанием работ по Газлинскому месторождению их контора сразу переходит на разведку двух других месторождений.

Я спрашиваю Шевченко и Петрова: как понять те разговоры, что я слышал в Бухаре, будто их разведка находится в трудном положении, не выполняет плана? Как связать одно с другим — невыполнение плана и досрочное завершение работ по Газли?

— А вот так и связать,— сердито говорит Петров,— на Газли мы нажали, заканчивая раньше, чем нам планировали, буровые станки, и люди у нас уже освобождаются, можем перебрасывать их разведывать новые месторождения, а широкого фронта работ нам структурная разведка еще не дала! А не дала она потому, что ее самое держат геофизики и поисковики. Чтобы буровой станок работал рентабельно, без лишних перебросок, он должен быть один на три подготовленные

точки. Но для этого нужно иметь запас предварительно разведанных площадей. А сейчас что нам пока придется делать? Сначала нагоним лишние станки на одну разведочную площадь, а потом потащим их все на другую. А за всем стоят знаете какие расходы? Ведь нашито вышки — махины! Дешево ли их лишние десятки километров по пескам тащить? Вот и выходит, что, с одной стороны, мы именинники — сдаем разведанные площади раньше всех сроков, а с другой — пострадавшие, оказываемся перед лицом недостаточно широкого фронта будущих работ, а значит, под угрозой недовыполнения производственного плана.

— А это, разумеется, нам обидно,—увесисто добавляет Шевченко, которому при всем его собственном спокойствии нравится молодая горячность геолога.— Вот глядите на эту картину.— Шевченко развертывает лежащую на столе сводку.— На сегодняшний день мы прошли 54 974 метра глубокого бурения. Сейчас в среднем каждый наш станок при плановой скорости в 510 метров дает 851 метр в месяц. Производительность труда у нас тоже на 15 процентов выше плановой. Спрашивается: кому охота с этого съезжать? Разумеется, ни нам, ни буровым мастерам, ни бурильщикам! Тем более что бурильщиков это вдвойне ударит — и по душе и по карману. А этого никто не любит.

Я спрашиваю у обоих: какие еще трудности предвидятся в связи с переходом на новые площади разведки?

Петров повторяет, что главное — это фронт работ, недостаток задела. Об этом надо трубить, об этом надо беспокоиться! Кроме того, станет еще трудней с транспортом — расстояния увеличатся, а дороги ухудшатся. Это так, и бессмысленно закрывать на это глаза!

Петрова вызывают на рацию, а Шевченко, оставшись со мной вдвоем, добавляет, что есть еще одна большая трудность, возрастающая с увеличением расстояний: материально-техническое обеспечение буровых. С этим и сейчас порой неблагополучно. В принципе на каждой буровой перед началом работы должен лежать запас всех основных материалов на весь период бурения, а мы частенько не имеем этого запаса, смотрим в руки снабженцев. В конце концов буровые редко простаивают: хоть и в последнюю минуту, а доставляем то, что надо, но темпы от этого страдают. Нужно вник-

нуть в психологию буровика: работает он в пустыне, в отрыве, если при этом у буровой лежат все основные запасы материалов, бурение, как правило, идет у него безостановочно, без оглядки. Но как только начинает не хватать то того, то этого, он и сам начинает оглядываться, придерживать. Конечно, тут полного сходства нет, но и на передовой, когда со снарядами, с патронами перебои, такое же чувство неуверенности, а значит, и огонь уже не тот!

— Вообще-то говоря,— заключает Шевченко,— трудности при переходе на новые площади у разведчиков неизбежны, но Петров правильно делает, что горячится. При горячем отношении к делу и умении вовремя забить тревогу трудности можно уменьшить, а получение нужных нам площадей ускорить. Над тем сейчас и бьемся! Район, что нам предстоит бурить, тяжелый, можно сказать, почти недоступный, но осваивать его будем, со слезами, а будем!.. Есть место, где летом не пройдешь; значит, пойдем туда осенью, зимой, когда зыбучие пески хоть немного смочит водой и скует холодом. Доберемся и туда. Правда, там понадобится мощный гусеничный транспорт, которого нам не хватает, но ведь мы, разведчики, тоже стреляные воробьи, знаем, когда нам не дают и когда дают!

Шевченко улыбается, в глазах у него лукавинки.

— Нам ведь что главное: ничего не прося, имеющимися силами пробиться в непроходимый район, пробурить первую вышку так, чтобы газ пошел, как говорится, доказать! А там уж, газ предъявив, можно на дальнейшее просить все, что требуется. Тут уж редко в чем откажут.

— Ну, а не найдешь газа или нефти и будешь себе сидеть да бурить год за годом, тихо, без шума. Это у меня тоже бывало. У нас, у разведчиков, такая специальность: иногда год за годом государственные денежки проедаешь. Как, бывало, вспомнишь, сколько их проел — и в Горьковской области, и в Марийской республике, и в Чувашии, и на Камчатке,— даже на душе скучно станет. Много проели! Но зато теперь тут, в Газли, все разом вернули, с лихвой! И, конечно, уже на душе после этого гораздо легче!

В комнату входит пожилой казах, в халате, в сапогах, с узенькой седой бородкой.

— Вот, познакомьтесь,— приподнимаясь ему навстречу, говорит Шевченко,— Анда Мурат Топанов, старожил здешних мест и, в сущности говоря, заведующий всем нашим питьевым водоснабжением.

Слегка улыбнувшись в ответ на эту рекомендацию, старик присаживается наискось от Шевченко и неторопливо одна на другую кладет перед собой на стол большие, обожженные солнцем руки.

— Еще раз хочу его спросить,— говорит Шевченко,— и именно от него, а не от кого-либо другого хочу услышать ответ: как, дадут наши скважины на Уч-Баше до трехсот кубометров питьевой воды каждый день, можем мы рассчитывать на такое количество для водопровода или нет?

— Как, а? — поворачивается он к старику и внимательно смотрит ему в глаза.

Старик молчит. На лице его не двигается ни один мускул, руки тоже неподвижны, только губы еле заметно шевелятся: кажется, что он что-то считает про себя. Теперь он сосчитал и думает долго, несколько минут, потом коротко и уверенно говорит:

— Хватит! — И еще раз повторяет: — Хватит!

Я узнаю, что, несмотря на свою неграмотность,— и сейчас его годы уже слишком большие, чтобы это исправить,— Анда Мурат Топанов знает здешнюю воду лучше, чем кто бы то ни было. В его распоряжении находится шесть колодцев и маленькая электростанция при них. Его жена Зебо, хоть она уже не молода, тоже работает там, на воде, а сын Базарбай окончил десятилетку, и сейчас его готовят здесь, в Газли, на дизелиста, чтобы послать на помощь отцу.

— У него в роду все водяные,—рассказывая об этом, улыбается Шевченко.

Из дальнейшего разговора с Топановым выясняется, что действительно его предки пришли сюда, в становище Уч-Баш, 125 лет тому назад. Первым пришел еще прадед Топанова, и все эти 125 лет все мужчины в их семье занимались тем, что находили в степи воду и рыли колодцы. Рыл и его прадед и дед, рыл его отец, рыл он сам...

Немногословно рассказав об этом, Топанов решительно поднимается и, кивнув головой, выходит.

— Спешит,— одобрительно говорит вслед ему Шевченко,— не любит свою воду надолго одну оставлять!

После разговора с Шевченко я еду вместе со старшим геологом конторы Ульфатом Зариповым на одну из буровых вышек глубокой разведки в Таш-Кудук.

С Ульфатом мы ездили вместе по буровым точкам еще зимой и сейчас, подходя к машине, вдруг встречаем только вернувшегося вместе со сменой бурильщиков молодого бурового мастера Мансура Ходжаева, недавно выбранного депутатом Верховного Совета Узбекистана. Он здоровается с нами и тут же вступает в перепалку со снабженцем, столкнувшимся с ним нос к носу. Оказывается, вот уже два дня, как отдел снабжения не может выписать двум девушкам из буровой бригады брезентовые рукавицы.

— Вам, наверное, их рук не жалко! — сердито говорит Ходжаев, и его молодое круглое лицо краснеет от гнева.— Вам, наверное, не жалко, а нам жалко!

— Сейчас выпишем, сейчас будет,— говорит застигнутый врасплох снабженец, а девушки стоят тут же, и, судя по их лицам, они очень довольны тем, что за них так горячо вступился их начальник, такой молодой, красивый и сердитый.

— Если не возражаете,—говорит мне Ульфат,— вот пусть товарищ с нами на буровую поедет! — И знакомит меня с маленьким худощавым парнишкой, корейцем, в вышитой украинской рубашке и в соломенной шляпе:— Виктор Пан. Обком рекомендует его к нам освобожденным секретарем комсомольской организации. Комсомольцев у нас теперь знаете сколько стало? Уже больше 150 человек!

Я знаю, что Ульфат весь этот год буквально разрывался на части, совмещая обязанности старшего геолога с обязанностями секретаря комсомольской организации строительства. Если теперь комсомольцы выберут вместо него освобожденным секретарем вновь прибывшего Виктора Пана, для Ульфата это будет большим облегчением. Он вообще-то не улыбчивый парень, но сейчас, знакомя меня с Виктором Паном, улыбается, очевидно, угадав мои мысли.

Мы садимся в машину, и я спрашиваю нашего спутника: откуда он приехал и кто он по профессии.

Оказывается, он преподаватель русского языка и литературы в старших классах Рометанской школы. Преподает уже два года, любит это дело, но, когда обком захотел рекомендовать его на комсомольскую работу в Газли, у него не повернулся язык отказаться.

— Газли—большое дело, интересное,—говорит он,— только, конечно, я еще многого здесь не знаю!

— Ничего,— говорит Ульфат,— мы все тебе будем помогать. Если выберут в бюро, буду помогать тебе в бюро; если выберут заместителем секретаря, буду у тебя заместителем секретаря!

И я, уже немножко зная Ульфата по прежним встречам, чувствую: то, что он сейчас говорит, не просто слова или обещания, нет, он действительно самоотверженно будет помогать этому учителю, приехавшему сюда на газ; недаром он и сейчас сразу посадил его с собой в машину и потащил на буровую.

— Пусть едет, пусть с самого начала, как говорится, входит в курс дела.

Мы едем на буровую в Таш-Кудук, это сравнительно недалеко от Газли. Буровая вышка глубокой разведки не то что смонтированный на машине, сравнительно небольшой буровой станок структурных разведчиков. Это целая махина, своего рода завод, вдруг вырастающий в пустыне и потом так же вдруг исчезающий и перебирающийся на другое место. И высота вышки тут в десятки метров, и бурят здесь на тысячу и на полторы тысячи метров в глубину, и воды для глинистого раствора сюда нужно подать за сутки сотню кубометров.

Стоя на дрожащих от работы бура мостках, мы разговариваем с бурильщиком Калинником Митрофановичем Сазоновым.

— Редкое у меня имя,—усмехаясь, говорит он сам о себе.— Ну, что вам рассказать? Вам, небось, требуется рассказывать одно хорошее?

Мы отвечаем, что нет, этого не требуется. И он начинает, привычно повышая голос под неумолчный грохот бура, рассказывать вперемежку и о хорошем и о плохом.

— Бурение этой вышки начиналось тяжело. Начали бурить 25 мая. Сначала наткнулись под песком на крепкую известковую плиту, метров в сорок толщиной, просто-таки измучились с ней.

— Вот видите, как она после этого выглядит? — Сазонов показывает на отработавшую свое головку бура, у которой все грани так смяты и скруглены, словно она сделана не из стали, а из свинца.

— А вот какая она была до употребления,— кивает он на лежащую тут же рядом запасную новую головку, черную, с острыми твердыми гранями, жирно смазанными густой заводской смазкой.

— Просто-таки не верится, как быстро одно превращается в другое,— добавляет он.

После того как пробились через плиту, бурение пошло быстрей, порода мягкая.

— И вообще,— говорит Сазонов,— уже далеко под землю ушли, близко бы к концу были, если б не подвели монтажники!

— А чем они подвели? — спрашиваю я.

— Да уж очень плохо смонтировали буровую.

— А зачем принимали?

— Если бы мы принимали! — сердито восклицает он.

Оказывается, вся беда в том, что монтажники ушли раньше, чем бурильщики пришли на их место. Сделано не по-хозяйски, а спросить не с кого, пришлось самим взяться и чуть не полмесяца возиться, заканчивать монтаж на совесть.

— Теперь бы уж, глядишь, к концу подходили, а из-за монтажа бурение только-только в разгаре,— вздыхает Сазонов.

В ответ на мои вопросы он рассказывает о себе, что нефтяником стал после войны, а до этого служил в армии. Здесь, в Газли, он недавно, два месяца, но сразу приехал всей семьей: привез жену, дочь и сына. Дочь работает замерщицей на одной из буровых. Все бы ничего, но заедает жизнь в общежитии! Трудно, как ни говори, целой семьей жить в общежитии, тем более что уже не молоденькие! А квартиру обещать — обещали, а дать — пока не дали...

На обратном пути от буровой заезжаем в стоящую тут же неподалеку лавку для чабанов, в которую заглядывают и бурильщики.

Заспанный заведующий, он же продавец, выходит из заднего помещения, где он постоянно живет, и, отперев большой висячий замок, показывает ассортимент своего магазина в пустыне. Ассортимент, учитывая из-

рядную отдаленность торговой точки, пожалуй, не такой уж бедный! На припорошенных песком полках лежат сапоги, отрезы шерсти, ситца и штапеля, ящики риса, вяленая рыба, банки с бараньей тушенкой, бритвы, дробь и одеяла. К стенам прислонено несколько охотничьих ружей, на гвоздях висят соломенные шляпы и костюмы.

— А брюк нет? — спрашивает за моей спиной только что подъехавший на грузовике шофер.

— Костюмы есть,— отвечает заведующий.

Но шофера наличие костюмов не устраивает, и, забрав банку бараньей тушенки и банку сгущенного молока, он расплачивается и уезжает.

Уезжаем и мы. Дело уже к вечеру. Через два часа начнется отчетно-выборное комсомольское собрание, на котором Ульфату делать доклад. Он человек основательный, и доклад уже подготовлен и утвержден на бюро заранее, но все же перед таким делом надо оказаться на месте пораньше и собраться с мыслями.

Когда мы возвращаемся в Газли, из пустыни начинает потихоньку потягивать ветром. Песок, легонько шурша, как разведчик бури, то там, то сям перебегает дорогу. Похоже, к ночи разыграется то же, что было вчера.

Шевченко сидит на ступеньке у входа в свою контору рядом с Курганом Шадыевым, парторгом Газли и его старожилом, по образованию историком, а по профессии политработником, майором запаса.

Шевченко сидит на ступеньке, низенький, толстый, пожилой, с густой сединой, забелившей на висках его огненно-рыжую шевелюру.

Именно здесь, на ступеньках конторы, его излюбленное место. Если он не в отъезде, нет совещания и не нужно подписывать бумаги, то его всегда можно найти здесь. Вот и сейчас он сидит тут в своей видавшей виды синей спецовке, с удовольствием подставляет ветерку загорелое, загрубелое лицо старого разведчика и дожидается, когда молодежь откроет комсомольское собрание и позовет его и парторга.

Как мне кажется, он любит сидеть вот так, на крылечке, не только потому, что, когда солнце перестает печь, тут прохладней, чем в конторе, но и потому, что отсюда, с крылечка, видать сразу весь поселок с жилы-

ми домами, с недавно развернутым сборномеханическим цехом, с только что законченной столовой и с еще не законченным клубом, с бассейном, где сейчас с визгом плещутся ребята...

— Вообще интересная наша работа,— говорит вдруг Шевченко, словно угадав мои мысли и отвечая на них. И его обычно насмешливое лицо делается задумчивым и даже мечтательным.

— Вот, приехали сюда, было здесь шаром покати, голое место, а уедем — останется поселок и несколько тысяч людей. И та же история на Камчатке была. Приехали искать нефть — голая тундра кругом, а уехали — опять-таки оставили за собой поселок. А если народ взять — буровиков, то народ тоже интересный! И потребовать умеют и отдать не пожалеют! И уж, бывает, глядишь на него, как на самого себя, уж и немолодой он, черт, просто даже старый, а все же тянет его обратно бурить — не в тундру, так в пустыню, не в пустыню, так в тундру! Нашел он себя в этом; бывает, ругается на свою жизнь, а жизнь его все равно уже так успела сложиться, что где новая разведка — там и он! Жестокий народ наши буровики, с характером! Когда с таким народом работаешь, у самого интересная жизнь получается...

Газли,
январь 1959 г.



Июнь на Памире

Ваш корреспондент вместе со своим коллегой из «Красной звезды» на днях проехал на «газике» из Ташкента в Сталинабад кружным путем — через Памир.

Дорога эта — примерно в 2 000 километров — заняла у нас неделю. Пожалуй, поднажав, ее можно было проделать и за четверо суток. Но мы не ставили себе такой задачи; напротив, останавливались, разговаривали с людьми, расспрашивали о том, как идут дела на Памире, и попутно отвечали на многочисленные вопросы, касавшиеся нашей литературы.

Мне хочется в этих путевых заметках дать несколько штрихов увиденного и поделиться некоторыми возникшими в пути мыслями.

Когда, миновав Ферганскую долину, подъезжаешь к границе Киргизии, к Ошу, Узбекистан на последних километрах своей территории провожает тебя нефтяными вышками по обеим сторонам дороги. Слева и

справа повсюду на невысоких холмах безмолвно ходят вверх и вниз качалки. После всех предыдущих пейзажей Ферганской долины с ее бесконечными квадратами хлопковых полей, громадными магистральными каналами этот последний прощальный пейзаж — сотни нефтяных вышек — как бы еще раз напоминает тебе, что Узбекистан, оставаясь страной белого золота, в то же время все больше становится страной нефти, газа, химии, цемента, строительной большой индустрии, без которой нечего и думать о реальности замышляемых ныне новых гигантских шагов в хлопководстве.

Центр Южной Киргизии — Ош — город быстро растущий и строящийся. После окончания строительства громадного текстильного комбината он станет крупным промышленным центром. Но сейчас пока что Ош — это прежде всего город автомобилей. Он начало Большого, или — как порой не без основания говорят — Великого Памирского тракта. Именно отсюда идут основные грузы на Памир, и это сразу чувствуешь, проезжая по улицам Оша. К тротуарам города, словно к портовым стенкам, причалены целые караваны грузовиков. И чего, чего только нет в их огромных кузовах — целые горы грузов, закрытых исхлестанными ветром брезентами, перед долгой дорогой туго затянутых канатами и тросами.

Все перевалы уже открылись — наступает самая страдная пора Памирского тракта; пройдет еще несколько дней, и между Ошем и Хорогом в любую минуту дня и ночи будет находиться в пути несколько сот грузовиков.

Мы выезжали из Оша утром. Кривая потока грузов еще только лезет вверх, до знаменитой Алайской долины — необъятного летнего высокогорного пастбища, которым пользуются и Киргизия и Узбекистан. Одна за другой идут туда вверх полные людей машины с разобранными юртами, палатками, высокими кипами пестрых ватных одеял, с запасами продуктов, с радиоприемниками, с обвязанными бечевой пачками книг.

Быт людей на высокогорных пастбищах не стоит представлять себе как идиллию, он далек от этого сейчас, да, пожалуй, никогда не будет легким. И, однако, достаточно проанализировать содержимое хотя бы

одного вот такого, несущегося сейчас на наших глазах в гору грузовика, чтобы почувствовать, сколько всяких перемен в жизни людей произошло за последние годы. Перевязанная бечевой пачка книг, подпрыгивающая на традиционных пестрых ватных одеялах, говорит об очень многом, особенно тем из моих нынешних спутников, что бывали здесь и десять и двадцать лет назад.

Миновав первые перевалы, едем по Алайской долине. Пейзаж ее суров и однообразен. Растительность кажется бедной, почти нищей, но на самом деле здешняя, еле поднимающаяся на вершок от земли, крепкая, плотная трава по калорийности почти не имеет себе равных — это первоклассный корм для скота.

Зимой Алайская долина — один из самых тяжелых участков Памирского тракта. Здесь бывают гигантские снежные заносы, не только прекращающие сквозное движение, но и надолго отрезающие друг от друга разбросанные на тракте и по сторонам от него редкие населенные пункты.

Чтобы дать представление об условиях, складывающихся здесь зимой, приведу один случай и одну фактическую справку.

Жена начальника пограничной заставы, куда мы заехали по пути, позапрошлой зимой на последних месяцах беременности отправилась к мужу. В дороге начались преждевременные роды. Роды, к счастью, прошли благополучно, но женщине пришлось вернуться туда, откуда она выехала. А на следующий день начались заносы, и отцу семейства удалось увидать жену и сына лишь через несколько месяцев — весной.

Это один из многих подобного рода эпизодов здешней жизни. А вот фактическая справка, взятая из дорожного документа: некоторые ущелья, по дну которых проходит дорога, заполняются снежными лавинами толщиной до 25 метров. Наиболее заносимый снегом участок Алайской долины позапрошлой зимой преодолевался автоколоннами со средней скоростью километр в сутки.

Сейчас, когда едешь по Алайской долине, видишь, как много потрудились здесь за последний год памирские дорожники. В самых катастрофически заносимых снегом местах дорога высоко поднята. Это сделано еще не всюду, но и то, что уже сделано, по-

зволило в 1956—1960 годах—впервые за всю историю Памирского тракта — обеспечить почти непрерывное движение. Грузовики все-таки шли этой зимой через Памир! Тут надо отдать должное и дорожникам и водителям.

Общие громадные процессы вооружения страны новой, передовой техникой наложили свою печать и на обстановку здесь, на Памире. Героические случаи прорыва через Памир в зимнее время бывали в истории и раньше. Можно вспомнить хотя бы экспедицию, которую в тридцатые годы возглавлял Ока Городовиков. Эта экспедиция прорвалась тогда на помощь Памиру, голодавшему в связи с небывало рано грянувшей зимой. Но, отдавая должное истории, люди Памирского тракта смотрят сейчас в будущее. Успехи зимы надо закрепить и развить. Прошлой зимой грузы двигались ценой громадных людских усилий и высоких материальных затрат. Сейчас на очереди обеспечение еще большей регулярности при меньших затратах человеческого труда и денег. Многое для этого уже сделано, но многое еще остается сделать, и это очень заботит обоих памирских дорожных «главнокомандующих» — начальника управления Памирской дороги Филиппа Степановича Дорожинского и директора Памиро-Таджикского автомобильного треста Мадали Курбановича Курбанова. Хотя государство, и это чувствуют все на Памире, уже бросило сюда большие силы, вооруженность дороги механизмами повысилась за последние десять лет в тринадцать раз, но для того, чтобы кардинально решить проблему круглогодовых перевозок, нужно еще кое-что пересмотреть в существующих планах на ближайшие годы.

Восточный Памир — земля суровая. Больше половины тракта проходит на большой высоте, по местам пустынным и диким, где недостает растительности, где в воздухе недостает 25 процентов кислорода, необходимого для нормального дыхания. Тем не менее люди здесь живут, работают, учатся, охраняют границы — и наземные и воздушные.

Там, где это позволяют природные условия, на Памире, помимо овцеводства на отгонных пастбищах, существует и животноводство с круглогодовым содержанием скота. И мало того, что оно существует, здесь

постепенно и терпеливо создают тонкорунную породу, способную жить и плодиться в условиях Памира.

Есть на Памире свое молоко и масло. Знаменитые памирские яки, мохнатые, с неимоверно густой шерстью, самой природой приспособлены к этим горам. Правда, по удоям они не могут соревноваться с коровами, но зато по жирности молока бьют все рекорды: 12 процентов!

Расположенный примерно на полдороге между Ошем и Хорогом поселок Мургаб — едва ли не самый высокогорный центр в нашей стране; он раскинулся на высоте около четырех тысяч метров. Это крайний северный район Таджикской части Памира. В Мургабе все самое высокогорное: самый высокогорный райком партии и райисполком; самый высокогорный Дом культуры; самая высокогорная — и очень неплохая — библиотека; самый высокогорный кинотеатр; самая высокогорная школа-десятилетка, а с прошлого года — самый высокогорный интернат при ней.

Район населен, разумеется, не больно-то густо, но на его необъятных просторах работают люди многих профессий, и, думается, по количеству людей с высшим образованием этот район не уступит многим другим районам страны.

Геологи нашли тут уголь с запасами, достаточными для нужд Памира на многие десятилетия.

Энергетики приступают к строительству высокогорной гидроэлектростанции.

Биологи и агрономы уже много лет работают здесь на своей опытной станции над выведением трав, злаков и овощей, способных давать устойчивые урожаи на этих высотах.

Вместе с заведующей станцией Евгенией Григорьевной Кирилловой я ходил по их опытным полям. Здесь середина июня — это еще весна, но квадраты ячменя уже густо зеленеют и на несколько вершков от земли топорщатся перья зеленого лука.

А что касается трав, сорта которых выведены на станции, то они уже давно шагнули за ее пределы. В колхозах Мургабского района не первый год высевают эти травы, оказавшиеся большим подспорьем для животноводства в здешних архисуровых условиях.

Но значение станции куда шире, чем практическое применение ее достижений в хозяйстве этого района. За годы своего существования она дала ряд ценных общебиологических выводов, касающихся возможности развития различных растений в высокогорных условиях.

Работают на Памире и физики, изучающие проблему космических лучей. Для решения этой научной проблемы здесь, на Памире, особо благоприятные условия, и в то же время условия для работы людей, конечно, сложные. Научное оборудование, которым пользуются здешние физики, первоклассное, на высшем уровне, достигнутом мировой техникой; в смысле бытовых условий многое сделано для того, чтобы люди чувствовали себя хорошо и даже по возможности уютно. Но если не говорить о тех, кто родился и вырос здесь, то подолгу жить на высоте в четыре тысячи метров нелегко. Среди физиков у нас всюду много молодежи, но здесь это особенно бросается в глаза. Старший из здешних физиков, председательствовавший на нашей взаимной беседе о космических лучах и литературе, только недавно справил здесь свое тридцатилетие. А все остальные были моложе его. Ну что ж, это естественно — молодость и здоровье при научной работе на таких высотах с особой очевидностью проявляют свои преимущества.

Работают в Мургабском районе и астрономы. В связи с предстоящим созданием у нас самого мощного в мире телескопа предстоит решить вопрос о будущем месте его установки. При этом важную роль будет играть определение того, где именно атмосфера в течение круглого года даст наименьшие помехи для наблюдений. Чтобы выяснить это, производятся соответствующие наблюдения во многих пунктах страны. По словам говоривших со мной астрономов, здесь, на Памире, за первые полгода наблюдений — с осени до весны — получены наилучшие результаты. Остается провести наблюдения в течение оставшегося полугодия.

За Мургабом следует еще несколько перевалов, и ко второй половине дня пути Памирский тракт, условно говоря, начинает идти «под гору».

У Восточного Памира физиономия сурова, но не однообразна. В памяти остаются и громадные снежные

пики, и башенные зубчатые силуэты скал, и колоссальные плоскогорья, такие огромные и плоские, как степь,— что если бы не одышка и сердцебиение, сопровождавшие непривычного человека на высоте, то на иных отрезках пути можно было бы подумать, что ты просто едешь по низменности, окаймленной далекими снежными горами. Пожалуй, резче всего западает в память памирское высокогорное «Черное озеро» — Кара-Куль. На самом деле сейчас, в июне, оно не черное, а густо-синее, с белым. Густо-синяя вода и белый лед, который так до конца никогда и не тает, а только уходит вниз, под воду. А вокруг резкого сине-белого озера стоят верблюжьи рыжие горы, с колючими пиками, врезанными в светлое небо. Пейзаж этот напоминает картины Рериха, как, впрочем, напоминает их вообще очень многое на Памире.

Но вот мы спускаемся все дальше и дальше к югу, и Памир делается все мягче. Как откровение, словно мы за последние три дня уже успели забыть о их существовании, возникают первые зеленые кустики, их веселые пятна становятся все гуще и гуще, и вот уже и вовсе весело выбегают к дороге низенькие узловатые белые стволы белых березок. Вслед за ними слева и справа начинают зеленеть квадраты и треугольники отвоеванных у природы пашен с россыпями камней по сторонам. Может быть, слово «корчевать» здесь и не подходит, но сравнение все-таки напрашивается. Чтобы распахать здесь, на южных склонах Памира, кусочек земли, надо корчевать на ней камни, как пни в лесу.

После долгого перерыва — наконец снова жилье. Первый колхоз, как разведчик, с этой южной стороны дальше всех залез в горы. Длинное белое здание новенькой фермы, такой же новенький белый домик правления, подведенный под крышу маленький клуб, здание сельсовета и у самой дороги только что достроенный сельский магазин, в котором стеклят последнюю раму.

Река Гунт, при рождении которой мы присутствовали высоко в снегах, успев побывать и горным ключом, и ручейком, и ручьем, сейчас с ревом летит под уклон, к Хорогу, ворочая и раздвигая камни. Все гуще зелень зарослей, переходящая в зелень садов. Еще несколько поворотов — и мы въезжаем в Хорог.

Не знаю, как на чей вкус, а на мой — Хорог один из самых прелестных городков, которые я видел за свою, в общем, богатую впечатлениями жизнь. Сам город вьется вдоль текущей под ним реки, а Большой Памирский тракт как бы незаметно вливается в длинную бело-зеленую улицу Хорога, и трудно сказать, где кончается тракт и где начинается город. Недаром хорогцы, шутливо приплюсовывая к длине Хорога длину Памирского тракта, шутят, что их город самый большой на свете — 728 километров в длину. В этой шутке есть доля правды. Вбежав в Хорог и пробежав восемь километров по его асфальтовой чистенькой улице, дорога сейчас же торопливо бежит дальше и ниже на юго-восток вдоль Пянджа по афганской границе. Только через триста километров, в Кала-и-Хумбе, она, наконец, свернет от границы на север.

Хорог — это город-набережная и город-сад. Такую особенную белизну домов, как здесь, встретишь, пожалуй, только в украинских селах. А может быть, это только так кажется после длинного пыльного Памирского тракта... Молодая яркая зелень пахнет свежестью. Свежестью тянет даже от асфальта. По главной и, в общем, единственной улице города медленно и важно едет поливальная машина...

Незадолго до этой поездки я перечел недавно переизданную книжку погибшего в 1941 году под Киевом прекрасного писателя и большого знатока этих мест, Бориса Лапина, «Повесть о стране Памир». Лапин ездил и ходил по Памиру верхом и пешком, больше тридцати лет тому назад, во времена первой всесоюзной переписи. В те времена путешествие по этим местам, ныне, в общем, несложное, было серьезным и даже рискованным предприятием. Книга Лапина очень помогает ощущать всю величину дистанции, пройденной этим краем за последние тридцать лет. Несколько страниц этой книги посвящены и Хорогу — унылому, пыльному, раскаленному поселку в скалах. Именно такую память оставил по себе у Лапина Хорог, и, очевидно, Лапин был прав. Но прав и я, говоря о сегодняшнем очаровании этого города. За тридцать лет люди победили здесь камень, сделали из Хорога город-парк и, поднимаясь в горы все выше и выше, с одной террасы на другую, создали над Хорогом, на высоте 2 300 мет-

ров, самый высокогорный в нашей стране ботанический сад.

Его директор Анатолий Валерьянович Гурский говорит— как это свойственно энтузиастам, что первые двадцать лет работы над садом — это только начало. Может быть, он и прав с точки зрения дальнейшей перспективы. Но уже теперь Хорогский ботанический сад — и превосходное научное учреждение и замечательный по своей живописности уголок. Оттуда открывается панорама всего Хорогского оазиса с его веселой зеленью садов и огородов...

Кстати сказать, если в былые времена, при куда меньшем населении и потребностях, поневоле ограниченных до предела, люди, жившие здесь, почти всецело зависели от подвоза продуктов, то сейчас, как мне говорил секретарь Хорогского горкома партии Худаназар Маматназаров, Хорог и весь окружающий район не только полностью обеспечивают себя, например, картофелем, но и часть своей хорогской картошки вывозят за пределы района, в том числе и в Сталинабад. Картофель здесь — новая культура. Если в Центральной России он появился в конце XVIII века, то здесь его стали выращивать в сороковых годах XX и за последнее время научились получать высокие урожаи. Важность этого дела нетрудно понять. Да, конечно, товары для Горно-Бадахшанской области теперь путешествуют из Оша не на вьюках, но все-таки от Оша до Хорога — одиннадцать перевалов высотою от двух с половиной до пяти тысяч метров, и еще не так давно каждой картофелине приходилось совершать это путешествие.

А как же, спросим мы, теперь везут часть этой картошки от Хорога до Сталинабада, туда ведь тоже шестьсот километров, тоже через немалые горы? Да, и это путь некороткий. Но раньше машины, проделав его до Хорога и снабдив Памир всем необходимым, шли обратно порожняком, а теперь все чаще в их кузовах оказываются обратные грузы.

Мы проехали от Оша до Хорога за трое суток. Товарищи из автомобильного треста рассказывают, что самые лучшие и азартные водители грузовых машин в летнее время, в разгар перевозок, выехав на рассвете из Оша, почти через сутки, ночью добираются с грузом

до Хорога. Услышав это, я сначала подивился мужеству и выносливости людей и подумал о них с глубоким уважением, но потом подумал и о другом: а верно ли это в принципе? Все-таки проделывать такой путь на таких высотах за одни сутки — значит работать на пределе человеческой выносливости. Конечно, случается, что необходимо именно так и поступать, но в принципе, думается, было бы вернее, заботясь о людях и их здоровье и не разрешая им выматывать себя, организовать на пути строго обязательные ночлеги для всех водителей, везущих грузы через Памир. Забота о людях требует, чтобы такой тяжелый путь проделывался не менее чем за два рабочих дня.

От Хорога к Кала-и-Хумбу дорога идет почти не отрываясь от афганской границы. Иногда, сужаясь, Пяндж оставляет между двумя берегами каких-нибудь 50 метров. По той стороне, по скалам, тоже тянется дорога от селения к селению, от пограничного поста к пограничному посту, но только там нет ни шоссе, ни столбов с электрическими, телеграфными и телефонными проводами. Это рискованная узкая тропа, иногда превращающаяся в висящий над бездной и подпертый кольями зыбкий настил. Для колес эта тропа непроезжая, на ней лишь время от времени появляются одинокие фигуры людей, ведущих в поводу лошадей или ишаков.

В районном центре Кала-и-Хумб, очень похожем на Хорог и белизной своих домов, и густотой зелени, и чистотой своих освещенных электричеством улиц, еле успев слезть с машины, пошли на литературную встречу в Дом культуры. Несмотря на поздний час — мы добирались сюда дольше, чем думали,—зал был полон. Молодежь поселка, школьники старших классов, учителя, районные работники сидели одной семьей вперемежку с пограничниками, тоже в большинстве молодежью, недавно окончившей десятилетку. Большую часть времени здесь, так же, как и всюду, где мы останавливались, мне пришлось отвечать на многочисленные вопросы о литературе. Спрашивали: кого из таджикских писателей и поэтов я читал и встречался ли я лично с Пабло Нерудой? И скоро ли выйдет роман Арагона, о котором писали в газетах? И вернулся ли Шолохов после окончания «Поднятой целины» к работе

над романом «Они сражались за родину»?.. Спрашивали о новых молодых поэтах, появившихся за последнее время, и о том, какие из них кажутся мне самыми даровитыми. Спрашивали о Литературном институте: что требуется для того, чтобы поступить туда, и есть ли там заочное отделение? Разнообразие, широта, настойчивость вопросов доставили мне глубокое удовлетворение. Больше того, я чувствовал гордость за нашу литературу и за ее читателей. Мы часто и, пожалуй, привычно ставим перед словом «читатель» эпитет «замечательный». Это и в самом деле так, и в этом наше большое счастье. Это счастье особенно остро ощущаешь, встречаясь с людьми в уголках, которые все еще остаются далекими, уже давно перестав быть глухими.

Ночью, после встречи в клубе, второй секретарь райкома Николай Иванович Колягин и председатель райисполкома Мирзомутин Садуллаев рассказывали нам о делах района, о том, что обязательство по шелку уже выполнено и есть надежда и в этом году не отдать переходящее знамя республики. Мы сидели в маленьком кабинетике секретаря райкома, а знамя, о котором шла речь, стояло в углу, поблескивая золотым шитьем на скромном трудовом гербе нашей Родины.

— Между прочим,— сказал секретарь райкома,— в тридцатых годах здесь, у нас в районе, был Юлиус Фучик!

Я ответил, что знаю об этом.

— А я расскажу вам то, что вы, наверное, не знаете: именем Фучика в свое время был назван один наш колхоз. Недавно он объединился с другим. Но, хотя тот, другой, был более крупным, все же на общем собрании было принято решение: оставить за объединенным колхозом имя Фучика.

«Ну что ж,— подумал я, потом ночью, оставшись один,— помимо того, что это вообще хорошее решение, оно особенно понятно здесь, на границе. Человек, закончивший свою посмертную и бессмертную книгу словами: «Люди, я любил вас, будьте бдительны!»,— вправе рассчитывать на прочную память везде, а здесь, пожалуй, в особенности».

За водами Пянджа — дружественный Афганистан. Но и на этой границе бдительность пока еще никак не может быть причислена к отмирающим понятиям. Шпионы в наше время не пренебрегают самыми окольными путями. И порой они норовят путешествовать к нам транзитом через территорию именно тех стран, с которыми у нас дружественные отношения и спокойные границы. Это касается и земли и в особенности неба...

Сейчас наше пограничье — это не только зеленые фуражки, не только заставы и дозоры на пограничной полосе, но и дозоры радиолокационных установок, на больших высотах щупающих пограничное небо.

Если скажу, что за двухтысячекилометровый путь по горам Памира мы несколько раз на различных высокогорных точках встречались с нашими воздушными пограничниками — радиолокаторщиками,— то, думаю, я не нарушу этим военной тайны.

Нарушители наших воздушных границ и раньше, очевидно, догадывались о том, что мы зорко наблюдаем за беспокойным здешним небом, а после первомайского эпизода с Пауэрсом у них не осталось в этом никаких сомнений.

На одной точке, где мы были во время беседы на литературные темы, продолжавшейся вряд ли дольше часа, некоторые из участников ее дважды вынуждены были по команде «воздух» возвращаться к исполнению своих прямых обязанностей. В это утро самолеты, не имеющие никакого отношения ни к китайским, ни к афганским воздушным силам, нарушив воздушное пространство Китая и Афганистана, на больших высотах шлялись взад и вперед вдоль линии нашей границы. Правда, в это утро они не пробовали пересекать ее: очевидно, воспоминания о неудачном первомайском визите слишком сильны в их памяти.

Радиолокаторщики — молодые, образованные ребята, культурные, великолепно владеющие доверенной им первоклассной техникой,— живут здесь в суровых, трудных условиях, во многом похожих на условия дальних зимовок. Их нелегкий образ жизни, а главное, их труд — напряженный, бессонный, полный ежечасной, самой высокой, какую только можно себе представить, ответственности за судьбу миллионов людей,—

заслуживает того, чтобы описать его во всех подробностях.

Однако сделать это сейчас, очевидно, невозможно: подробности их жизни и труда пока что принадлежат к числу военных тайн. Но хочется помечтать: через какое-то количество лет это станет возможным. Хочется верить, что рано или поздно разум восторжествует, программа полного и всеобщего разоружения, предложенная нашей страной, будет принята и в конце концов осуществлена. И тогда, быть может, в нашей литературе появятся уже к тому времени обращенные в прошлое, романтические страницы, посвященные трудной работе этих воздушных часовых мира, в тревожные шестидесятые годы, предшествовавшие великой эре разоружения...

Рано утром, перед отъездом из Кала-и-Хумба, районные руководители водили нас по своему маленькому городку, показывали построенное за последние годы и делились планами на будущее.

— Вот эту хибару на углу, где сейчас районное отделение банка, мы к осени снесем и поставим здесь здание библиотеки. А вот здесь думаем возвести методом народной стройки восьмиквартирный жилой дом — три уже закончили в этом году, это будет четвертый. А вот это здание нам уступили пограничники, и теперь сами же помогают нам перестроить его под интернат. В нем будет два крыла — для мальчиков и девочек. Предрассудки еще делают свое дело. В прошлом году в наш первый маленький интернат мальчиков из окрестных кишлаков отправляли охотно, а девочек с большими колебаниями. Но в этом году, надеемся, в интернате будет не меньше сорока процентов девочек. Старики приезжали из кишлаков своими глазами смотреть, как мы тут все устраиваем, и, кажется, остались довольны. Во всяком случае, обещали свою поддержку перед лицом колеблющихся родителей...

Маленький городок строится и перестраивается, живет большими планами на будущее точно так же, как и тысячи других городов и городков нашей страны. Разница, пожалуй, только в одном. О том, что делается в других городах и городках, мы пишем в газетах, иногда посмотреть на это приезжают из-за рубежа туристы. А здесь рубеж рядом. Городок лежит в горном

котловане, прямо напротив него — на том берегу Пянджа — большая пологая гора, с верхушки которой можно смотреть на Кала-и-Хумб, как с верхнего ряда трибун стадиона «Динамо» на футбольное поле. Иногда гора превращается в своего рода трибуну — в дни демонстраций и праздников сотни афганцев, забравшись на свою гору, смотрят, что происходит внизу, в Кала-и-Хумбе.

Ну что ж, очень хорошо, пусть смотрят и в праздники и в будни!

Маленький пограничный городок живет мирной, созидательной жизнью — сносит хибарки, строит и перестраивает дома, создает интернаты, открывает библиотеки, асфальтирует улицы; дети идут в школу, старики сидят в чайхане, построенной вокруг громадного векового платана; пограничники, вернувшись из наряда, помогают строить интернат...

До свидания, Кала-и-Хумб!

июнь 1960 г.



Письмо господину Уиксу

Дорогой господин Уикс!

Прошлым летом, когда мы разговаривали у меня за столом с Вами и Вашими коллегами, гостившими в Москве по приглашению нашего Союза писателей, я обещал Вам написать статью для специального номера Вашего журнала «Атлантик Мoксли». Помнится, речь шла о том, что это будет написано, скорее всего, в виде открытого письма Вам, как редактору, что написано это будет из Ташкента, где последние два года я живу большую часть времени, и что, быть может, темой этого письма будет объяснение того, почему я пишу его Вам именно из Ташкента.

Если то, что я Вам посылаю, покажется Вам недостаточно интересным для преподнесения читателям Вашего журнала, будем считать, что я просто подробно ответил лично Вам на дружеский вопрос, заданный мне в Москве.

Итак, дорогой господин редактор, я пишу Вам из Ташкента. На улице...— сейчас пойду посмотрю на термометр...— 2° ниже нуля. Вчера шел снег и дождь, се-

годня идет только снег. А, впрочем, в прошлое воскресенье я ходил по городу в одном костюме, потому что было 18° тепла по Цельсию (пишу «по Цельсию», потому что с детства помню, что есть еще какой-то коварный Фаренгейт, из-за которого, читая книги о путешествиях, я долго считал, что есть мужественные люди, выдерживающие на своей шкуре все, что угодно — от точки кипения до абсолютного нуля). Зима в Ташкенте переменчивая, температура скачет как ей вздумается, в конце концов, редкий день обходится без солнца, которое и зимой бьет с неба, как палка; в общем, мне нравится здешняя короткая зима. Нравится она и моим двум дочерям: плохо ли выйдя утром в шубе и варежках, не оставлять надежды в середине дня, если погода разгуляется, бегать по улице в одном свитере!

Дом, в котором я живу, выстроен недавно — два года назад; я и мой сосед — первые жильцы в нем,— и стоит он довольно любопытно. Из моего кабинета на втором этаже в окно виден асфальт широкой улицы с трамваями, автобусами и потоком машин. Напротив, через улицу,— здание громадной новой типографии, которая, впрочем, уже задыхается от избытка работы. В Ташкенте несколько издательств, выходит очень много книг и на русском и на узбекском языках, и, когда ко всему этому летом прибавляются миллионы экземпляров учебников, прочие рукописи выстраиваются в издательствах в затылок друг другу.

Однако, если я скажу только про широкую улицу с автобусами и с типографией напротив, это будет неполная картина того, что я вижу. Дело в том, что я живу в так называемом «старом городе». В былое время Ташкент делился на старую, азиатскую, часть и новую — русскую. Сейчас эта старая «азиатская» часть города представляет собой интересное зрелище. Самые большие магистрали прорублены на много километров как раз через нее; причем, по некоторым из них с одной стороны тянутся современные дома, а с другой — прямо на асфальт, как морской прилив, выплескиваются глинобитные стены и заборы старых азиатских домиков и домишек.

Наша улица, которая потому, что на ней стоит типография, называется Полиграфической, тоже проруб-

лена всего несколько лет назад; ее противоположная сторона, в общем, уже вся застроена новыми домами. А на нашей стороне дело еще далеко не закончено. Дом, где я живу, стоит в глубине; в глубине стоит и другой новый дом, немного правее нашего. Предполагается, что здесь вдоль улицы протянется бульвар, будут тротуары. Но это только предполагается, а пока — не тут-то было! Между этими двумя новыми домами, прямо к трамвайной линии выходит большой глинобитный забор и стена старого, тоже глинобитного, дома. За забором несколько громадных абрикосовых деревьев, и хозяин всего этого — старик, родившийся на этой улице и не особенно склонный уезжать отсюда в связи с реконструкцией города. Из-за его вылезающего к трамвайной линии двора на протяжении 200 метров нет ни бульвара, ни тротуаров. Прямая линия никак не получается, и у планировщиков, градостроителей, очевидно, душа болит по этому поводу. Но старик, поскольку его хотят переселить, по закону, имеет право выбрать другой земельный участок по своему вкусу, получить ссуду, построить там дом и лишь потом переехать. И мой сосед справа не спешит; сначала он пересмотрел с десяток разных участков, и все ему не понравились. На это ушло года два. Теперь наконец он выбрал участок и, говорят, начал строиться. Иногда, проходя мимо его дома, я встречаюсь с ним. Судя по его виду, он по-прежнему не торопится...

А из левого окна моего кабинета виден старый город, со всей той путаницей, которую внесло в него время. Глинобитные домишки и встроенные между ними новенькие кирпичные коттеджи; улицы, залитые асфальтом, но извивающиеся при этом, как змея, которая сама забыла, где у нее голова и где хвост; их покрытие рассчитано на десятитонные грузовики, а ширина — на двух с трудом разъезжающихся ишаков. (Кстати, недавно принято очередное постановление об окончательном выселении этих животных из пределов Ташкента, но среди пожилых ишаков есть такие, что на своем веку читали уже не одно подобное постановление и, боюсь, что они выезжают теперь из города с надеждой возвратиться при первом удобном случае.)

Во дворах домов стоят похожие на древние метательные снаряды круглые глиняные печи для печения

узбекских лепешек — «тандыры», а в других дворах (а иногда и в тех же самых) стоят красные баллоны для газовых кухонь. Сейчас здесь по домам пока еще развозят заводской газ. Природный газ из Бухары обещают дотянуть до Ташкента весной. Осенью я видел в Самарканде, как там торжественно зажигали газовый факел по соседству с могилой Тамерлана. Сейчас, зимой, газ тянут как раз через так называемые «Ворота Тамерлана» — узкое ущелье между Самаркандом и Ташкентом, где, по преданию, некогда висели железные ворота, закрывавшие вход в самаркандские владения Тамерлана. Будущим летом или осенью красные баллоны, очевидно, исчезнут из дворов старого города...

Кстати, в кишлаках Ферганской долины сейчас можно наблюдать любопытное зрелище. Временные газораспределительные линии идут вдоль улиц по глиняным дувалам — деревенским заборам. Трубки с газом — с краниками на конце — подведены во дворах прямо к старинным «тандырам», где пекут лепешки. Обычно женщины пекут лепешки на традиционном топливе пустыни — саксауле, но даже старухи говорят — а им надо верить,— что на газе лепешки получаются ничуть не хуже.

А что же все-таки самое заметное в старом городе, если возвратиться к нему? Самое заметное — зелень. Каждый глиняный двор старого города напоминает горшок, набитый зеленью так, что она лезет во все стороны за его стенки. В каждом дворе — виноград, абрикосы, персики — ровно столько зелени, сколько только может влезть. Сейчас зима, и это не так очевидно; над заснеженными крышами торчит только густой лес голых веток. Но в марте все это будет розовым от цветения, в апреле — зеленым, а в июле будет казаться, что все эти глиняные заборы вот-вот лопнут от напора зелени.

Наша семья, между прочим, не выдержала. Кругом зелень — а мы что же? И на маленьком, огороженном кирпичным забором пустыре позади нашего дома, когда остававшийся после строительства мусор был вывезен, земля была перекопана и посажены деревья: две груши, две черешни, три персика, два абрикоса, два сиреневых куста, двадцать кустов роз — это из много-

летних; ну и разные быстро прущие вверх здесь, на юге, однолетние цветы и растения, включая касторку, подсолнечник и кукурузу. В общем, к июню прошлого года дворик у нас был уже зеленый. А на одном дереве было даже 15 штук абрикосов (впрочем, жена говорит, что я, как всегда, преувеличиваю). Кроме того, у нас во дворе, как и во многих дворах старого города, есть маленький бассейн, или, как говорят здесь, «хауз». Здесь любят воду и понимают в ней толк, умеют в жару всегда найти такое место над водой или около воды, чтобы было хоть чуть-чуть попрохладнее, чем во всех других местах. Именно там и пьют чай, там и готовят плов. Причем, если это опытные люди, то непременно ухитрятся так усесться, чтобы хоть с какой-то стороны продувало. На этот счет есть даже специальное узбекское выражение: «найти ветерок».

Вот и мы вырыли у себя во дворе такой хауз, выложили его кирпичом, обмазали цементом. Но так как моя младшая дочь — человек крайне недисциплинированный, то хауз пришлось сделать неглубоким. Когда мы его делали, то я сначала посадил ее на землю и смерил сантиметром — сколько будет от земли до ее подбородка, так, чтобы она не могла захлебнуться даже сидя. По этой мерке мы и вырыли хауз. Но с тех пор дочь здорово выросла, и теперь мы, пожалуй, сможем углубить хауз еще сантиметров на десять.

Кстати, то, что я пишу, имеет отношение к Вашему вопросу, мой дорогой редактор. Помимо всего прочего, мне нравится здесь жить потому, что, хотя я, в общем, довольно много сижу за письменным столом и много езжу, у меня остается здесь время и для того, чтобы заниматься такими вещами, как этот хауз и абрикосы. Вещи, конечно, несерьезные, но, когда человек утрачивает способность выкраивать на них время, это довольно серьезно портит его жизнь.

На этом сегодня придется остановиться. Мне надо пойти на торжественный юбилейный вечер, посвященный столетию со дня рождения Антона Павловича Чехова. Передо мной на столе лежат билеты на этот вечер, напечатанные на двух языках — узбекском и русском. Юбилейное заседание, а потом и концерт будут идти также на двух языках, будут выступать и узбекские и русские писатели и актеры. То же самое проис-

ходит и по телевидению: в эти дни, перед юбилеем, особенно много читают и играют Чехова — и то и другое на обоих языках. Позавчера была передача из театра: «Дядя Ваня» на узбекском языке. Надо сказать, Чехов, пожалуй, самый популярный в Узбекистане русский классик. Не знаю, больше ли всего его переводили, но, во всяком случае, его больше всего читают на узбекском языке. Узбеки очень любят и очень тонко чувствуют юмор, и чеховский мудрый юмор пришелся им по душе. Причем Чехова знает не только узбекская интеллигенция в городе — его знает и узбекская деревня. Один из наиболее даровитых современных прозаиков Узбекистана, Абдулла Каххар, считает себя последователем Чехова — и не только считает, а это и действительно так. Причем чеховские интонации через рассказы Каххара как-то очень органично вошли в узбекскую литературу. Сегодня Каххар будет тоже выступать на чеховском юбилее, не знаю, на каком языке: на узбекском или русском,— он пишет только по-узбекски, но отлично владеет обоими.

...Продолжаю письмо. На чеховский вечер я не попал. Подвела память: забыл, что у меня на вчера было уже давно назначено важное для меня свидание. Человек, с которым мы условились, пришел, и мы проговорили с ним целый вечер. Зовут этого человека Алексей Степанович С... Он инженер с завода, выпускающего текстильные машины. Кстати (этот однообразный оборот «кстати» я, очевидно, еще не раз буду употреблять, потому что мне то и дело попутно хочется рассказать Вам то об одном, то о другом), этот ташкентский завод сейчас экспортирует свои машины в полтора десятка стран Азии, Африки и Европы. Это кажется особенно примечательным, если от времени до времени читать различные книжки о Туркестане, выходившие в начале нынешнего века. В представлении писавших книжки (и отнюдь не самых глупых) царских чиновников будущее (в том числе и отдаленное) всей Средней Азии рисовалось исключительно как колониальное будущее. Если в этих книжках и шли дебаты, то они касались только одного вопроса: какими методами продолжать колониальную политику — более передовыми или более отсталыми? Последняя книжка, что я проглядел, была книжка некоего Лыкошина

«Полжизни в Туркестане. Очерки быта туземного населения». В этой книжке, вышедшей в Петрограде в январе 1917 года, среди пятидесяти ее глав, написанных на самые разные темы, нет ни одной, в которой бы рассматривалась проблема современного состояния или будущего развития промышленности. Автору толстой книги, рассматривавшему все стороны жизни Туркестана, просто не пришло в голову заниматься этим. Наверное, у него полезли бы глаза на лоб, если бы ему сказали, что через 40 лет ташкентские текстильные машины будут экспортироваться в Прагу и Дрезден.

Два месяца назад я выступал на этом заводе в клубе — временном, нового еще не построили,— не особенно теплом и не особенно просторном, но понравившемся мне в тот день тем, что все его 600 мест были заняты. Люди пришли в клуб после восьмичасового рабочего дня (завод еще не перешел на семичасовой), надо полагать порядочно усталые, одетые в пальто и куртки, потому что день был осенний, ненастный, а в клубе, повторяю, было холодно. И тем не менее они два с лишним часа слушали сначала чтение стихов, а потом рассказ о моей писательской работе и о том, над чем работают сейчас другие писатели; о каждом из них спрашивали записками, и я отвечал не столько по своему выбору, сколько по выбору аудитории. Для объективности хочу оговориться, что я не слишком блестящий рассказчик и уж, во всяком случае, не принадлежу к числу ораторов, способных зажечь аудиторию. Собравшихся просто интересовало существо тех литературных вопросов, о которых я говорил. Не буду скрывать от Вас, меня это радует.

Это не образцовый громадный московский завод с великолепным Домом культуры, с установившейся традицией приглашения разных литературных и артистических знаменитостей. Это — средних масштабов ташкентское предприятие. И вот на этом предприятии 600 человек рабочих приходят после трудового дня в неуютное, похожее на барак, холодное помещение, которое они сами поругивают, для того, чтобы послушать писателя. Мне это доставляет удовольствие, мне приятно за людей своей профессии. Мне приятно также и за людей других профессий — токарей, слесарей, фрезеровщиков, кузнецов, литейщиков, сидящих в этом зале

и интересующихся тем, что по старым меркам, казалось бы, вовсе не входит в круг их интересов.

Во время этой встречи я рассказывал, что заканчиваю работу над романом о боях под Москвой в тяжелом для нас 1941 году. В завязавшемся вокруг этого разговоре выяснилось, что несколько старых рабочих завода горячо рекомендуют мне не быть однобоким. Они считают, что написать о 1941 годе на фронте — значит сделать только полдела. По их мнению, писатели должны написать, и написать поскорее, пока еще есть живые участники, о том, как летом и осенью 1941 года промышленность Украины и Западной и Южной России поднялась с насиженных мест и под носом у немцев, в обстановке неслыханных трудностей и лишений переехала на Восток — на Волгу, Урал, в Сибирь, сюда, в Среднюю Азию. Без этого, говорили они, нам бы не видеть победы, как своих ушей! Соглашаясь, что вообще-то они правы, я отшутился в отношении себя, что мой роман переделывать уже поздно, он почти закончен. Потом добавил, что чаще пишу о том, что видел своими глазами, а во время войны в тылу не был. Однако в ответ на это я услышал, что мне не грех было бы изучить и то, чего я не видел своими глазами.

Должен заметить, что на таких встречах с читателями у нас можно услышать суждения и верные и порой неверные, но почти всегда высказанные с той дружеской категорической прямотой, за которой стоит неподдельная заинтересованность в деле, которое ты делаешь. Этому можно порадоваться, даже когда ты с чем-то и не согласен. Мне нравится тон, которым у нас разговаривают читатели с писателями: мол, мы пришли тебя послушать, но ведь и ты пришел к нам! Так изволь послушать и то, что говорим мы! Тон демократический, на равную, без излишнего пиитета. У нас в стране в психологию людей въелось чувство ответственности каждого перед всеми за то дело, которое он делает. И из этого общего правила для писателей тоже не делают исключения.

В тот вечер я все-таки отшутился, тем более что еще был по горло занят романом. Но потом, когда роман был дописан до точки и наступила та приятная в нашей работе пауза, когда одно дело кончено, а другое еще не начато, я вдруг подумал: а что если эти мои

друзья на заводе в тот вечер были правы? И не только вообще, но и по отношению ко мне лично? Я почувствовал, что хотя и собираюсь писать свой следующий роман тоже о фронте, но мне тем не менее очень хочется подробнейшим образом расспросить людей, которые осенью и зимой 1941 года эвакуировали с запада на восток огромную промышленность и через 20, 30, 50 суток после того, как сгрузили машины и станки, уже начали выпускать на них военную продукцию. Пусть моя книга снова будет только о фронте — все равно мне будет полезно и даже необходимо знать, по рассказам живых людей, что в это время происходило в тылу. Я даже задним числом подумал, что, быть может, мне не хватало этого знания, когда я писал свой предыдущий роман о 1941 годе. Если бы я это знал, наверное, к моему общему ощущению войны прибавилось бы еще что-то такое, что не высосешь из собственного пальца. С этими мыслями я пришел на завод, в комитет профсоюза, и вот уже три недели не вылезаю с завода, даже обзавелся постоянным пропуском. Впереди работы еще месяца на полтора. Не считая тех, о ком я уже говорил, в тетрадках записано еще около тридцати имен людей, чьи рассказы стоит записать.

Алексей Степанович С., который приходил ко мне вчера вечером, оказался как раз тем человеком, который помог мне в начале моей работы. Он был одним из тех, кто демонтировал завод на берегу Азовского моря, когда немцы были уже на окраинах города; он вез эшелоны через Кавказ, Каспийское море и Каракумы в Ташкент; он был одним из тех, кто на сороковой день после приезда в Ташкент сдал военному приемщику первую военную продукцию завода, до войны делавшего косилки и жатки. Его цепкая память держала в себе сотни фамилий и обстоятельств: он помнил, кто с каким эшелоном приехал, и кто и где сейчас работает, и кто и когда умер, не дожив до победы, в те тяжкие, косившие людей прямо у станков военные годы. Он свел меня с десятками людей, но все откладывал и откладывал разговор о самом себе. Он состоялся только вчера и вышел таким долгим, что у меня после записей до сих пор поламывает руку.

Среди многого другого он рассказал мне о том, как, уже давно отправив семью и наконец погрузив послед-

ний станок, он за час до отъезда зашел в свою пустую квартиру. Немцы были у окраин города, но теплоцентраль работала, в квартире было светло, чисто и невероятно душно. И в этой чистой, новенькой, только недавно полученной и обставленной квартирке молодого инженера, в ее натертых полах и душном воздухе была такая непоправимость случившегося, что, не использовав даже тех десяти минут, что у него были, не взяв даже того, что собирался взять, он выбежал и с пустыми руками пошел через вымерший город на товарную станцию к своему последнему эшелону. Я не пробую сейчас передать того чувства, о котором рассказал мне этот человек. Я лишь намекаю на него. А рассказал он так, и лицо у него при этом было такое, что, кажется, я теперь знаю, как мне написать, если придется где-то писать, это последнее свидание с брошенным домом...

Конечно, пережив войну, я не в первый раз слышу рассказы об этом, но бывает и так, что слушаешь сто рассказов, а почувствуешь что-то на сто первом...

Сегодня я опять поеду на завод, у меня там свидание с пенсионером — токарем-инструментальщиком, виртуозом своего дела, из тех, что в былые времена назывались «рабочей аристократией». При первой встрече, когда мы договаривались о будущем свидании, он показался мне человеком суховатым, колючим и даже едким, особенно склонным замечать человеческие слабости. Интересно, как он расскажет мне об эвакуации...

Кстати сказать, при заводе есть Совет пенсионеров, в него входят люди, наиболее долго проработавшие на заводе и снискавшие за это время наибольшее уважение,— старые рабочие, инженеры. Совет занимается не только своими пенсионерскими делами, он имеет влияние и на некоторые заводские дела. Без этих людей, например, не обходится ни одна беседа со вновь приходящей на завод молодежью. Старики состоят как непременные члены в заводской квартирной комиссии. При том жилищном кризисе, который все еще мучает нас и только-только начинает рассасываться, заводская квартирная комиссия — важное дело. Она должна, не считаясь ни с напористыми характерами и громкими голосами, ни с дружеской протекцией, ни с разными поддерживающими то или иное ходатайство бумажками, выяснять, у кого на самом деле самое плохое по-

ложение с жильем, кому надо дать его в первую очередь. Тут старики незаменимы: они знают на заводе всех и вся, их трудно надуть и обвести вокруг пальца. А с другой стороны, такая общественно полезная работа поддерживает и их собственный дух. Человеку полезно чувствовать себя нужным, и чувство это отнюдь не слабеет к старости.

Итак, я уже три недели безвыездно сижу в Ташкенте и, наверное, еще месяца полтора никуда не поеду.

Такой образ жизни не вполне привычен для меня. До сих пор я здесь, в Средней Азии, гораздо больше ездил, чем сидел на месте, и думаю, закончив свои беседы на заводе, снова вернуться именно к этому образу жизни.

Мы встречались с Вами в августе, и почти тогда же, в конце августа, я вернулся сюда из Москвы. С тех пор я довольно много ездил: четыре раза был сравнительно неподалеку от Ташкента — в Голодной степи и примыкающих к ней районах. Потом проехал на машине через Самарканд в древнюю Бухару, внутри которой сто старых медресе и вокруг которой четыреста миллиардов кубометров вновь открытого газа. Потом летал в древнюю Хиву — последнее здешнее феодальное ханство, окончательно ликвидированное только в двадцатые годы. Потом отправился в расположенную на северо-западе Узбекистана автономную республику Кара-Калпакию и из ее столицы — еще не так давно не существовавшего на карте чистенького, беленького городка Нукуса — летал и ездил в разные стороны.

Кара-Калпакия — только часть Узбекистана, который, в свою очередь, только часть Средней Азии, но и внутри Кара-Калпакии расстояния порядочные — более пятисот километров с запада на восток и столько же с юга на север. Сначала я поехал на север, в совхозы, возделывающие хлопок на самой северной границе его распространения. Это было в самом начале октября, и сейчас, когда я пишу Вам, мне невольно вспоминается, как человек триста студентов, приехавших из Нукуса помогать на уборке хлопка, после работы, глубокой ночью разговаривали со мной о том, что их больше всего волновало,— о только что закончившейся поезд-

ке советского премьера в Америку. Эта беседа происходила в одном из самых глухих уголков Средней Азии, в двухстах километрах от ближайшей железной дороги. Из трехсот студентов по крайней мере двести были каракалпаки, закончившие высшее образование на своем родном языке, не так давно не имевшем письменности.

После поездки на север я переправился через Аму-Дарью и на границе Кара-Калпакии и Туркмении осмотрел затерянные в песках знаменитые развалины Куня-Ургенча. В этих песках археологическая экспедиция академика Толстова нашла остатки неведомого прежде древнего Хорезмского государства. Сейчас эти изыскания все продолжаются и продолжаются, и рядом с торчащими из песка минаретами и развалинами Куня-Ургенча ворчат и ревут вездеходы экспедиции. Здесь, на границе зыбучих песков, расположена ее главная автомобильная база.

Летал я из Нукуса и на северо-запад — это уже в другой раз, специально для этого приехав сюда. Моей конечной целью было Аральское море, остров Муйнак, где живут рыбаки и ондатроловы. На Муйнак стоит слетать, хотя бы только ради того, что увидишь по дороге с самолета. Целый час под крылом тянется необозримая, заросшая камышом дельта реки Аму-Дарьи, с водными дорогами и тропинками, с кое-где попадающимися на разводьях воды лодками рыбаков и охотников, с камышами высотой в пять метров и с таким обилием рыбы, птицы и зверя, что заядлые охотники и рыбаки, случается, летают сюда из Европейской России. Здесь говорят, что дельта Аму-Дарьи вдвое больше, чем дельта Волги, и даже больше, чем дельта Нила. Не ручаюсь за точность этих утверждений, но ручаюсь, что это — зрелище, на которое стоит посмотреть.

Сам Муйнак — остров, отделенный от суши неширокой полоской слабопосоленной аральской воды. Остров сверху по форме похож на лежащего тигра, а оканчивающаяся его длинная, узкая, крючком загибающаяся на конце коса так и называется Тигриный хвост. Муйнакские рыбаки ловят судака, щуку, леща, сазана и знаменитого аральского усача. Его тут же вялят и коптят в рыбокоптильнях, и любому человеку, который тут побывал, трудно удержаться, чтобы не повезти от-

сюда с собой парочку этих почти метровых нежнопровяленных зверей. В Ташкентском аэропорту, даже не слушая радио, можно догадаться о прибытии самолета с Аральского моря: пассажиры идут, держа в руках длинные свертки, из которых торчат рыбьи хвосты. Это аральские усачи. И про пассажиров с этого рейса в Ташкентском аэропорту тоже в шутку говорят: усачи прилетели!

Кроме рыбы, на Муйнаке ловят ондатру, вашего американского зверька, который прекрасно акклиматизировался в заросшей камышом дельте Аму-Дарьи. Я был на Муйнаке в середине октября, как раз в разгар ондатрового лова, когда на целое государственное хозяйство, занимающееся промыслом, в конторе оставалось всего два человека: кладовщик и бухгалтер. Все остальные, включая директора и его заместителей, сидели каждый на своем излюбленном местечке в прибрежных камышах, разбросанных на сотню километров в одну и на сотню километров в другую сторону от центра промысла, и ловили в капканы ондатру. Я несколько дней ездил на баркасе и моторке по этим камышам, от одного ондатролова к другому. В разгар сезона ондатру тут ловят больше тысячи человек одновременно. Но все это разбросано на таком громадном пространстве, что от одного охотника до другого, от шалаша до шалаша добраться не так-то просто. Один раз моторист нашей лодки, уж, казалось бы, как свои пять пальцев знавший здесь каждую водную тропинку в камышах, все-таки заблудился, и мы полдня крутились вокруг да около того охотника, которого искали, даже слышали раза два или три человеческие голоса, но опять теряли водную тропинку и уходили в сторону. В конце концов благоразумие взяло верх над самолюбием — пришлось стрелять из ружья, давать о себе знать.

А следующая поездка была у меня в Туркмению. Сначала я был на севере — в Ташаузе, на северном краю пересекающих всю Туркмению Каракумов. В конце ноября мы ездили там по хорошему, крепкому морозцу — климат в тех краях жесткий, резкоконтинентальный.

А потом, перелетев через центральные Каракумы, мы попали в столицу Туркмении, в еще зеленый в это

время солнечный Ашхабад. А оттуда вместе с председателем одного пригородного колхоза опять поехали в Каракумы, к скотоводам этого колхоза. Ехали на вездеходах по пескам, кое-где застревали, но в конце концов выбирались. Чтобы добраться до ближних отар овец, нам понадобился день езды на машине, а дальние отары были еще дальше — до одних нужно было добираться еще сутки, до других — двое.

Я сказал: «пригородный колхоз». Но в Туркмении это понятие растяжимое. После грозного землетрясения 1948 года Ашхабад был выстроен заново. Сейчас это самая новая и, на мой взгляд, самая обаятельная из столиц Средней Азии.

Город вышел далеко за свою прежнюю городскую черту, и домик председателя колхоза, да и дома многих колхозников оказались сейчас среди городских улиц. Огороды колхоза (он снабжает овощами весь Ашхабад) — под самым городом. Большая, полностью механизированная птицеферма на несколько десятков тысяч голов птицы — в двадцати километрах от города. А дальние отары принадлежащих колхозу овец — в трехстах и даже в четырехстах километрах!

Между прочим, когда я спросил у этого председателя колхоза, кем он работал раньше, оказалось, что он семь лет назад работал в Академии наук. Экономист по образованию, он долго был научным сотрудником в Институте экономики. Потом надоело, перешел с теории на практику, и теперь уже восьмой год председательствует в колхозе, который стал за это время большим, даже огромным хозяйством. Только работников с высшим образованием — агрономов, зоотехников, ветеринаров, врачей — в колхозе около двадцати (не считая учителей в пяти школах, разбросанных на обширной территории колхоза).

Во всех этих поездках я провел немало времени и говорил со многими и очень разными людьми — с агрономами и председателями колхозов, со счетоводами и бухгалтерами, чабанами и зоотехниками, с учителями сельских школ и врачами, с рыбаками и рабочими консервных и хлопкоочистительных заводов, с шоферами и экскаваторщиками, с водителями хлопкоуборочных

машин и с каменщиками, выкладывающими дома в центре Голодной степи, где до ближайшего дома, уже накрытого крышей, иногда десятки километров. Некоторые из этих разговоров занесены в записные книжки, которые остались в памяти; бывали и такие, которых нет нужды сохранять ни там, ни тут. Не буду преувеличивать: не каждая поездка одинаково интересна, не каждый разговор одинаково плодотворен. Но при всем том картина страны, возникающая после таких поездок, картина ее жизни — энергичной, бурной, полной трудностей и борьбы, не может возникнуть у писателя умозрительно, только при помощи чтения газет на дому и самоуверений в том, что у тебя, слава богу, и без новых поездок достаточно большой и достаточно старый жизненный опыт. Не верю я и в ленивый оптимизм, удовлетворяющийся общими соображениями о том, что мы идем вперед и у нас повсюду делаются большие дела. Все это так, мы действительно идем вперед, и дела делаются немалые, но для того, чтобы почувствовать это своей писательской шкурой, надо это видеть своими глазами, надо слышать разговоры об этом из первых уст, в их многократных повторениях, в их совпадениях и несовпадениях, надо слышать не только рассказы людей, но и их споры между собой, и лучше всего в те часы и минуты, когда им нет дела до тебя.

Я не хочу уверять Вас в том, насколько все это интересно. Пойду от обратного, сказав Вам с полным ручательством за свои слова, что без всего этого мне было бы очень неинтересно жить.

Между прочим, хотя я и написал за последние полтора года небольшую книжечку очерков и, видимо, скоро выпущу вторую (на весну и лето у меня большая программа поездок), но должен честно сознаться — очерки эти даются мне нелегко. Когда я возвращаюсь из поездки и сгоряча отдиктовываю машинистке или стенографистке все, что у меня конспективно записано в записных книжках, со всеми дополнениями, оставшимися в памяти, меня на некоторое время самого завораживает эта клочковатая, путаная дневниковая запись всего, что я видел, слышал и о чем подумал. И хотя я понимаю, что все это сделано только для собственного употребления, для будущей работы, но мне почему-то

еще долго бывает жаль превращать все это в организованный очерк, выстраивать свои нескладные записи в нечто более или менее логическое и годное для всеобщего прочтения. В итоге сплошь и рядом случается так, что, пока я колеблюсь и вожусь, время, отведенное для написания очерка, проходит, надвигается следующая поездка, и я снова еду, так и оставив все предыдущее в виде рабочих заготовок. Они, конечно, не пропадут, пригодятся мне как писателю, но как журналист я часто и не без оснований ругаю себя за потерю той профессиональной расторопности, которая когда-то, в молодости, была мне отнюдь не чужда.

Я сказал о планах на весну и лето. Главный из них — побывать на второй очереди строительства канала через Южные Каракумы, если позволит погода и обстоятельства, проехать через Центральные Каракумы на машине и тоже на машине проехать по Памиру. Если я выполню это, у меня, если сложить те поездки, которые я Вам вкратце назвал, те два десятка поездок, которые были у меня еще до этого по Узбекистану, Киргизии и Туркмении, и те поездки, что я собираюсь сделать,— в итоге составится хотя бы самое общее представление о том, что такое наша Средняя Азия.

Осенью, пробыв здесь два с лишним года, я вместе с семьей вернусь в Москву. Наверное, это будет даже еще в конце августа; старшей дочери, в позапрошлом году пошедшей в первый класс здесь, в Ташкенте, надо до первого сентября перевестись в третий класс какой-нибудь из московских школ.

Когда я уезжал, я думал пробыть здесь полтора-два года, но пробуду несколько больше, потому что как-то так вышло, что все планы и намерения, связанные с моей работой в Ташкенте и с моими поездками по Средней Азии, не уложились в тот срок, который вначале мне казался достаточным. Жена моя (она по профессии искусствовед и здесь, в Ташкенте, эти годы работает в Институте искусствознания Узбекской Академии наук) тоже только летом кончит собирать материалы о среднеазиатской керамике для книжки, которую она собирается писать будущей осенью.

Между прочим, эта керамика соблазнила и меня. В Узбекистане удивительная народная керамика, и я во время своих поездок чем дальше, тем больше заинте-

ресовывался ею. Даже думаю теперь, весной, среди других поездок совершить одну, специальную — к нескольким гончарам в разных далеких уголках Узбекистана, куда я по тем или иным причинам до сих пор не попал. Я интересовался не стариной, я ездил только в те деревни, где гончары сейчас по-прежнему делают свои «ляганы» для плова, «косы» для узбекского супа — «шурпы», «пиалы» — для зеленого чая. Сейчас наша квартира в Ташкенте загромождена образцами этих работ. Когда все это собралось вместе (а собрано еще далеко не все), то я сам порадовался своему богатству (в художественном смысле слова, разумеется, потому что почти любая из этих изумительных глиняных тарелок стоит всего несколько рублей). Я, наверное, тоже буду писать об этих тарелках, чашках и пиалах не книгу, конечно,— я не специалист, а просто статью с хорошими фотографиями в качестве доказательства — для какого-нибудь журнала, где бы ее прочло побольше людей. Народное искусство керамики нуждается здесь, в Средней Азии, во внимании и поддержке. У многих старых мастеров нет учеников, у других нет достаточно хороших красок, третьи живут в таком отдалении от всяких центров, что образцы их искусства не уходят дальше их собственной деревни. Четвертые заняты другими делами и возвращаются к своему искусству только изредка, в свободное время. У пятого развалилась печь, но он колеблется, строить ли новую — в лавках достаточно фарфора и нет непосредственной бытовой потребности в гончарной посуде. Словом, это прекрасное искусство надо поддержать, так же, как превосходно поддержали сейчас здесь, в Средней Азии, мастерство ковроделия или в России — мастерство деревянной и глиняной народной игрушки и многие другие художественные промыслы.

Я испытываю известное чувство удовлетворения и от того, что собрана эта коллекция, при помощи которой можно наглядно убеждать тех, кого я думаю заинтересовать в этом деле, и еще больше от того, что я познакомился с несколькими мало кому известными, но замечательными художниками, видел их за работой, пил с ними зеленый чай в их домах, разговаривал с ними об их искусстве. Повторяю, они делают очень красивые тарелки. Просто изумительные. Я даже жа-

лею, что не могу приложить хотя бы одну из них к этому письму — это было бы лучше всяких слов...

Итак, осенью я вернусь в Москву и, наверное, около года буду рыться в архивах военного времени. Без этого нечего и думать садиться за тот новый военный роман, что я собираюсь теперь писать.

Ну, а где потом я начну писать его, и где буду кончать, и с каким образом жизни буду сочетать работу над ним — об этом мы подумаем через год-полтора вместе с женой. Быть может, поеду в Сибирь или на Дальний Восток, чтобы одновременно работать над уже давно задуманным и узнавать что-то новое, так, как это было здесь, в Ташкенте.

Кстати сказать, в том военном романе, что я недавно кончил, я почти все самое главное дописал как раз здесь, в Ташкенте, среди поездок, среди разных дел, казалось бы, не имеющих ни малейшего отношения к этому роману, но я думаю, что именно эти поездки и эти дела как раз и помогли мне его дописать. Это роман о неслыханных потерях и неслыханном самопожертвовании людей в первый год войны. Я его назвал «Живые и мертвые». Так вот, оказалось: для того, чтобы объяснить, во имя чего пали мертвые, очень важно знать, что делают живые сейчас, когда на земле, слава богу, мир, очень важно чувствовать, что жертвы были принесены недаром. Ведь я не просто любитель батальных картин; описания войны сами по себе меня, в общем, не так уж интересуют. Меня волнует вопрос: ради чего это было, что̀ мы защищали с таким ожесточением и решимостью? А для того, чтобы ответить на этот вопрос прежде всего самому себе, очень полезно пожить вот так, как здесь, среди людей и дел, не имеющих прямого отношения к литературе, но имеющих самое прямое отношение к ответу на этот вопрос.

Ну, и, конечно, дорогой редактор, если я буду когда-нибудь впоследствии подводить итоги своей жизни в Ташкенте, я буду вспоминать не только о том, что я кончил здесь роман, или написал две книги очерков, или перевел с узбекского языка одну очень славную, на мой взгляд, повесть (которую я, конечно, никогда бы не взялся переводить, если б не поездил до этого по узбекским кишлакам, где разворачивается ее действие). Я буду не только перелистывать полторы или две тыся-

чи страниц записанных за это время разговоров с разными интересными людьми, большинство которых я никогда не встретил бы, сиди я эти годы в своей московской квартире. Нет, я, помимо всего, буду вспоминать еще и много мимолетных картин и ощущений, закатов и восходов, переправ через реки или пески, дружеских трапез на скорую руку и ночлегов под звездами. На первый взгляд это не относится к категории итогов. Но это только на первый взгляд... И так как письмо это может быть бесконечным, а его надо все-таки на чем-то кончить, я, вспомнив, что вы рыболов и даже здесь, в Ташкенте, пробовали удить рыбу вместе с моими друзьями, закончу письмо одним мимолетным лирическим воспоминанием.

Это было в первые полгода моей жизни здесь, в начале июня 1958 года. Мы ехали на двух вездеходах через южные Каракумы, вдоль трассы тогда еще не законченной первой очереди Южно-Каракумского канала. Наши машины качало по песчаным горбам так, словно мы ехали на двугорбом верблюде и нас каждую секунду перекидывало с одного горба на другой. Из песка торчал только саксаул и высокие белые, как свечки, бескровные ядовитые грибы. Было так жарко, что даже ящерицы не вылезали на солнце. И вот наконец где-то часам к шести мы добрались до воды. Мы все время ехали ей навстречу; впереди воду уже пустили в канал, но она сперва пошла, а потом отступила километров на сорок. И там, где несколько дней назад текла вода, среди песчаных холмов остались маленькие стоячие озера, при пятидесятиградусной жаре высыхавшие с катастрофической скоростью — на полметра в сутки. В эти маленькие озера из Аму-Дарьи успела зайти рыба, и мы, выбравшись из своих вездеходов, стали ловить ее и наловили за час — хотите верьте, хотите нет — два мешка. Засунув их в багажники машин, мы поехали дальше и вскоре на месте ночлега, разбив лагерь на большом песчаном горбе, сварили на костре несколько ведер ухи. Уже темнело, жара вдруг схлынула, и мы с наслаждением пили горячую уху из стеклянных банок из-под консервированного компота, а вынутая из ухи рыба, дожидаясь своей очереди, дымясь, лежала на листе фанеры — у нас не нашлось ничего другого, на что бы положить ее.

В тот вечер мы, наверно, были одними из первых людей, евших рыбу в самом центре Каракумов. Небо было полно звезд, над пустыней стояла абсолютная тишина, а ночной холод был таким резким, что в него трудно было поверить после жары, измучившей нас за день.

А утром, когда сначала порозовел песок и только потом начало розоветь небо, вокруг холма, на котором мы спали, не столько вокруг нас, сколько вокруг нашей недоеденной рыбы, все было опоясано жадными и нерешительными лисьими следами...

Вернувшись в Москву, я буду вспоминать не только многое другое, но и такие вечера, как этот. А такие вещи ведь тоже имеют известное значение, не правда ли?

Наш общий друг Хамид Гулям, с которым мы ловили рыбу в Ташкенте, передает Вам привет.

Моя жена, которая прочла все предыдущее и, как всегда, считает, что я написал слишком длинно, тем не менее в основном все-таки присоединяется к сказанному и тоже просит передать Вам привет.

Моя старшая дочь внизу зубрит французские глаголы и делает это так громко, что я слышу сквозь потолок.

Моя младшая дочь в раздумье ходит во дворике вокруг бассейна и тычет деревянной лопатой в тонкий ледок, застывший на поверхности воды... Сегодня с утра холодная погода...

Жму Вашу руку
уважающий Вас *Константин Симонов*

Ташкент,
2 февраля 1960 г.



Штрихи эпохи



Эти страницы истории своего завода в великую и трагическую эпоху 1941—1945 годов мне рассказали рабочие и инженеры завода Таштекстильмаш товарищи П. Агапов, С. Адылов, З. Александрова, З. Бакжанов, А. Балабан, Р. Бендич, О. Бочарова, А. Гашкова, И. Геткер, М. Голубенков, З. Гольдштейн, П. Гребенюк, Х. Джалилов, Д. Докин, М. Жуков, И. Калинина, Е. Климова, Н. Климова, М. Книгин, Я. Комардин, А. Кондрашов, Х. Лутфулаева, Ю. Миркамалов, А. Мурашова, М. Немова, А. Онухов, А. Осипова, В. Пешиков, Е. Радзевич, А. Слесарев, Б. Саватюгин, А. Соловьев, А. Степанова, П. Строганов, И. Ткаченко, О. Фохт, И. Харкевич.

Их завод уже пятнадцать лет выпускает самую мирную продукцию, какую только можно придумать: машины для текстильной промышленности, идущие в Москву и Калинин, Дели и Каир, Лодзь и Пхеньян...

Но первые четыре года жизни этого завода были полны войны и лишений. Он вырос в страшном сорок

первом году на пустырях, на краю Ташкента, его первый костяк составили рабочие люди из Ростова, Ленинграда, Кировограда, Запорожья. Его станки вывозились под бомбежками из городов, к окраинам которых уже подходили немцы. А его продукцией во время войны стало грозное оружие.

Мне принадлежит здесь только несколько строк в начале и в конце. Все остальное мне рассказали люди, чьи имена я назвал вначале, и поэтому не буду каждый раз повторять их в тексте. В годы войны они со своими товарищами делали общее, непомерно трудное дело, и это — их общий рассказ о том, что все они вместе пережили и совершили.

Итак, слово за ними.

Война катилась все дальше и дальше на восток...

...Со своим заводом я эвакуировался дважды: 19 августа мы эвакуировались в Ростов, поработали там месяца три и вторично эвакуировались — уже в Ташкент.

Из Запорожья мы ушли, все бросив, я ушел, как был, в рабочем платье. Начали грузить оборудование, и, только сели по вагонам, как немцы выбросили десант на острове Хортица. Доставили туда орудия и стали бить артиллерией. Потом авиация стала бомбить. Положение тяжелое. Мы со старшим сыном оставались до последнего. Вдруг приходит младший. Я спрашиваю: «Откуда ты взялся?» Оказывается, он сбежал с поезда, с которым семьи уехали, и вернулся. «Что,— говорит,— я с женщинами уеду? Я с вами останусь!» Я ему говорю: «Куда ты денешься? Мы с братом твоим, в случае чего, пойдем к партизанам, у нас винтовки есть. А кто тебе, сопляку, винтовку даст?» «Я,— говорит,— сам винтовку достану». Ну, правду говоря, достать тогда винтовку было не так уж трудно. Он пошел и достал — и винтовку и патроны к ней. Мы все еще ожидали отправки. В двенадцать часов ночи стали взрывать Днепровскую плотину, бензобаки на аэродроме, химический комбинат. Взрывы были такие сильные, что вся земля дрожала, вагоны ходуном ходили и стукались буферами. А уж когда грохнули плотину, вагоны просто затряслись. Шум, рев, грохот. Некоторые плачут от горя,— ужас что было!

...А мне пришлось эвакуироваться из Кировограда. Тоже в Ростов. В Ростове я пошел работать токарем на завод.

...В августе, через два месяца после начала войны, когда в Ростов начали приезжать товарищи с Украины, из Кировограда, из Запорожья,— и в городе и на заводе как-то неприятно стало, ощущение какое-то появилось тревожное. Конечно, к этим товарищам относились со всей душой, трудоустраивали, обеспечивали жильем, но в то же время являлась мысль: наверное, и нам придется так же вот, как им... Фронт ведь все ближе и ближе... Но работа есть работа. И мы работали.

Было туманное, несолнечное утро. Мы услышали разрывы и гул в небе. Когда выбежали — в дымке маячили самолеты. Прибежали на завод и почти сразу же стали выводить рабочих — рыть укрепления. Первую бомбежку пережили — страху она нагнала, но работать продолжали.

...Страшной новостью было то, что вдруг немцы ни с того ни с сего подходят к Ростову; мы никогда не испытывали подобного состояния, не были подготовлены. Очень переживали это. В Салах, в восьми километрах от Ростова, уже были слышны звуки артиллерийской стрельбы. Через Аксайский мост шла массовая эвакуация. Смотрим: в четыре ряда тракторы идут, комбайны, сеялки, телеги, ревущие коровы, люди, женщины идут пешком, ремесленники с кулечками, с буханками хлеба в руках... Мост через Аксай небольшой, и все это движется и движется, как широкая лента. Все перемешалось, не поймешь, где что. И уже далеко отошли, а все еще видели, как лента эта без конца тянется в степь.

...Мне, как члену заводского комитета, было поручено организовать рытье окопов возле завода. Надо сказать, что к этому времени у нас на заводе стояло несколько сот комбайнов, совершенно готовых, новеньких. Ну, а надо было налаживать оборону — мы, собственно, копали не окопы, а противотанковые рвы; и было принято такое решение: эти комбайны использовать как противотанковые укрепления. Мы рвы копали, потом там же закапывали двутавровые балки, как штыки, в сторону немцев, а вдоль рва понавалили эти ком-

байны и позасыпали их землей. Жалко было очень — новые, хорошие машины! Но надо было, приказ был!

...Работали до последних дней. Плавили и готовили продукцию. Потом в один день была дана команда приостановить плавку и вести подготовку к взрыву завода... Подготовка велась сразу — и на взрыв и на поджог. Кое-где просверлили несущие колонны, подвесили тюфяки, поставили бочки с бензином. Что дальше будет— не знали.

...Команда по заводу была в октябре, числа 18—20-го: завод всем оставить, остаться только подрывникам. Эта ночь на всю жизнь запечатлелась в памяти. У меня был заготовлен чемодан, я сидел одетый у диспетчерского звонка. Нашу лабораторию вначале тоже решено было подорвать. Я оставался в качестве подрывника. На мне и начальнике лежала обязанность поджечь лабораторию, выйти с территории завода и ехать... а куда и на чем ехать — этого никто не сказал нам. Сказали по диспетчерскому телефону: «По нашему сигналу завод подорвать. Слушать звонок». И я сидел. Спать нельзя было. Все питание было на месте: дня за два до этого принесли мешок картошки, сами варили ее и ею питались. Домой не ходили и ночевать оставались на заводе — все ждали сигнала. Переживания были сильные. А вот числа не запомнил точно. На душе плохо: была уверенность в том, что из этой каши мне не выбраться. Если начнут кругом подрывать цеха, то выйти из лаборатории уже нельзя будет. Ведь взрывать собирались лишь тогда, когда уж немцы придут.

...У нас была создана специальная бригада, которая по сигналу должна была уничтожить наш цех. Сначала речь шла о взрыве. Потом, в конце дня, была дана команда вывести всех рабочих и подготовиться к поджогу; речь пошла уже не о взрыве, а о поджоге. В общем, надо было уничтожить завод. Сговорились потом собраться возле каланчи, и если останемся живы, то будем прорываться к партизанам.

...Мы тоже всю ночь ждали команды. Команды нет. Ничего не понимаю. И волнуюсь, потому что семья-то моя еще дома. Вышел во двор; говорят, танки немецкие идут. Самое страшное — это неизвестность, когда вынужден к бездействию, не знаешь, что кругом тво-

рится... Целую ночь прождали, но команды так и не поступило. Утром приходят в цех рабочие. И получаем приказ: разобрать костры. У нас всюду сложены были костры и стояли наготове ведра с горючим. А в одном из цехов поторопились и даже разлили по полу бензин и керосин. Тяжелые это были часы. Ведь легко сказать: самому, своими руками уничтожить завод, который сам строил! И вот, наконец, к облегчению нашей души, была дана команда, что завод взрывать не будут, что его разминировали, и предложено было продолжать снимать оборудование и эвакуироваться. Как нам потом говорили, немцы в районе Салов совсем было прорвались, но за ночь наши какую-то часть подтянули и задержали их в самую последнюю минуту.

...Нас, человек десять, вызвал начальник цеха к себе в кабинет и говорит: «Наш завод будут эвакуировать в Ташкент». На стене у него висела большая карта, и он показал нам, где сейчас мы и где находится Ташкент.

...Вернулся я в цех обратно. Цех не работал. Начали срывать станки с фундаментов, готовиться к эвакуации. Днем демонтировали, а ночью тягачами и кранами к железнодорожному полотну подтаскивали, погружали на платформы и прямо с завода, составами отправляли один за другим.

...Эвакуация шла интенсивно, все болели душой, особенно те, кто работал на заводе много лет, некоторые даже плакали. Была такая сжимающая сердце картина: мы все привыкли к тому, что завод работает на полный ход, к обычному шуму в цехах, а тут вдруг войдешь в цех — станки стоят мертвыми, многие демонтированы, вывезены, пустота — в цеху раздается эхо! Мы как-то, в самые последние дни, прошли вечером часов в десять по цехам; в цехах ни души. страшно даже стало — так тихо!

Хочется отметить, что в такой тяжелый момент все же у народа не было настроения лишь бы все поломать, переколотить. При эвакуации оборудования и аппаратуры не было такого настроения, что лишь бы какнибудь сделать; наоборот, все, по силе возможности, конечно, упаковывали, чтобы сохранить целым.

...Чтобы эвакуировать такую махину и дать порядок всем материальным ценностям, требовалась большая работа. Все надо было довезти до Баку, перегрузить на

пароходы, отправить в Красноводск, там снова погрузить на железную дорогу. Вывезены были тысячи единиц самого разнообразного оборудования. И не только оборудование, но и материалы и полуфабрикаты. А в общем, все-таки, как ни рвались к Ростову немцы, а эвакуировали мы в Ташкент процентов девяносто всего нашего оборудования.

Эвакуировалось оборудование, уходили первые эшелоны с людьми... Для многих эвакуация означала разлуку...

...Эвакуационный лист представлял собой бланк обычного размера, напечатанный типографским способом. Сверху так и значилось:

«Эвакуационный лист, выдан гражданину... и членам его семьи (перечислено кто) на право следования из города Ростова-на-Дону в город Ташкент».

Первыми отправляли, конечно, жен, детей, престарелых родителей. Прямо на завод загоняли составы с теплушками, ставили в них печки — дело к зиме ведь шло, холодно уже было,— нары, если успевали, настилали... Дорога-то длинная!

...Должен сказать откровенно; все эти дни я находился под впечатлением криков своего сынишки. Когда эшелон, с которым уезжала семья, вышел за территорию завода и делал дугу, Валерик, мой сынишка, понял, что я не уезжаю вместе с ними. Он начал кричать и рваться из дверей вагона. Вот под этим впечатлением я и находился все остальное время.

...То, что надо было ехать в Ташкент, многих как-то пугало — очень уж далеко эти неизвестные места, некоторые не хотели ехать. Но большинство уезжало. Хотя, в общем, очень тяжело было: бросали квартиры, вещи, обстановку — абсолютно все! А бывало, что и семьи разрушались...

...Меня жена оставаться не уговаривала, я не мог оставаться, и она это понимала. Расставание было очень тяжелое. Представляете, один только ребенок и был у нас, а девочке всего шесть лет, тут такое творится, а у нее температура сорок... Очень тяжело было.

...Моя семья тоже осталась в Ростове. Оставил я семью потому, что младшему сыну было четыре ме-

сяца, а старшему — четыре года. Эшелоны были забиты. Шли разговоры, что в Батайске, в десяти километрах от Ростова, эшелоны непрерывно бомбят... И я решил, что лучше не буду их подвергать этим испытаниям. Не знал, что будет дальше с ними, как они останутся здесь. Но в конце концов убедил себя, что решение мое правильно. Они приехали ко мне в Ташкент уже потом, когда мы в первый раз отбили Ростов у немцев.

...У меня тоже было двое детей, причем сын был болен детским параличом. Жене трудно было с ним справиться, да второй, еще малый, и мать глубокая старуха. И все-таки мы бы уехали все вместе, если б не один случай. В день эвакуации я пришел домой, вижу: семья сидит упакованная. Я достал эвакуационный лист, говорю: идем! В это время — не помню вот только его фамилии — спускается с третьего этажа — он выше нас на этаж жил — один гражданин, выпивший. В то время выпущено было вино, и некоторые люди набрали этого вина и понапивались. Заходит он ко мне и спрашивает:

— Едешь?

— Да. Пришел забрать семью.

А он говорит: «Что ты! Там, знаешь, что творится, за Батайском? Каша, мясорубка! Таганрог уже занят немцами!»

Мать-старуха в слезы. И не захотела ехать, как я ни уговаривал.

...Самые тяжелые переживания у нас были в эвакуационное время. Тяжелая дорога, неизвестность — что и как будет? Семья уехала, а ты один остался. Один как перст... Когда я в сумерках, перед вечером, в последний раз вышел с завода и пошел к эшелону, на товарную станцию, я решил в последний раз зайти в свою пустую квартиру.

Что меня в этот момент интересовало? Точно сказать не могу... На стене висела административная карта на полотне. Зная направление, куда нам надо было ехать, я взял бритвенное лезвие и вырезал юго-восточную часть карты. Положил в карман. Взял почему-то еще медицинский баульчик... и только значительно позже я подумал, какие я взял второстепенные вещи!

...Я уезжал с последним эшелоном. Вышел из цеха, прошел в проходную — там уже никого. Пошел за склады. Вижу, стоит эшелон, паровоз дает гудки. Эшелон уже тронулся, но меня узнали и втянули за руки в вагон. Поехали ночью на Нахичевань. В вагоне набралось очень много детей, все те семьи, что решились ехать в самую последнюю минуту. Теснота, духота, просто дышать нечем было. А нас, «холостяков», попало в этот вагон несколько человек. Ну, мы и решили — перебрались на крышу, место детишкам освободили. Правда, холодно было, но деваться некуда! В каждой теплушке дети и женщины.

...Это верно, теснота была сильная. Я в этом же эшелоне с семьей ехал. Ночью люди спали по очереди, иногда — один на одном. Сын мой, например, семилетний, так он лежал прямо на мне.

Трудными и разными дорогами ехали в Ташкент люди...

...Когда я сел в поезд в Нахичевани, была воздушная тревога. Ночь, стреляли зенитки, скользили прожектора... Через некоторое время эшелону нашему разрешили выйти на основную магистраль. Главное было — проскочить Батайск и первый перегон за Батайском. В вагоне стояла тревожная тишина. Жизнью мы обязаны железнодорожникам за ту дисциплину, которая была ими установлена на этом перегоне. Продвигались мы совершенно без задержек — это просто удивительно, ка́к было организовано,— буквально не было ни единой заминки!

...В Тихорецкой на рассвете увидели с крыши вагона: бомбардировщик идет прямо на поезд со стороны солнца. По нему с платформы бьют зенитки, бьют ему под самые крылья, а ему ничего. Но бомбы он сбросил мимо. Было потом еще несколько налетов, но и они нашему эшелону не повредили.

...Эшелон, в общем, шел очень хорошо, быстро, на разъездах нигде не останавливался, ему открыта была «зеленая улица», и на третьи сутки, против всяких ожиданий, мы были уже в Баку. В Баку нас встретили исключительно. До этого часть пути наш эшелон буквально голодал. На одной станции, правда, дали нам

хлеба, много, сколько надо. Но получали мы его за семь эшелонов от нас. Когда получили, наш эшелон вдруг тронулся. Полезли с мешками и буханками под вагонами. Так спешили, что многие и мешки и буханки побросали. Представляете себе, как было жалко!

...В Баку на станции был уже организован пункт по приему оборудования и переотправке его в порт, а оттуда все шло в Красноводск морем. Перегрузка в Баку была хорошо налажена, хорошо механизирована: краны работали. Оборудование поступало эшелонами, один за другим, так что работы было невпроворот!

...Выехали мы из Ленинграда — сто двадцать шесть человек. В Малой Вишере попали под бомбежку. Самолетов было много. После обстрела тронулись дальше. Под Москвой тоже попали под бомбежку. А в общем, доехали до Ташкента более или менее благополучно. Ничего...

...Скажу лично о себе. Пока я ехал через всю Россию, только по радио и слушали сводки одна одной хуже: Одесса сдана, такой-то город сдан... Тяжело было, но не было все-таки уверенности, что немцы победят. Все-таки я считал, что русские победят. Эта уверенность рождалась потому, что думал вообще о русском народе — о его беззаветности, что он сам не пожалеет себя в моменты, когда надо выручать Родину, не посчитается ни со временем, ни со здоровьем, когда надо сделать что-то! Тем более, как ни говорите, в то время в Сталина верили, что он знает, что делает. Это тоже действие оказывало. А вера — большое дело, когда человек верит, он все сделает!

И вот, наконец, первые поезда дошли до места назначения...

...Разгружали оборудование на угольной площадке, по обеим сторонам железной дороги. А людей выгружали под Ташкентом на станции Кзыл-Тукумачи. Пошел дождь. Дети и женщины с нашего эшелона стали беспокоиться, как быть: укрыться от дождя негде. Мужчины собрались, пошли на разведку: узнать, далеко ли город. Раньше никто ведь не бывал в этих местах.

...А наш эшелон уже толковей встретили. Прямо там же, по прибытии на станцию, нам выдали хлебные

карточки. И сразу представители завода (наши люди здесь уже были, и узбекские районные организации тоже побеспокоились) стали развозить людей.

...Пришли наши первые эшелоны; надо было по возможности расселить людей по квартирам. А расселять было, собственно, некуда. Но правительство Узбекистана дало приказ расселять во все свободные помещения, в школы, клубы, даже в мечети, ни с чем не считаясь! В общем, семьи расселяли везде, где только можно.

...Помещение, в котором мы поселились, было построено для магазина. Жило нас там человек восемьдесят. Все семейные и, как бы сказать, по родам, по семьям — так и жили! Сперва сделали перегородки из простынь, как занавески их понавешали. А потом дали нам леса, фанеры, и мы настроили себе внутри этого магазина хибарок, было их там штук тридцать.

...А когда мы приехали, нас привезли в мечеть. Оттуда до завода на трамвае сейчас двадцать — двадцать пять минут езды, а в то время мы выходили за два часа до начала смены.

...А нас разместили прямо в школе. Детишки встретили нас с обидой, что мы заняли их школу, вытаскиваем их парты. А что было делать?

...Нас прямо из эшелона повели на улицу Сталина, дом 36, там помещался клуб швейников. Человек остается человеком, и каждому хотелось захватить лучшее место для семьи. Нам и еще нескольким семьям досталась сцена, на которой стояли декорации, была суфлерская будка. Представьте себе, что и занавес был и звонок! Шутили даже над этим. А из декораций устроили себе кибитки.

...Устраивались, кто как умел. Я жил в клубе печатников. Холод был страшный, клуб не отапливали. Ни одеяла, ни постели у нас на всю семью не было. Много было там людей, огромный зал был просто набит ими. Потом, немного погодя, нас пытались расселить получше, хотели хотя бы семейных вывести из клубов и школ. Правительство и народ здесь, надо отдать справедливость, делали все, что могли. Нас — меня, жену беременную, дочь и мать — послали к одному учителю...

...Пока не было еще литейного цеха, я временно работал при горсовете. У нас была бригада, мы с работниками горсовета обходили районы и определяли воз-

можности уплотнения населения, проверяли наличие или излишки нормы. Были такие люди, что приходилось внушать и заставлять уступать площадь эвакуированным, а другие охотно соглашались и просили только послать к ним жить хороших людей. Уплотнялись одинаково и русские и узбекские семьи.

...Я вспоминаю о хорошем отношении к нам хозяина. Он работал простым рабочим на железной дороге. Обстановка у них была самая скромная. Две комнатушки. За стеной приходилось первое время слышать их семейные разговоры, когда хозяин дома упрекал жену, почему она недоброжелательно относится к нам. Он внушал ей мысли, как много мы пережили, что нам тоже несладко. Нас, конечно, угнетало, что мы их стеснили, но постепенно под влиянием мужа и потому, что мы узнали друг друга, создались и с хозяйкой самые хорошие отношения.

...А у меня квартиры еще долго не было. Была палатка. Я с семьей почти до зимы в палатке жил.

...В отношении жилья было тяжело. Я уже после клуба жил в одной большой комнате с девятью семьями. Центральное отопление было, но оно не действовало. Света не было. В середине комнаты стоял один длинный стол, который мы сами сбили. Спали все на полу. Кроватей не было, да они там и не поместились бы. Потом на заводе с учетом тесноты сваривали кровати трехэтажные, похожие на этажерки, но давали их в первую очередь в общежития. Чтобы для всех сделать — металла не хватало.

...Первый наш дом был под урючиной. Года два назад я устроил своеобразную «экскурсию» по «историческим местам». Взял сыновей и пошел с ними, показывая им, где мы жили — начиная от урючины, под которой ночевали первые две ночи. Показал клуб «Насвой», повел их в поселок Чиланзар, где был у нас огород, за Буржар повез, в домик, куда нас по уплотнению поселили. Показал им огороды, которые нас так поддержали в трудное время...

А завод возникал на пустом месте одновременно с расселением людей...

...Когда мы в первый раз пришли на завод, мы теоретически знали: наш завод расположен именно

здесь, но что это было! С одной стороны еще кое-где был поставлен деревянный забор, а со стороны улицы Шота Руставели была роща, деревья росли, прямо лес. А где сейчас проходная — там вообще ничего не было!

...Да, завод наш, конечно, имел совсем другой вид, чем теперь. Там, где сейчас стоит большое дерево, возле этого дерева была чья-то частная чайхана, а возле чайханы — лабазы, склады квашеной капусты и кишмиша. Там, где сейчас инструментальный цех, через дорогу стояла на перекрестке кибитка, и в ней жила женщина-узбечка с детьми. Там, где стоит деревообделочный цех, был вишневый сад, и тянулся он до самой столовой.

...Пришли мы на завод — кругом пустыри, а на них лежит видимо-невидимо оборудования. Одно дело, когда каждый станок целиком поставят на платформу и так привезут, другое дело, когда приходят не только станки, но и разрозненные части и их надо систематизировать, собирать. При погрузке, как ни старались, а все-таки многое делалось наспех. И теперь не всегда можно было даже строго разграничить что к чему, какие детали от какого станка. Иногда обстановка эвакуации поневоле складывалась такая, что просто наваливали валом все разбросанные детали,— мол, на месте разберемся! И находились теперь эти детали подчас в разных местах, за километры друг от друга, потому что сгружали наше оборудование на разных площадках. Когда-то я работал еще по первоначальному монтажу нашего цеха в Ростове, я хорошо знал все эти детали оборудования. Так знал, что если лежит, например, куча деталей и я вижу дырочки в столько-то миллиметров, я по кончику детали узнавал, что она оттуда-то или оттуда-то!

...Оборудование прибывало, его надо растаскивать по цехам. Каждый взялся за свое. Сначала механическое оборудование стали ставить, а потом и наше, кузнечное. Где сейчас у нас висит на доске плакат — приглашение записываться в драмкружок, там мы первым долгом поставили две гильотинки и стали железо резать.

...Строили быстро — цех наш выстроили в течение месяца, работали мы где угодно и кем угодно. Я первое время работал грузчиком, потом, когда цех поста-

вили, работал в ремонтно-механическом цеху по установке оборудования. Надо было скорей начинать делать мины. Работали, как звери, и в течение недели пустили первый станок.

...Рядом с инструментальным цехом, прямо на земле, на грядках, под открытым небом установили и пустили первые нагревательные печи и закалочные ванны. Они и день и ночь, и в дождь и в снег ни на минуту свою работу не прерывали.

...Вначале вся наша лаборатория существовала в виде ящиков, сваленных у железнодорожного пути. Накрывали ящики брезентом и перетаскивали на своих плечах к тому месту, где лаборатория предполагалась. И ее своими силами строили. Все лаборанты до последнего работали, и главным образом это все женщины были. И фундамент они клали, и кирпичи таскали, и кирпичные заборы разбирали. Устанавливали лабораторное оборудование, не ожидая, когда крыша будет.

...Когда дошло дело деревообделочный цех организовать, помещения у нас не было никакого, мы пилы ставили прямо во дворе и над каждым станком навес делали. Ящики сбивали на открытом месте. Стены возводить стали уже потом. И быстро же строили! Если бы сейчас так быстро строили, как во время войны!

...Пришел я в цех, а начальник цеха говорит: давайте скорей устанавливайте мне станки под чистовую обработку! У нас уже были сделаны заготовки, которые прошли черновую обработку, а с чистовой спешить надо было! Стали мы прилаживаться в этом помещении — оно для тарного склада было выстроено — куда и как лучше станки поставить, стали обмерять шагами, колотушками пробовали полы. Электрики, надо сказать, не задержали, ток подключили быстро, и мы стали выпускать мины. Уже дней через десять выпустили первую на этой земле продукцию. Словом, начали работать в Ташкенте. Какую продукцию мы выпускали — сами знаете! Раз война,— значит, военная продукция! Когда немцев выгнали из-под Москвы, мы впервые в полный голос услышали об этой самой продукции. И раньше знали, что делаем очень сильное оружие, но когда узнали о настоящем его действии, дух у всех здорово поднялся!

На помощь приехавшим из России и с Украины кадровым рабочим приходили люди, родившиеся и выросшие здесь...

...Я родился здесь, в Ташкенте, на территории завода; там, где теперь литейный цех, там жила вся наша узбекская семья — мой дед, мой отец, все они жили и выросли там. Там родился и я. Домик наш снесли, когда строили литейный. Я попал на завод, когда цеха только еще начинали работать. Отец мой, каменщик, в это время работал на стройке — строил наш завод. Он и меня устроил сюда. Я поступил в 9-й цех строгальщиком, там я и научился работать. Мне было тогда около шестнадцати. Я строгал одну важную часть. Месяца полтора проработал учеником, а потом начал работать самостоятельно.

...Я тоже по национальности узбек, 1927 года рождения. Учился в русской школе, в шестом классе. Когда началась война, в 1942 году пошел на завод — помогать. Когда я пришел работать, помню, дали мне верстак, тиски, зубило, а я не достаю до тисков — мне ящик подставили. Так я и работал. Владимир Иванович — мастер, пришел в первый раз, посмотрел и говорит: «Что, сынок, не достаешь?» А потом говорит: «Ничего, я научу тебя, как вырубать железку». Мне запомнилось, что он всегда заботился о нас, болел за нас, душу отдавал. Он говорил: «Я вам мастер, но я не буду говорить, что я высокий человек перед вами. Нет, я должен беречь вас, как детей!» Сейчас мне тридцать три — из них восемнадцать на заводе. Завод этот мне родной, и весь район Фрунзенский — родной: здесь я родился, здесь учился, здесь пошел на работу, здесь же стал техником, здесь вступил в комсомол, в партию меня принимали здесь же, здесь я женился, и дети мои народились здесь!

...А меня, хотя я и ташкентский, война на Украине застала: я работал начальником цеха на военном передвижном ремонтном заводе. В 1942-м на Волге, между Астраханью и Саратовом, вывели из строя наш завод, разбомбили в пути, а людей после расформировали — направили по разным военным заводам. И попал я домой — в Ташкент, на этот завод. Да разве это завод был тогда? Продукция уже была, а завода еще не было!

...Приехали сюда из Ленинграда и наши ребятки из ремесленного училища. Они там при одном ленинградском заводе были. Выехало их немного, а приехало еще меньше: погибли в дороге и от дистрофии и от дизентерии. Возраст ребят был от четырнадцати до шестнадцати лет. Умирали они в дороге также и оттого, что их уж очень люди жалели, прикармливали, ну, а они были в таком состоянии, что много есть не должны были.

Здесь придется вернуться назад, чтобы рассказать трагическую историю «ребяток» из Ленинграда, рассказать устами одного из них, ставшего потом начальником цеха...

...Ремесленное училище не бросило нас на произвол судьбы. С 1 июля 1941 года нас всех взяли на завод, и мы официально стали рабочим классом. Мы жили на заводе. В пределах завода были кое-какие запасы, сохраненные специально для нас; я так думаю, потому что нас все же кое-чем подкармливали. Завод был переведен на производство военной продукции, и с начала войны мы стали делать взрыватели для мин. Жили мы все вместе. И все было у нас общее. Хлеб на всех приносили и делили, одежду делили... И если умирали одни, а выживали другие, то не потому, что выжившие имели какие-то дополнительные возможности уцелеть. Мы даже задумывались о том, почему при абсолютно одинаковой жизни одни выживали, а другие умирали?

Умерших мы относили в траншеи за заводом; как зайдешь в траншею зимой и посмотришь — жуть берет: люди остаются, как живые. Очень страшно было. Мастер наш умер во время блокады. Жил он недалеко от завода. Как-то раз не пришел на работу. Мы пошли узнавать, что с ним. Оказалось, умер.

27 декабря нам выдали по двести пятьдесят граммов хлеба, а три дня вообще не было хлеба во всем Ленинграде. Именно в этот период времени и умерло большинство людей. Училось нас в ремесленном шестьсот человек, а выехало в Ташкент сто тридцать.

Как-то утром мы встали. Приходит директор завода и говорит: «Постройтесь!» Мы построились. «Возьмите все свои вещи»,— говорит. Ну, что у нас было? Взяли

какие были чемоданчики. Директор говорит: «Поедете или в Ташкент, или в Кузнецк».

С Финского вокзала нас отправили поездом, потом через Ладогу на машинах. Холодно было ужасно, нас замертво на руках снимали с машин. А там опять поезд — на Волхов, Тихвин, Буй, Александровск, Рязань, Саратов, Уральск... Ехали ровно месяц.

Человек пять дорогой, когда проезжали вблизи от их родных мест, послезали и ушли к своим. Двое на фронт с дороги ушли,— что с ними дальше было, не знаю. Многие не доехали — умерли. Медицина называет эту болезнь пелагрой, а мы знали ее уже на практике. Умирали в полном сознании. Лежит рядом, разговаривает с тобой и говорит вдруг: «Я умираю»,— и все.

В Ташкент нас приехало шестьдесят пять человек. И сразу, как приехали, все наше училище, вернее, все, что осталось от училища, поместили в дом отдыха, на целый месяц. Потом, когда стали работать, жили в общежитии. Тогда, конечно, такого общежития не было, как сейчас, но все-таки нас не разлучили и всех вместе поместили. Вообще нам всячески, по возможности, шли навстречу и заботились о нас.

...Потом уже после наших ремесленников прибыла к нам еще одна партия ленинградцев с того же завода, уже не ребята, а взрослые. Их по льду переправляли в 42-м году, приехало их человек шестьдесят. Они приехали в ужасном состоянии — все опухшие, выглядели стариками. Те из нас, кто их раньше по этому заводу знал, смотрели на них и просто не узнавали. Им здесь хорошо помогали, сразу расселили их. К нам в комнату, где мы двумя семьями жили, тоже дали двоих приехавших — мать с дочерью.

Весной 1942 года заводу грозила остановка из-за нехватки литья. Все было брошено на постройку литейной...

...Сначала возили, возили нас в поисках выхода по всяким артелям, но там, по нашим масштабам, разве литье! Две комнатки — вот и вся литейная. Нет, это нам не подходило! Единственный выход был — построить литейный цех и самим выпускать для себя литье.

Когда мы приехали, приступили к работе по строительству, здесь стояли одни кибитки и росла капуста, никакой ограды даже не было. И вот на такой пустырь мы пришли на рассвете 14 апреля и получили задание: в течение месяца построить литейный цех и начать выпуск продукции.

...Строили днем и ночью, одновременно поднимали стены и ставили оборудование. Я имел специальный пропуск: на различных предприятиях вне всякой очереди нам отливали необходимые для конвейера части. Формовочный зал так же, как и наш цех, одновременно и строился и ставил оборудование.

Когда вспоминаю о нашем литейном цехе, то, как ни странно, но ведь понятия, что «цех готов к пуску», тогда, в сущности, не было: все делалось одновременно и сразу — и строили и монтировали оборудование. Можно считать, что одновременно и строительство закончили и тут же задули вагранку.

...Начиная с фундамента возвели цех за тридцать три дня, и 15 мая была дана первая плавка. На открытии цеха при этой первой плавке присутствовал секретарь ЦК Узбекистана Усман Юсупов. Его вообще часто у нас на заводе в цехах можно было видеть, надо отдать ему должное. Да и не только ему. Секретарь горкома тоже в самое трудное время, можно сказать, дневал и ночевал на заводе. А уж о секретарях райкома я не говорю: это были свои люди на нашем заводе.

...Пока цех строился, уже надо было думать о кадрах. Кадры готовили прямо тут же. Людей нам дали из районов, женщин прислали, и много местного населения было; много эвакуированных — или подростков, или пожилых людей — молодые-то были на фронте. И вот всех этих людей я здесь в цеху обучал. А основной костяк составляло несколько мастеров да считанное число опытных рабочих. Условия работы были очень трудные. Некоторые и из эвакуированных и из местного населения — узбеков, когда приходили на завод, совсем нашего производства не понимали. Например, идет разноска металла, его нельзя остужать. А они не понимали. Несет, несет, обессилит — поставит на землю и отдыхает, а металл стынет. С одной стороны, с него требуешь, а с другой стороны, понимаешь, что ведь человек уже двенадцать часов металл

носил, сил у него не хватает. Все это было очень трудно, особенно у нас, в литейном цеху.

...Цех наш рос бурным ходом. Был такой момент, что начальник цеха назначил меня ответственным по кадрам. Дали мне большие полномочия: вместе с райкомом партии и райкомом комсомола комплектовать цех кадрами. Мы вызывали людей из парикмахерских, из столовых, из торговой сети — продавцов. Многих агитировали, убеждали, а у других требовали паспорта, отбирали их и безоговорочно вручали путевки на завод... Такое время было, военное!

...Трудности, конечно, были — и большие. Например, была трудность в сушке песка. Никакой механизации не было. Карьеры песчаные нашли не сразу. Кончится песок — приходится собирать его где придется; железные дороги не успевали подвозить — мы поглощали по пятнадцати — двадцати вагонов песка в день. Сушить песок приходилось кустарным способом: сделали печи — снизу огонь, а сверху чугунные плиты, кладешь песок и ворочаешь его на плитах. Летом солнце помогало, а зимой очень трудно было.

...Температура у нас по технологии должна быть 1 400 градусов, не ниже 1 390, а чтобы держать такой металл, нужно, чтобы вагранки безостановочно работали. Если остановится, если вдруг нет шихты — уже брак. Все товарищи помнят, сколько негодного металла было в то время разлито вокруг цеха! Металл испорчен, надо его выливать. В цехе нельзя выливать — выливали вокруг цеха. Это изнуряло людей,— ведь на себе приходилось ковшами таскать металл. Выносим ковшами, льем. А душа болит. Какая же победа, когда не можем наладить литье!

...И еще трудность — некуда было девать отходы, шлак... Чтобы зажечь вагранки, надо прежде убрать шлак. А выбивать его некуда было. Это же не килограммы, а тысячи тонн! Вагранки потонули совершенно. Чтобы пустить вагранку, ее приходилось прямо-таки раскапывать! Горелые стержни тоже не успевали вывозить. Все эти десятки тысяч тонн шлака и металла образовали громадную гору. На шахту был похож завод!

...И дождь и снег на нас валились. Механизации никакой. Все вручную — и песок и глину — таскали. На

своем горбу. Подымать приходилось на такую высоту на руках, а ведь люди такие слабые были!

...Были трудности и в обеспечении материалами. Помню случай, когда на заводе совсем не оказалось чугуна. А разве мы, работая для фронта, вправе останавливаться? У нас по ходу работы получалось от времени до времени некоторое количество чугуна разных марок, смешанных в одну. А военпред, принимавший продукцию, браковал малейшие отступления. Браковал и этот чугун. И вот, когда встал вопрос об остановке цеха из-за непоступления сырья, мы приняли решение: кувалдами вручную разбивали чушки и каждый раз определяли по цвету марку чугуна. И так мы отбирали из отбракованного чугуна нужный и в течение трех суток проработали на этом чугуне. И за все три дня был только один часовой выпад — только один раз брак получился.

Надо сказать, что еще наш цех в смысле питания снабжали лучше всех.

И все же многие не выдерживали, много народу пропало, особенно молодежи. Не выходит на работу, в чем дело — оказывается, умер.

...Когда вспомнишь свою работу в литейном цехе, просто жутко делается. Сколько страданий было! Ведь не было тогда, в военное время, законодательства, что до шестнадцати лет нельзя принимать. А ведь ответственность за всех на мне, на мастере, лежит. И выполнение программы ты должен обеспечить — сдать столько-то тысяч мин. Придешь — видишь: ну малыш у конвейера стоит, один опухший весь, другой спит... А ведь ему не просто простоять двенадцать часов надо, а надо эти двенадцать часов работать! Да еще питание какое, а ему по его работе и двух килограммов хлеба было бы мало.

...Помню такой случай. В то время члены парткома брали каждый под свою ответственность один из цехов. У парторга был кузнечный цех, у директора — наш, литейный. И вот однажды, в свое ночное дежурство, он говорит мне, что получено сверхсрочное задание: надо, чтобы мы сделали четыреста пятьдесят форм, в каждой форме по двенадцати штук мин! Что оставалось делать? Сказать, что не сделаю? Нельзя — фронт требует! Я говорю: постараюсь. Слово? Слово!

Пожали мы руки друг другу, и пошел я в цех, остановил конвейер, собрал всех и говорю: товарищи, дано задание — на наш цех поставлена задача сделать четыреста пятьдесят форм! Говорю, а сам знаю, что коллектив усталый. Но все же ребята дали слово. И сдержали! Сдали четыреста пятьдесят форм!

...Иногда прогорали вагранки, бьет пламя, а мы стоим со шлангами и поливаем, хотя вообще-то это не допускается — может получиться взрыв... Всякое бывало. Фронту надо было все больше и больше мин давать. И мы все думали: как бы еще увеличить выпуск? Чтобы представить себе, что это была за работа, скажу вот что: в одну смену делали до пяти тысяч штук.

Так люди работали. Работали не покладая рук, несмотря на все возраставшие трудности быта военного времени...

...По приезде в Ташкент мы почувствовали заботу о нас, эвакуированных. Нам дали хлебные карточки, выдали уголь. Но по мере дальнейшего существования трудности с питанием все усиливались. Народу в Ташкент все прибывало, с питанием становилось все хуже. Вспоминаются просто безвыходные моменты, когда после смены приходилось жене и мне уходить в сторону Янги-Юля и на убранных полях рыться в земле, искать остатки сахарной свеклы.

...Вспоминаю о тяжелых годах, но память, очевидно, охотно стирает многое из тяжелого и печального. Не хочется даже вспоминать. Ели, собственно, то, что попадалось. Затируха знаменитая — заболтанная на воде мука, восемьсот граммов хлеба, большую часть которого я отдавал семье. Хлопковый жмых — варили из него супы, говорили — в нем белка много, ешь его, а во рту вата! А у меня ведь была язва желудка.

...Да, с питанием приходилось очень тяжело. Ели виноградный лист и жмых. Черепах целиком варили и так и подавали. Ничего, некоторые считали, что даже вкусно. А борщ, который в столовой давали,— это была вода с виноградными листьями, мы не «ели», а «пили» этот борщ. А уж когда пончики получали — вы, верно, о них от других уже слышали,— это был верх удовольствия!

В деревообделочном цеху работал мой сын, ему было десять лет, самый маленький рабочий на всем заводе был. Ходить было не в чем. Иногда в непогоду принесу его на руках и обратно унесу. Он ящики сбивал, в бригаде работал. Бывало, принесет домой пончик, который получил на заводе, кроме обеда, за свою работу, и матери сует. А мать, конечно, не берет. Директор один раз вдруг увидал его и говорит: «Уходи домой, ты маленький». А он отвечает: «Не уйду, я в бригаде работаю, не могу подводить». И работал. Он потом получил медаль «За доблестный труд» — после войны уже. Три медали у нас в семье — у меня, у жены и у него.

...Тогда многие пелагрой болели. Моя мать от пелагры умерла.

...А у меня в 1942 году отец тоже от пелагры помер. Начал болеть и помер. И к стыду моему, в больницу я его отправил, гроб ему сделал, а похоронить даже не смог, так работа сложилась. Больница хоронила, и сейчас даже не знаю, где он похоронен...

...Помню, как-то вышел я утром на работу, дело зимой было. Холодно. Смотрю — лежит человек, тронул его — руки не сгибаются, замерз, видно, бедный, вечером по дороге с работы. Это его пелагра прямо на улице свалила. Со мною были еще товарищи, отнесли мы его в морг.

...Я три раза пелагрой заболевал. Я вообще ношу обувь тридцать восьмой размер, а когда ноги при пелагре распухли, так и сороковой не лез. Да и то сказать, чем питались? Хлеб с мякиной. Казалось в то время, что, если бы хлеба вволю дали покушать, больше ничего и не надо.

...Экономили хлеб очень. Бывало, мы с подругой принесем в цех по кусочку хлеба и дадим — она мне свой, а я ей — свой; каждая из нас чужого не съест, и держим до обеда. А в обед обмениваемся и съедаем.

...Произошел у нас такой случай: у одной девушки своровали в начале месяца из кармана карточку, и мы знали, что̀ это значит. И вот мы между собой организовали помощь ей — каждый понемногу давал из своего пайка или талоны в столовую — месяц подряд.

...Я тогда была контролером рабочего снабжения. Нас всех парторг ежедневно по вечерам собирал.

Лозунг был такой: добиться, чтобы всё в котел! Чтобы из того скудного, что есть, ничего ни к чьим пальцам не прилипло! Помню, как мне парторг говорил: помни, раз ты контролер, тебе предлагать будут, давать будут, успокаивать будут, что это, мол, мелочь! А ты помни: если ты, рабочий контролер, себе один раз лишний пончик возьмешь, ты уже не человек с этого дня!

...Летом нам дали огороды. Выделялась земля на цех, а там уже, в цеху, распределялась между рабочими, в зависимости от числа членов семьи. А до этих огородов было пять километров. Вот и считайте — туда пять, обратно пять, и транспорта никакого, пешком ходили. Эти участки мы сами и копали, и обрабатывали, и поливали. Это было, конечно, нелегко. Все приходилось делать ночью. Во-первых, потому, что днем по двенадцати часов работали, а во-вторых, потому, что поливку нужно было делать без солнца, да и вода только ночью была. Страшно даже бывало: ночью шакалы воют, тьма кругом, а мы поливаем.

...Так уставали на этих огородах, что, верно, от усталости, уже спать не могли. Придешь домой — спать хочется, а ляжешь — через два-три часа проснешься и уже не спишь. И все время кушать хотелось... Трудно было, но когда выросла первая фасоль, какое это было счастье!

...Многие не знали, как сажать, как ухаживать. И в первый год был урожай не совсем удачный, фасоль мелкая была. Ну, а потом приспособились. И узбеки-хозяева нам помогали, учили. И завод помогал: развозили удобрения.

...Что сказать о взаимоотношениях с узбекским населением? Как и у всех — больше хороших людей, встречаются и плохие, а в общем, очень гостеприимный народ. Во время войны, например, если работали узбеки с тобой вместе в цеху, они старались помочь. Если ему самому родные чего-нибудь из кишлака подбросят, он то лепешки испечет и принесет тебе из дому прямо в цех, то к себе домой пригласит...

...Зарабатывали мы неплохо, помню, когда вносили на строительство танковой колонны, я внес тысячу семьсот рублей — такой месячный заработок у меня был.

...Было время — объявили сбор теплых вещей для фронта. Небогато у нас с этим было, но раз для фронта — отдавали, что имели.

...В смысле жизни все шло своим чередом. Передать все, что приходилось видеть тогда, я просто не в состоянии. Я в то время вел дневник, но потом куда-то задевал его. И хорошее и плохое там записано было. Но, между прочим, мы в войну, хотя и голодные ходили, а песни все-таки пели!

Дневников того времени ни у кого не осталось. Но память людей сохранила многое...

...Какие-нибудь особенно трудные моменты в работе? Откровенно говоря,— не в них дело! Было трудно вообще, был тяжел изнурительный труд. Сейчас завод выглядит красивым. А раньше здесь была непроходимая, немыслимая грязь. По окончании смены, топая по этой грязи, сплошь и рядом шли грузить ящики с минами, потому что не хватало людей на погрузке.

...Материально-техническое снабжение сейчас налажено. А тогда!.. Тогда я должен был доставать все, что надо, хоть из-под земли — где хочешь — и чем хочешь вывозить. Ишаками вывозили. Ночами работали, ведрами перетаскивали для литейного с соседнего хлебозавода мазут.

...Утром уходишь с ночной смены, поспишь — и опять на завод. Знали только работу. Первые два года редко бывало, что пойдешь домой, все больше в цеху ночевали, слишком много времени на дорогу уходило, и грязь была страшная, особенно зимой. Ходить было далеко. Встанешь в четыре-пять утра, чтобы добраться к восьми. А обратно приходишь домой ночью. И вставать снова в пять часов.

...Запомнилась мне моя жизнь за Бурджаром и хождение оттуда на работу через так называемый «чертов мост». Зима была дождливая, скользко, грязь, ноги расползались. И я «оборудовал» обувь шипами, чтобы не скользить. Когда надо было спускаться через кручу, по грязи, прижимаясь к дувалам, я пришнуровывал шипы к обуви, и это помогало.

...В военные годы работал столько, сколько надо было. Часто приходилось оставаться на заводе, на

казарменном положении. В механических цехах даже койки стояли. Да и спать, собственно, мало спали.

...Надо сказать правду: во время войны здесь, в тылу, все-таки много людей умирало. У нас почему-то считают жертвами войны только тех, кто погиб на фронте, а тех, кто погибал здесь, умирал у станков, не считают жертвами. А умирали от недоедания, от всех невзгод, вместе взятых.

...Приходилось работать по двенадцати — четырнадцати часов. Да и что в жизни у нас оставалось в то время, кроме работы для фронта? Тогда не приходилось никого уговаривать, когда надо было остаться работать и после смены. Дружно, сплоченно работали, не считаясь со временем. У меня сосед по станку, паренек-узбек, как-то, помню, весной шутил: «В саду, говорит, живу, а как цветет урюк — так в эту весну и не видел! Ухожу из дома — темно, прихожу — опять темно...»

...По утрам к первой смене партком «молнию» выпускал, прямо в проходной ее вешали. Большой лист, надвое разделенный. С левой стороны — заглавие: «Как идут дела на фронте» — и под ним сводка Советского Информбюро. А с правой стороны — заглавие: «Как идут дела на заводе» — и под ним наши заводские результаты: где у кого хорошо, где у кого плохо. На одной бумаге — и фронт и тыл!

...Бывали такие острые периоды — так гнали продукцию на фронт, что домой почти никто не ходил. Отдыхали по два часа: оторвешься от станка, поспишь — и опять за работу. Бывало и так, что даже обедать тебе к станку приносят; одной рукой ешь, а другой ручку крутишь!

...В нашем литейном цеху пыль, дым, температура очень высокая, особенно летом, когда и так жарко — еле выдерживаешь!

А в зимнее время зайдешь, например, в стержневой цех. Тепло в цеху. Видишь, люди спят. И не знаешь, в чем дело: то ли он кончил работу и остался здесь спать, потому что тепло, то ли в свою смену спит.

...У нас в литейном работало много молодежи. Они просто жили там зимой, там земля теплая была; зарывались в землю и спали. Кончают работу в одиннадцать-двенадцать часов — темнота, холод, рад где-ни-

будь прикорнуть, вот и лезет в теплую землю — черную, грязную, но теплую. Там и спит. Бывало, что люди угорали от газа. Был даже такой случай, что в 1943 году я дошел до того, что в цеху не мог находиться; часа два нахожусь и должен потом минут на десять выйти на улицу. Мне дали тогда путевку, и я поехал в дом отдыха. Это меня поддержало. Спал там, пил много молока и поправился.

...Упаднических настроений на заводе нашем не было, хотя неудачи на фронте мы тяжело переживали, но пессимизма все-таки не было.

...Тяготы работы наш директор разделял с рабочими, и они это знали и видели. И во вторую и в третью смену его все видели на заводе. Он не считался ни со здоровьем, ни со временем. Это тоже ведь имеет большое значение — личный пример. Да народ и сам понимал, как важно давать больше продукции, и проявлял пример форменного геройства, не желая отставать от фронтовых героев. Одним словом, похоже было, что и здесь — фронт. Да многие из наших ведь и просились на фронт, и не по одному разу, но их не пускали.

...Трудно бывало. Иногда казалось: легче на фронте было бы. А хуже всего было то, что мало спали. Без еды трудно прожить, но хуже всего — без сна. Какое-то время еще куда ни шло, а вот годы недосыпать — это очень тяжело.

...Партком наш, как и завод, работал круглые сутки. Дежурные менялись каждые четыре часа. Отработает человек свои двенадцать часов в цеху и идет после этого еще на четыре часа дежурить как член парткома. Книга дежурств была, через нее все дела, вся жизнь наша заводская проходила. А парторг ЦК был у нас одинокий, без семьи — он так и жил на заводе, ночевал в парткоме на диване.

...Всем было тяжело. Ели недосыта, ходили без обуви. То, что привезли с собой, сносили. Делали самодельные тапочки, верх из брезента, а вместо подметок — кусок старого ската. Наступишь на землю — вроде похоже на ботинок, а оторвешь от земли — резина аж ногу скручивает! Но все же и такие ботинки для нас роль играли, а то по горелой стружке хоть босым ходи! В общем, несмотря на разные труд-

ности, выходили из положения и работали без нытья. Каждый выполнял все, что мог!

...Работали хорошо. Подстегивания не требовалось. Не помню, чтобы кто-то отказался работать, когда это было нужно. Большое значение имело сознание того, какую готовим продукцию. Продукция у нас была такая, что нельзя было брак выпускать.

...Меня сейчас еще спрашивают: как ты тогда успевал делать такое невероятное число резцов? А вот делали! И я и другие понимали, что если не обеспечим цех резцами — продукции меньше будет. А если в тот момент мы этого не делали бы, какие же мы патриоты были бы, какой же я патриот, какой член партии?

...Работа у нас была какая? Требовалась большая точность, вся резьба мелкая. И по количеству тоже — по сто штук деталей в смену надо было давать. Что же было бы, если бы мы брак давали? Бывало, я все для следующей смены налажу, приду домой. А за мной опять присылают, просят: наладь второму мастеру! А легко ли? Ведь мы по двенадцати часов работали — отработаешь двенадцать часов, как же можно еще работать! «Нет, говорят, приходи, выручай»... Ну и идешь!

...Часто и так бывало: в восемь приступишь, в восемь кончишь, а потом вагоны идешь грузить — тоже, получается, наше дело, потому что мины — суточную продукцию — сделали, так надо же их скорей на фронт отправить, а иначе, спрашивается, чего ради спешили, горячку пороли? И вообще, мы что тогда думали? Скорей фашистов уничтожить, скорей мирной человеческой жизнью зажить, а отсюда вывод: времени не считали, часов не подсчитывали — лишь бы скорее немцев не было в нашем краю, и все!

...Каждый день в девять утра собирались в парткоме все секретари парторганизаций, разговоров долгих не вели, но результаты по своему цеху за сутки каждый должен был на стол выложить. А каждую субботу — недельные итоги — уже на совместном заседании парткома и завкома. И знамя переходящее передавали лучшему цеху. А к знамени — премия: овощи, картошка. Сейчас странно говорить, а тогда, если на цех удавалось как премию выдать пятьсот килограммов,— это большое дело было, сильно поддерживало людей.

...Парторганизация так расставила силы: чтобы обеспечить работу, бросали людей с одного участка на другой, если нужна была помощь. В людях сознание было. Только скажешь: для фронта нужно,— и люди шли и помогали всюду, где трудно. Отдавали все силы, сколько их было, до последнего. В моей бригаде один рабочий так и умер возле станка.

Войной дышала вся работа завода, фронт разными путями все время напоминал о себе...

...В 1942 году мой сын работал у нас на заводе. Ему отбило палец. Был он на больничном листе, шел как-то и встретил земляков, которые отправлялись на фронт под Сталинград. Он взял буханку хлеба, котелок и уехал с ними. И с тех пор как в воду канул. А через неделю старший приходит и говорит: я договорился с моим начальником — поеду в авиашколу. Его через три дня вызвали в двенадцать часов ночи, а наутро отправили; закончил авиашколу и был отправлен на фронт. А тут мать заболела пелагрой... Умерла. Вот так в течение одного месяца я лишился троих. Было нас в семье шесть человек, и сразу осталось трое.

Я получил письмо о сыне, что он ранен второй раз. Он был разведчиком в глубоком тылу. Ну, ясно, что тем более я хотел давать больше и больше фронту. Я ходил прямо-таки жареный — и от вагранки жарко, и вообще жара. Голый работаешь иногда, все-таки легче.

...Все у нас двигалось без механизации, вручную, и такое двигалось, что, казалось бы, не сдвинуть человеку. Если можно так выразиться, от первой плавки в литейной и до упаковки мин в ящики — ко всему было приложено тепло наших рук, во все была вложена наша ненависть к врагу — такая была тогда наша работа и такое было наше настроение.

...Вопрос мы перед собой поставили так: не дадим десятка мин, значит, гибель может быть сотен бойцов! Народ шел на освоение как можно более быстрого производства. Уже в первый месяц мы ставили по триста форм в смену.

...Никогда в жизни не забуду, как мы были восхищены сталинградскими событиями, когда окружили под Сталинградом немцев! Еще на свежей памяти, в

июле, по цехам партийные собрания были. В связи с тяжелым положением на фронте ставили себе задачу: враг рвется вперед — надо взять еще большие темпы! И вот не прошло полугода — окружили гитлеровцев! Даже трудно сейчас до конца представить, какая это была радость!

...Сводки нам читали во время обеденного перерыва. Мы знали, какой город сдали, какой взяли, все знали. Обычно читал нам сводку начальник смены или кто-нибудь из коммунистов, комсомольцев. Если было за день несколько важных событий, нам об этом еще и в проходной сообщали, когда домой со смены шли.

...А у нас в цеху был такой Виктор, токарь, фамилию его забыл. Он первый всегда в десять часов сводку узнать бежал. И если какой большой город освобожден — прибежит обратно в цех и давай на радостях в цеховую сирену гудеть, пока его силком не оторвут.

...С фронта приезжали генералы, полковники, говорят: ваша продукция на фронте нужна до зарезу, работайте, не останавливайтесь!

...Трудились мы, как большинство советских людей в то время трудилось,— отдавали все, что от нас требовалось. Оглянешься на то время, и удивляешься, как мы выжили. Но особенно поражали нас женщины своим трудом, своим мужеством. Много их у нас работало, и работали исключительно хорошо. На стержневых работах, на земледелках. Таких норм никогда не сделали бы сейчас. По восемьсот, по тысяче штук делали, работали за двоих, за троих. А ведь вес стержня до десяти килограммов, да еще ящик, да песок...

...Работали у нас в литейном три сестры — почти девочки еще. Когда я там мастером работал, их мне дали: Бетя, Лиза и Аня. Потом, правда, у них лучше стали условия, а тогда у них не было даже где жить, тут же, в цеху, они и находились. И отец и мать их погибли по дороге во время бомбежки. Сначала они были в цеху уборщицами, а потом я научил их, и они хорошо стали работать на формовке.

...Работали наши женщины наравне с мужчинами и еще помогали мужчинам! Женщины, если что-нибудь достанешь, еще и сварят, и накормят, и постирают, и на огородах работали. В общем, по-моему, на их долю

выпадало гораздо больше трудностей и тягот, чем на нашу мужскую,— мы ведь знали в основном только свою работу.

Так отзывались о женщинах мужчины, а вот что говорили о себе сами женщины...

...На завод я пришла 27 апреля 1942 года. Мне шел тогда пятнадцатый год, я рождения 1928 года. Ко времени победы мне не исполнилось и восемнадцати лет. А к этому времени сколько уже я наработала!

...Я на заводе с 5 мая 1942 года. Цех еще не был готов, стояли палатки. Мы пришли искать мастера. Он посмотрел и говорит: «Мала, не возьму тебя на работу». Но я пошла в отдел кадров и уговорила принять меня. Поставили нас на окраску, научили красить стержни. Пришлось нам же и подносить их. За смену выпускали по пять тысяч штук стержней, а красильщиц было шесть или восемь человек. Таскали мы эти стержни по два человека, на носилках...

...Я тоже в литейном работала сушильщицей. Там молодежь работала из ФЗУ. А я была старшей — рождения 1922 года, но такая маленькая, худенькая была, что не выделялась среди них. Работала на формовке.

...А я 4 июля 1942 года пришла на завод прямо со школьной скамьи, из шестого класса.

...Мне, когда поступала на завод, вскоре исполнилось восемнадцать. Работала я регулировщицей, обслуживала три горячие печи. Чуть не сгорела один раз — лицо сильно обгорело. Печь топилась мазутом, ну и получилась вспышка! Сильные ожоги были, месяц в больнице пролежала. Потом меня уже к печам не пустили, в шишельном отделении работала.

...Я приехала из Ленинградской области в 42-м году. Меня взял сюда брат, когда мать умерла. Стала работать красильщицей. Работала в палатке. Дожди тогда, помню, сильные были, и дождь все время в палатку попадал. Уже потом только сделали нам навес.

...На завод попала так: отец на фронте погиб, и осталось нас от отца четверо, старшая — я. Остальные были еще меньше. Пошла в Текстилькомбинат — не берут, мала! А мама в то время здесь работала, в литейной. Она взяла письмо из военкомата, чтобы меня приняли на работу. Она так рассудила: если не хватит еще

сил у меня работать, буду хоть курьером по цеху бегать. Но работала я неплохо, в курьеры не пошла. Мала, конечно, была, мастер все боялся, что я в конвейер попаду. Мы с матерью работали в одну смену и часто в цеху оставались ночевать: очень далеко идти ночью было. А маленькие дома оставались одни. Потом уже, утром, до работы, я бегала — еду им носила. Тяжело оставлять трех таких малышей, но что сделаешь — уходили с матерью и оставляли их: безвыходное положение было!

...Я приехала сюда со своим сыном. Сыну было пятнадцать лет. Его тоже приняли на завод, и он работал в нашем же цехе, где и я.

...А мы с моей мамой на разных заводах работали — она на другом конце города, а я здесь. Мы хотели работать вместе, но маму оттуда, с ее завода, не отпустили. Работа была в то время напряженная, и мы с мамой месяцами не виделись. Я ходила ночевать к ней только раз в две недели. Вымоюсь и иду через весь город. Мне было пятнадцать лет, окончила я четыре класса, и это была моя первая работа.

...Отдыхать нам нельзя было. Нам сама обстановка говорила: «Нельзя отдыхать, давайте, давайте — бойцы ждут!» Да и без слов ясно: раз нет продукции, значит, мы оставили фронт без помощи! У меня слезы на глазах стояли, а работать надо было.

...Сейчас я по болезни — суставной ревматизм у меня — работаю экспедитором. В войну крыша текла, сырость была, да и работа была такая, что и под дождем мокли, столько воды собиралось, что ящики буквально тонули в воде, кирпичей натаскаешь, подкладываешь... И жарко становится, и мокрая вся, и не замечаешь, как продует, и в воде все время. И обувь была протекающая, и ноги вечно мокрые и холодные. Но в войну не болела, была здоровой — молодость, видно!

...Ночевала я обычно в цеху. Особенно когда пересмена. Куда уж тут уходить? Пойдешь ляжешь на песок, телогрейку под себя, ею же и накроешься и спишь. Только мучило меня, что уж больно грязные мы тогда ходили. Ужас просто!

...Да, наша работа тяжелая была, грязная, все в графите были, а помыться как следует было негде и не-

когда. Помню, решили мы идти на демонстрацию, а в чем было идти? Работали мы с графитом, и черные были и блестящие от него, как негры прямо. А мыла-то не было. Мы брали белую глину и ею оттирались. Но на демонстрацию все же пошли так, как были,— черные, блестящие. Нам стесняться за себя не приходилось!

А вот и еще одна женская судьба...

...Я на завод пришла тоже в 1942 году, в начале сентября. Но это не первая моя работа была. До этого я работала в магазине и в столовой. Работаю в столовой и слышу, кругом говорят: какое положение на фронте, и какие трудности люди переживают... Я сама 1919 года рождения, комсомолкой была, и мне стало интересно в такое тяжелое время поступить на завод. Я пришла сюда и попросилась, чтобы взяли меня. Против столовой жизнь здесь была труднее. Ходила неузнаваемая, как скелет. Меня сначала поставили на маленькие стержни, но эта работа мне не понравилась, работала всего неделю, пока не перевели на большой конвейер — там люди заболели, некому было работать, и мне предложили идти туда. Я пошла с удовольствием. Первый день сделала при норме в сто семьдесят пять штук стержней сто пятьдесят штук. Работа была нелегкая: ящик весом семнадцать килограммов, да семь килограммов каждый стержень, да каркас полкилограмма... Но в первый день мне все же удалось сделать сто пятьдесят штук.

Старая работница, еще ростовская, опытная, делала двести пятьдесят штук самое большое, и ее за такую выработку уже медалью наградили. Когда я стала работать, то через неделю уже делала двести пятьдесят штук, догнала ее. Мне самой было интересно, когда я сделала триста штук. Думаю, сколько же еще могу я сделать, на что я способна? Потом сделала четыреста, семьсот... сколько же еще могу? Организовали мы бригаду комсомольской молодежи, я была бригадиром, а за мной и другие подтягивались. Подружки мои давали до семисот штук, одна даже до восьмисот дотянула. А мой рекорд был тысяча сто восемьдесят. Ко мне хорошо относились, создавали условия, даже обед в цех приносили. Транспаранты о моих рекордах ве-

шали. В 1944 году в «Правде» даже статья обо мне была.

А трудности, конечно, я, как и все, переживала: физически очень трудно было такие тяжести поднимать. «Дошла» я, как тогда говорили, но так надо было: ведь здесь у нас прямо как на фронте было — пока семи тысяч стержней не дадим, не уходим из цеха!

Сыну сейчас восемь лет, он во втором классе. Я берегу газеты старые, где есть и обо мне. И вот сын берет иногда газету, смотрит, смотрит и спрашивает: «Мама, это все за тебя писали, а почему сейчас не пишут?»

13 октября 1943 года, в разгар войны, в Москве было принято решение о послевоенном профиле завода...

...Производства мин мы не прекращали, наоборот — жали вовсю. Но еще в 1944 году первыми ласточками будущего мирного времени для нас были задания изготовить запчасти для текстильных машин.

...О том, что мы будем делать в мирное время текстильные машины, мы узнали заранее. В ноябре 1944 года мне, как технологу, предложили во внеурочное время участвовать в разработке технологического процесса по изготовлению ровничной машины для текстильной промышленности.

...Переход нашего завода на мирные рельсы начал готовиться заблаговременно. Требовались текстильные машины, нужно было скорее выпускать мануфактуру! Ведь в стране было такое время, что получить пять метров мануфактуры — целым событием для любой семьи являлось.

...Текстильные машины мы еще проектировали, а тракторные детали уже делали полным ходом. Помню, еще зимой 1943 года было первое партсобрание по выпуску запчастей для МТС. Фронт фронтом, а сельское хозяйство тоже должно продукцию давать. И не только мы детали делали, но инженеров и рабочих от завода с кровью отрывали и на посевную, на ремонт техники посылали!

...Когда в войне произошел перелом и волна нашего наступления покатилась на запад, мы все стали мечта-

телями, все чаще и чаще говорили о том, как и что будет, когда кончится война. Брат писал мне с фронта восторженные письма. Бондаренко, мой друг, все чаще говорил, что кончится война, он все бросит и станет пасечником, будет пчел разводить, в лесу где-нибудь, где тихо, природа кругом... Я смеялся над ним и уверял его, что если даже его насильно будут посылать на пасеку, он не пойдет. А он упорно утверждал, что уйдет. С другими моими друзьями мы заключили договор: когда кончится война, мы посреди цеха, где стоял стол мастера, соберемся и споем: «Повий, витре, на Вкраину...» и «Куковала та сива зозуля»... Договориться договорились, но желания своего не выполнили, не собрались! Началась реэвакуация рабочих кадров на запад. Кировоградцы уехали, запорожцы уехали — так и не состоялась наша песня!

Так приближались мы ко дню Победы!..

...Подробности этого дня были такие: в первую минуту была даже растерянность какая-то. Я в этот день проснулся рано от шума и криков. Даже не сразу мог понять, в чем дело. Только слышу крики: «Мир! Капитуляция!..»

...Народ, естественно, в силу привычки, потянулся на завод. Все к заводу шли, и кто со смены только что домой пришел — тоже шли. Это было что-то стихийное. Стихийно возник митинг и на заводе. Все обнимались, целовались, просто невероятно, что творилось!

...Когда рано утром, еще темно было, позвонили нам в цех и сказали: «Война окончена!» — и когда я выключил рубильник и стал кричать об этом всей своей смене,— что̀ было, описать невозможно! Я думал, что меня разнесут! Одни смеются, другие кричат, третьи плачут...

...Просыпаюсь у себя в общежитии и слышу, кто-то кричит: «Девочки, девочки, скорей вставайте! Победа!» Вскочили мы и побежали на завод. Я так бежала, что упала, коленку разбила в кровь. Но от радости тогда даже не заметила.

...Первая вагранка у меня в цеху как раз работала полным ходом, когда была дана команда, что кончилась война! Все бросили работу, целуются, обнимаются, не работают. Я и сам, конечно, радуюсь, но помню,

что если бросим вагранку, то закозлит ее! И все-таки так и проморгали — закозлилась наша вагранка! Пришлось сливать металл. В другой день не простили бы себе, а в этот — простили.

...В день Победы я как раз оказался в Гулистанской МТС, меня туда послали от завода помочь с ремонтом тракторов. Встал я ни свет ни заря: позвонили с участка — трактор остановился! Еду обратно через мостик. Вдруг вижу: бежит навстречу помощник бригадного механика, кричит, потом упал... Вскочил, подбегает ко мне, а задохнулся так, что и сказать ничего не может. Спрыгнул я ему навстречу — вижу парень не в себе, спрашиваю: «Ну, что еще за беда случилась?»

— Война кончилась!

Я в первый момент подумал: может, он с ума сошел? До того эта мысль еще непривычная была.

— Бросай,— кричит,— трактор! Победа! Сейчас сообщили, понимаешь?

...А мы, когда вдруг по радио объявили о победе, как раз шли на работу. Пока до завода дошли — нас уже целая толпа стала. На каждом углу прибавлялись люди. Все обнимались, целовались, слезы радости на глазах выступали. Но надо сказать, что и другие слезы были: ведь многие потеряли близких, во многих семьях были погибшие. И как-то разом обо всем в эту минуту вспомнилось. У нас большая семья, узбекская, до войны было много родственников. А ко дню Победы я самый старший во всей семье остался...

...Лично я до сих пор не могу забыть, как народ проявил себя тогда в отношении людей, все потерявших на войне — отцов, сыновей, мужей, братьев... Вокруг них была создана такая забота, такая людская теплота...

...Первое ощущение победы стихийно переросло в безмерную радость. Перед тем как идти на митинг, парторг ЦК и мы, несколько руководителей завода, собрались на минуту в кабинете директора. Был там и наш военпред, капитан. Нам уже на митинг идти, а он вдруг вскочил на стол и стал от радости декламировать «Буревестник» Горького.

...Спрашиваете, как у нас день Победы прошел? Был заводской митинг во дворе, да другого места для митингов у нас и не было. Одни радовались, другие и радовались и плакали. Помню состояние большинства

участников: несмотря на то, что директор наш был очень волевой человек, он не посчитал зазорным заплакать в такой день, и плакал публично, перед всем коллективом, а потом в конце своей короткой речи обнял и приподнял на руках, всем напоказ, двух ребят, мальчишек, тех, что такое грозное оружие делали, худеньких, легоньких, детей совсем! И радость и слезы — все было в ту минуту...

* *
*

Мне почти ничего не остается добавить к этому простому рассказу об очень тяжелом времени.

Будь проклята на вечные времена война! Но мы никогда не забудем того, что сделали во время войны наша партия и наш народ не только на фронте, но и в тылу. История этого времени — история сотен и тысяч заводов, сотен и тысяч партийных организаций, миллионов людей, в обстановке ни с чем не соизмеримых трудностей, честно и непоколебимо сделавших для победы все, что от них зависело.

Здесь приоткрыта всего одна страница этой истории. Но все ее страницы, сложенные вместе, составляют грозную книгу, содержащую исторический урок, ни на йоту не потерявший своего значения.

Шутить войной — с нашим народом нельзя, пугать его — бессмысленно, угрожать ему — опасно. Он ничего не боялся и не боится, ни перед чем не сгибался и не согнется. И это полезно помнить всем и всюду. Ныне и присно и во веки веков.

Ташкент, 1960 г.





Ночь. В лесу, в вагончике выездной редакции, осипшие журналисты передают в Москву по телефону последние поправки к своим репортажам. Потом на несколько минут становится тихо. И вдруг — звонок, резкий и требовательный. Звонит начальник стройки. Он сидит все еще там, на перемычке, в домике штаба перекрытия, и, не объясняя, зачем, требует, чтобы к нему приехал кто-нибудь из нас.

Мы едем по тихой, опустевшей дороге, гадая, зачем мы ему понадобились, что там случилось. Мы спорим до самой плотины, пока не въезжаем в ослепительные огни и музыку площадки основных сооружений.

Белым по черному лепят десятки прожекторов, и от напора звуков металлически вибрируют колокола репродукторов.

Среди зимней ночи, когда кругом не видно ни зги, сооружения плотины кажутся неправдоподобно огромными.

Они так резко выхвачены светом из тьмы, что кажется: сейчас в мире нет ничего, кроме них и отвесно стоящего прямо за ними куска правого берега, похожего на вытканный сверху донизу соснами на снегу громадный театральный занавес.

На верхней площадке штаба — там, где во время перекрытия реки толпились сотни машин и тысячи людей,— сейчас совершенно пусто. Только гравий шуршит под ногами.

Начальник стройки сидит у себя в кабинете один. И это так непривычно, что кабинет кажется пустыней.

Он встает нам навстречу, грузный и стремительный, и говорит:

— Пошли.

Он идет впереди нас по огибающей домик штаба легкой галерее, и доски послушно постанывают под его быстрыми тяжелыми шагами.

Обогнув домик, он выходит на ту его сторону, с которой видна насыпанная днем и остановившая реку перемычка. Она далеко внизу под нами.

Репродуктор на стене домика передает из Москвы симфоническую музыку. Он дрожит и звенит на пределе напряжения. И эта дрожь, врываясь в музыку, как ни странно, не уродует ее, а, наоборот, делает тревожной и невыразимо прекрасной.

Перемычка залита белым светом прожекторов. Все, что там, внизу под нами, видно сейчас с неестественной силой, как белый пронзительный круг в глазке микроскопа. Только этот круг — 200 метров в поперечнике. И в этом белом кругу широкоплечие минские самосвалы один за другим и по два, и по три, и по четыре подходят к обрыву и, как грузчики, став спинами к реке, сбрасывают в нее свою тяжкую ношу, все расширяя и расширяя перемычку.

Самосвалы все время меняются на глазах. При сбросе отвесно задранные ребристые кузова делают их похожими на первые ступеньки поднятых к небу колоссальных железных лестниц. Потом, когда они начинают отъезжать от реки, на ходу опуская кузова, они на секунду напоминают готовые к залпу «катюши». Но эта секунда проходит, и они снова становятся самими собой, просто машинами.

А все их ревы, и гулы, и тяжелое шуршание камней, сползающих вниз по железу, и короткие плотные удары о воду — все это вписывается как самая главная, неотвратимо и мерно повторяющаяся нота в ту тревожную, дрожащую музыку, которая, вырываясь из репродукторов, столбом от земли до неба стоит над освещенным прожекторами белым кругом с ползущими по нему «МАЗами» и бульдозерами.

Начальник стройки, обхватив толстыми, мощными пальцами жиденькие перильца галереи, долго и жадно смотрит вниз. Потом поворачивается к нам и говорит:

— Пишете там у себя в вагончиках! А тут красота такая!

И хотя он ничего не добавляет к этому, мы уже понимаем, что все наши догадки по дороге в машине: зачем он нас вызывает, не случилось ли чего-нибудь,— все это ерунда.

Ровно ничего не случилось. Кроме того, что совсем недавно перекрыта река. И в начальнике стройки, как неостывшая лава, еще клокочет все только что пережитое. И он не в силах сейчас ни спать, ни оставаться один.

А кругом действительно красота. И красота природы, и красота этой молчаливой точной ночной людской работы там внизу.

Ничего не случилось. Просто в жизни человека бывают такие минуты, когда он наиболее полно чувствует смысл своей жизни. И сегодня ночью мы делаемся свидетелями одной из таких минут.

Мы возвращаемся в свои вагончики. На перемычке все идет своим чередом.

Дивногорск,
26 марта 1963 г.



Мурманск — Штральзунд



Апрель, а дорога кажется еще зимней. Под колесами расчищенный дорожными машинами асфальт, а справа и слева — бело до самого горизонта, где невысокие сопки сливаются с почти таким же, как они, белым заполярным небом. Мы переправились через Кольский залив и едем по местам, где ездили и ходили двадцать два года назад, в апреле сорок второго, с Евгением Петровым. Я еду сейчас в машине и вспоминаю этого веселого и умного человека, написавшего вместе с Ильфом веселые и умные книги «12 стульев» и «Золотой теленок» и погибшего, возвращаясь из осажденного Севастополя, вскоре после той нашей с ним поездки на Север, последней, из которой он вернулся.

Мы едем по тем местам, где брели тогда сквозь апрельскую метель на передовую, и, хотя Петров погиб, я почему-то именно сейчас вспоминаю его лицо улыбающимся, счастливым. Этот человек очень сердился, когда встречал что-нибудь плохое, но зато как он умел

радоваться хорошему! И я сейчас еду и думаю, как многое порадовало бы этого давно ушедшего из жизни человека сейчас, в нынешнем Мурманске. Не в том, военном, на девять десятых деревянном и на три четверти сожженном и разбомбленном, каким мы его видели тогда, в сорок втором, а в этом, новом Мурманске, который сейчас остался у меня за спиной,— большом, заново выстроенном портовом городе, с сотнями судов у причалов, с громадным размахом рыбного промысла, с атомоходом «Ленин», который, стоя у мурманской стенки, красится и чистится, готовясь снова сокрушать льды.

Да, моего ушедшего друга порадовал бы сегодня этот самый большой в мире заполярный порт — и стоящие у его причалов громадные матки-рефрижераторы, и новые, тоже рефрижераторные траулеры, ходящие отсюда аж до берегов Гренландии, и Канады, и Соединенных Штатов, новейшие суда, рядом с которыми те, старые, маленькие, что мы видели здесь в войну, кажутся петровскими ботиками.

Обрадовал бы его и мост через Кольский залив. Тогда этого моста не было: мы переправлялись на суденышке. И дороги, вот такой — отлично расчищенного широкого шоссе, идущего на косогорах между двухметровыми снежными горбами,— тоже тогда не было. И советских промышленных городов Никель и Заполярный, в которые я сейчас еду, тоже не было.

Там, где теперь стоит городок Никель, когда-то была небольшая никелевая концессия. От нее сейчас остался домик управляющего да несколько восстановленных после войны жилых домов для рабочих. А кругом целый новый городок, который по его размаху уже вполне можно назвать и городом. Новые рудники, несравнимые по масштабам с прежними концессионными разработками, новая железная дорога, новые, уже работающие и еще строящиеся плавильные цехи...

Но вдруг и здесь совсем неожиданно для меня прошлое вторгается в сегодняшний день, как бы подчеркивая всю неразрывность связи между военными подвигами тех дней и нынешними мирными победами.

В этой вечерней смене конверторщиков несколько бывших солдат, которые освобождали эти места от фашистов в сорок четвертом, а потом разминировали их

и расчищали, а потом, уже демобилизованные, в гимнастерках и шинелях без погон, остались здесь работать и стали мастерами-металлургами.

— Я, когда Северную Норвегию освободили, сюда вернулся, здесь вот в кустах меня и завербовали на строительство. Почему в кустах? А что тут было тогда? Кусты, да развалины, да первые два барака... Один назывался «Курский вокзал», а другой — «С добрым утром». Почему так назывались? А кто его знает, почему, шутили люди, облегчали шуткой свои тяжелые труды. А сейчас у меня дом здесь, а я в нем жить не хочу, ожидаю, чтоб квартиру дали. Квартиры теперь у нас тут пошли хорошие, со всеми удобствами, с горячей водой. Зачем мне на старости лет печку топить?

Все это полусерьезно, полушутливо говорит мне бригадир конверторщиков Михаил Яковлевич Елагин, пятидесятишестилетний могучий и веселый человек. Он уже шесть лет на пенсии — в его профессии можно выйти на пенсию с пятидесяти,— но пока не собирается прощаться с работой. За спиной четыре года войны старшиной в артиллерии, бои, ордена, медали. А потом почти двадцать лет здесь, на Севере.

Здесь работает он, здесь работают два сына, про которых он говорит: «Ребята у меня, считай, местные» — и добавляет про жену: «И жена заполярная. Люблю эти места. Считаю про того, кто отсюда рвется, что он здесь жизни не понимает». Он усмехается. «Заработок у меня, правда, здесь небольшой, всего два с половиной московских инженерных, но я ничего, не жалуюсь, тем более, что заядлый рыболов, а рыбалка тут такая знаменитая, что начнешь рассказывать — не поверите, самому надо испытать...»

И Иван Иванович Шубин, слесарь плавильного цеха,— тоже бывший фронтовик. Родом из города Шахты, но прожил здесь больше половины жизни — двадцать лет. Попал на войну девятнадцати от роду прямо сюда, на Север, в сорок четвертом, когда освобождали эти места, а потом Северную Норвегию.

И третий фронтовик — Якубов Мухамед Набиевич, татарин. Этот воевал здесь, на Севере, всю войну, был командиром орудия, а сейчас мастер-конверторщик. В отпуск ездит домой, на родину, и каждый раз агитирует кого-нибудь из земляков, чтобы тоже ехали сюда.

А вообще-то в этих краях, конечно, больше всего молодежи. И в Никеле и в городе Заполярном, куда я еду после Никеля. Этот совсем новый город, которому как городу от роду только четырнадцать месяцев, возникает среди, казалось бы, пустынных снегов так неожиданно, что невольно ахаешь. Кругом снега, сопки и вдруг — четырех-, пяти- и шестиэтажные современные корпуса жилых домов, мощные контуры строящейся обогатительной фабрики, а на крышах бесчисленные, словно на спор стремящиеся перерасти друг друга, антенны телевизоров. Несмотря на изрядное расстояние, здесь, в Заполярном, принимают Мурманск; народ здесь и молодой и технически крепко подкованный — дальность расстояния их не смущает, они соревнуются за высокое качество приема. И, кстати, как раз завтра собираются смотреть по телевидению передачу из Мурманска — свою собственную самодеятельность.

Город Заполярный, построенный на высоком месте, изрядно продувается здешними пронзительными ветрами. В ответ на вопрос, почему построили город на горе, кто-то из моих собеседников полушутя, полусерьезно говорит: видимо, среди проектировщиков были любители телевидения или, во всяком случае, они предвидели размах этой страсти. Если бы построили город в низине, ветру бы поменьше было, но зато из низины Мурманск, пожалуй, пока что не возьмешь. Так что выбирали между ветром и телевидением.

Одна из улиц города названа именем первого начальника строительства — Михаила Родионова. И самое начало этого современного, построенного индустриальными методами города,— первый деревянный поселок — тоже окрестили «Родионовка». Но того, кто разбил здесь первую палатку и поставил здесь первый дом, сегодня уже нет на свете. Еще недавно, за день до его смерти, занесли его имя первым в городскую Книгу почета, поздравляли, жали по очереди его загрубелую, сильную руку, а на другой день сердце остановилось.

— Был он великий труженик,— говорят о нем.— Здесь забил первый кол, здесь и умер пятидесяти четырех лет от роду, оставив память по себе — молодой, трудно построенный город.

Да, строить здесь не просто: нужны и воля, и мужество, и преданность делу, и готовность переносить лишения.

Это я особенно хорошо понимаю, когда говорю с Владиславом Пахомовичем Сериковым, бригадиром лучшей комплексной строительной бригады и председателем созданного здесь, на строительстве, совета бригадиров. Это человек, прошедший вместе со своей бригадой суровую школу. Два года его бригада провела в так называемых строительных «командировках». Два года, строя то в одном, то в другом месте разные объекты, они жили в утепленных палатках. А что это значит здесь, на Севере, нетрудно представить себе. Но ни один из пятидесяти членов его бригады не бросил дело на полдороге. Достроили все, за что взялись. А сейчас вернулись в город и строят его; и уже вышли из этой бригады другие бригадиры, люди, овладевшие всеми профессиями строителя.

Заполярный — не только самый молодой, четырнадцатимесячный город здесь, на Кольском полуострове, но и, пожалуй, самый молодежный по возрастному составу жителей. Старше двадцати восьми лет тут только пятый, а четверо из каждых пяти — моложе. И рождаемость тут, в Заполярном, самая высокая в РСФСР.

Недавно в Мурманске на пленуме обкома один из жителей Заполярного не без гордости за свой молодой город привел этот факт. В зале, как пишется в таких случаях в стенограммах, возникло «веселое оживление». Но оратор переждал смех и сказал вполне серьезно: «А я не для того вам цифры привожу, чтоб вы смеялись. А для того, чтобы мы вместе с вами правильнее планировали детские учреждения, считались с фактами, а не проходили мимо них, прикрываясь установленными нормами и коэффициентами». Вот так, как говорится, на попа́, поставил этот вопрос товарищ из Заполярного и, думается, поставил правильно. И не только в отношении детских учреждений, с которыми и в Заполярном и в Никеле пока что далеко не все благополучно. Неблагополучно тут пока и с другим. В молодых городах, где так много молодежи, пока почти нет таких мест, где можно было бы вместе собраться, посидеть, повеселиться.

В Никеле один кинотеатр на четыреста мест, и, чтобы попасть туда, нужно записываться в очередь у себя на производстве, потому что в этом смысле потребность ровно втрое больше возможностей. И лучшая на Кольском полуострове самодеятельность Заполярного ютится пока что в двух комнатках во временном клубе, который, если говорить начистоту, тоже еще не клуб, а в меру сил и стараний благоустроенный барак.

Все сразу не делается, и это понятно, но все-таки надо признаться, что мы часто слишком поздно спохватываемся, что об этой стороне дела — об отдыхе и о развлечениях людей — надо было подумать заранее.

Рассматривать эти «развлекательные» объекты как объекты второй и даже третьей очереди неверно. И я думаю сейчас, когда пишу эти строки, что они не вылетят из моего предмайского репортажа за «недостатком места». Для таких вещей всегда должно находиться место, даже и в праздничных репортажах. Я увидел в Заполярье, в его новых городах и городках, много поистине прекрасного: и сами люди и города, созданные их руками, радуют душу. Но если на солнце есть пятна, то надо говорить и о них.

Возвращаемся в Мурманск, едем по западной стороне Кольского залива. В этот солнечный, не по-апрельскому зимний день на обратном пути снова открывается необыкновенное зрелище громадного Мурманского рыбного порта. Блистающие снежной белизной берега, синевато-свинцовая холодная северная вода, и на ней суда, суда, суда... Шумная, беспокойная, ни на секунду не останавливающаяся, живая, хлопотливая, трудная, азартная жизнь рыбного порта! А по длинным снежным склонам противоположного берега амфитеатром взбегает на горы Мурманск, в сущности, совершенно новый, за исключением нескольких десятков старых каменных зданий, заново и по-новому построенный большой современный город.

Я гляжу на бухту, кишащую судами нашего, сейчас самого современного в мире, рыболовного флота, и невольно снова вспоминаю войну — бомбы, сыпавшиеся на город, на старые, разбитые причалы, в воду Коль-

ского залива. Вспоминаю Алешу Хлобыстова, совершившего здесь, вот в этом северном небе, свой двойной таран, маленького, двадцатидвухлетнего задорного вихрастого паренька с храбрым русским сердцем. Если бы он потом не погиб, ему было бы сейчас всего-навсего сорок четыре!

Я вспоминаю захваченные тогда нашей разведкой фашистские оперативные документы и фашистские газеты, призывавшие покончить с Мурманском, и снова гляжу на бухту, где среди других судов стоят современные траулеры, красавцы СРТ, любовно построенные для нас руками тружеников Демократической Германии — судостроителей Штральзунда. И мне хочется после Мурманска съездить туда, в Штральзунд, в новую Германию, и поговорить с новыми людьми, строившими эти суда. Но об этом в следующем репортаже...

В Штральзунде строят суда рыболовного флота, и больше всего строят их для нас, для наших рыболовных флотов Мурманска, Балтики, Черноморья, Дальнего Востока... Я еду вместе с немецкими товарищами, чтобы посмотреть на эти Штральзундские верфи, которыми они гордятся, и по дороге вдруг вспоминаю одно из своих мимолетных впечатлений первых дней приезда в ГДР.

Меня поселили в новом, только за день до этого открытом, стоящем на проспекте имени Карла Маркса отеле «Беролина». Название это — древнее латинское название Берлина, и о самом этом превосходном отеле можно сказать много добрых слов (кстати, именно в нем одновременно со мной жили участники первенства Европы по джиу-джитсу, которое выиграли наши ребята). Но первое мимолетное воспоминание не об этом, а о лифте, поднимавшем меня наверх, когда я приехал... Я мельком взглянул на табличку с маркой изготовившего лифт промышленного предприятия и увидел написанное по-немецки слово «Киров». Увидел и подумал: «Здорово! Значит, не только делаем, но и поставляем друзьям свои скоростные лифты». Но потом вгляделся и понял, что ошибся. Надпись, если перевести ее полностью, гласила: «Народное предприятие имени Кирова. Лейпциг».

Признаюсь, что ошибка меня не огорчила. Конечно, неплохо, если бы этот лифт оказался нашим, отечественным, но сочетание слов «Лейпциг», «Киров», «Народное предприятие», «Германская Демократическая Республика»,— не правда ли, это здорово, если вдуматься в смысл всех этих слов, поставленных рядом волею немецких коммунистов?

А теперь о Штральзунде. Город этот старинный, основанный еще во времена Ганзы, с ганзейскими островерхими, словно паруса, старыми домами, с остатками древних крепостных стен, в которые словно вросли старые дома, с морским влажным, зовущим вдаль воздухом. Севернее города, через пролив, перехваченный длиннейшей дамбой и железнодорожным мостом, виднеется остров Рюген.

Все в этом городе пахнет морем, и по верфи, хотя день добрый, солнечный, погуливает свежий морской ветерок.

Знакомство с верфью начинается с квадратного стеклянного павильона, в котором собраны модели всех судов, когда-либо выпущенных верфью и выпускающихся сейчас. В павильон даже не обязательно заходить, чтобы все это увидеть. В нем все видно насквозь. И стоит он не как музей где-нибудь в тихом уголке, а прямо на дороге к главным заводским корпусам. Стоит так, что мимо него не пройдешь. И ветеран, уходящий на пенсию, закончив свой последний рабочий день, пройдет и остановится с гордостью около этого павильона, где в миниатюре собрано все то, что он сделал здесь своими руками. И новичок, в первый раз вошедший в заводские ворота, подойдет к этому стеклянному клубу и увидит все, что здесь сделали люди еще до него, до того, как он сам приложил руки к делу. Я думаю об этом, когда мы стоим в павильоне и осматриваем модели, и мне нравится, что этот маленький музей стоит прямо на дороге у людей, идущих на работу и уходящих с нее, напоминая им о красоте того дела, которое они делают своими руками.

Херманн Риккманн, один из заместителей директора завода, и Эдельгард Людтке, женщина — инженер-кораблестроитель, заместитель секретаря партийной организации, рассказывают мне об истории завода, переходя от модели к модели.

Вот маленький деревянный рыбачий баркас — такие строила здесь до сорок пятого года частная фирма «Крюге». В сущности, «верфи Крюге» — это было только громкое название: один слип, один фабричный барак, сто рабочих и вот такие баркасы в качестве фирменной продукции.

— Значит, в сущности, верфь пришлось строить на пустом месте? — спрашиваю я.

— Не на пустом месте, а хуже того — на болоте... Старая верфь была буквально островком среди болот. Если не видеть этого места раньше, даже трудно представить себе, что здесь было. Да и в смысле специалистов пришлось начинать, можно сказать, с ничего. Было шесть рабочих-кораблестроителей, а все остальные — люди других профессий, которым предстояло переквалифицироваться. Крестьяне, дорожные рабочие, сапожники, парикмахеры... Кого только не было тогда! Только в сорок девятом году, вернувшись из СССР, из плена, на верфь пришла большая группа кораблестроителей, работавших раньше на разных других верфях. Но к их приходу здесь уже выросло много своих собственных специалистов. А сейчас в производственном комбинате верфи учится пятьсот человек, и часть из них, окончив комбинат, уже идет не сюда, а на другие верфи — так идут дела, так движется время...

Меня подводят к модели траулера, который я сразу узнаю — такие, именно такие я видел несколько дней назад у причалов Мурманского порта. Они стояли там под выгрузкой, вернувшись из суровых просторов Баренцева моря.

И то, что я видел у нас много таких судов, не мудрено: их начали строить на верфи в сорок девятом и построили 595 штук.

А вот и модель другого, еще более современного траулера. Я его тоже видел у нас в натуре. Его длина уже не 32 метра, а 50. У него трюмы с охлаждающими устройствами. И таких траулеров верфь построила для нас тоже немало.

А вот модель корабля-матки рыболовного флота типа Р-600 — большого производственного рефрижератора: такие суда, построенные в Штральзунде, тоже бороздят моря под нашим советским флагом. Я их тоже видел.

Но этого нового детища верфи, красавца рефрижераторного траулера типа «Тропик», мне видеть еще не доводилось. Первый «Тропик» был спущен в конце шестьдесят первого года. Он прошел испытания и был поставлен на серию. К сегодняшнему дню таких судов построено уже 27. Но впереди еще выполнение громадного заказа, сделанного Советским Союзом. Верфь заключила договор на поставку нам этих первоклассных судов.

— Мы обеспечены в связи с этим заказом работой до тысяча девятьсот семидесятого года,— удовлетворенно говорит Риккманн.— Знаем, что будем делать, на шесть лет вперед!

Мы идем по цехам вместе с Риккманном и присоединившимся к нам Эрнстом Парницке — молодым технологом. Риккманн — один из старых работников верфи; он здесь уже пятнадцать лет, после того, как вернулся из плена в сорок девятом году, вернулся убежденным антифашистом. А Эрнста война застала мальчуганом, и хотя он неплохо владеет русским языком — Эрнст около двух лет был в Советском Союзе, но попал он к нам в страну совсем в другое время и по другим причинам, чем Риккманн. Окончил на родине институт и поехал к нам работать практикантом. Узнав, что я родился в Ленинграде, он начинает вспоминать этот город, где проходил свою инженерную практику.

Производство на Штральзундской верфи организовано на высоком техническом уровне, с широким и последовательным применением автоматики. Громадные фигурные железные листы, составляющие различные части обшивки корабля, вырезаются на гигантском двойном станке, с двух сторон на двух, если можно так выразиться, крыльях уникальной машины движутся прожигающие сталь режущие устройства. А посредине расположены как бы глаза этой машины — оптическое устройство. В него закладывается небольшой, размером в две спичечные коробки, негатив с чертежом, на котором показаны все те контуры, по которым надо вырезать листы. Машина смотрит своим «глазом» на этот чертеж и повторяет его линии режущими устройствами.

«Глаз» машины смотрит на негатив, а из-под режущих устройств — если продолжить фотографические

сравнения — выходят готовые позитивы: точно вырезанные по крошечному чертежу громадные листы корабельной стали. Потом их выгибают, подают дальше, части и детали будущего корабля движутся из цеха в цех... И вот мы уже в конце процесса — там, где на судоспускных устройствах стоят еще не спущенные на воду корабли, а вдоль длиннейшей стенки выстроилась целая цепочка уже спущенных на воду. Они идут под номерами, один за другим: 38-й, 39-й, 40-й, 41-й — в таком порядке их подает сюда, на воду, заводской конвейер. Идешь вдоль стенки и уже настолько привыкаешь к этому порядку, что сразу замечаешь, когда вдруг в одном месте 43-й стоит раньше 42-го.

— Да, да,— говорят немецкие товарищи.— Сорок третий обогнал сорок второй. На сорок втором задержались со сроками до спуска на воду, и ему — ничего не поделаешь — пришлось уступить свою очередь.

Судоспускные устройства, на которых стоят корабли до спуска на воду, снабжены мощными гидравлическими лифтами. Когда корабль пора спускать на воду, лифт идет вниз, и корабль оказывается на плаву. Когда очередной «Тропик» после первого года плавания приходит на гарантийный ремонт, он заплывает в камеру над гидравлическим лифтом, и лифт поднимает его наверх, на сушу. Даже немножко жаль кинематографистов: новая техника ликвидировала самый красивый момент киносъемок, когда корабль, медленно набирая скорость, шел по уклону в воду! Немецкие товарищи рассказывают, что гидроподъемники начали работать с шестидесятого года. Некоторые гидравлические устройства были заказаны в Западной Германии, там их задержали, рассчитывая этим задержать все, но из этой затеи ничего не вышло. Прошло несколько месяцев, и то, что не поставили капиталисты, поставили социалистические соседи — чехи.

На верфь идут поставки с нескольких сот предприятий ГДР и с ряда предприятий других социалистических стран. Генераторы делают чехи, стальной лист и трубы поставляет СССР. Словом, дают себя знать действительные результаты работы Совета Экономической Взаимопомощи.

Мы поднимаемся на один из спущенных на воду «Тропиков». На корабле оборудуют и красят надвод-

ную часть; на трубе уже видны нанесенные свежей краской родные серп и молот, говорящие о том, что этому судну предстоит плавать под советским флагом.

Эти траулеры недаром названы так — «Тропик»: они предназначены главным образом для плавания на южных широтах. На палубу «Тропика» поднимают рыбу кормовым тралом и прямо вместе с тралом опускают в люки предварительного охлаждения. Потом рыба идет на сортировку, укладывается в противни. Эти противни ставятся в тележки, тележки катятся в холодильные камеры с температурой минус 42°, в которых можно за сутки заморозить тридцать тонн рыбы. Потом рыба пакуется в брикеты, картонные ящики и по транспортеру едет в трюмы длительного хранения с температурой в 25 градусов.

На этих новых кораблях предусмотрены не только производственные условия для хранения продукции в тропических широтах, здесь предусмотрено все, чтобы облегчить в этих широтах нелегкую работу команды. На «Тропиках» ликвидировано само понятие матросских кубриков. Здесь только одноместные и двухместные каюты, с горячей и холодной водой и кондиционными устройствами, обеспечивающими постоянную температуру в 18 градусов при сорока — сорока пяти градусах снаружи.

«Тридцать второй», по которому мы ходим, почти готов. Немецкие товарищи рассчитывают его сдать в конце мая.

Мне, журналисту, этот корабль кажется верхом совершенства. Но немецкие судостроители говорят, что создается уже новый проект судна этого же типа, но с лучшими показателями. Сейчас на «Тропике» 76 человек команды, а в дальнейшем предположено сократить ее за счет механизации процесса заготовки рыбы до 58 человек, а к 1970 году даже до сорока. Почти половину людей через шесть лет должна заменить автоматика.

А вдалеке, у самого конца стенки, стоит «восьмерка» — траулер типа «Тропик», построенный здесь, уже потрудившийся положенный ему год в океане и вернувшийся теперь к строителям на гарантийный ремонт.

Объем репортажа не позволяет пересказать весь тот большой сердечный разговор, который был потом,

после осмотра верфи, в заводской столовой. Скажу только, что я чувствовал себя там среди немецких рабочих, как дома, и, пожалуй, приведу две детали.

Рассказывая о своей жизни, бригадир маляров Эгон Небель вдруг под конец вспомнил свой последний день, проведенный в плену в Советском Союзе. Он работал в Донбассе, на шахтах, получая сдельно за каждую тонну угля, а потом стал строителем, восстанавливал железнодорожный вокзал города. Там, на этой работе, его и застала весть о возвращении из плена. Конечно, что тут говорить — он спешил вернуться домой и заволновался, когда некоторые другие его товарищи уже собрались и пошли, а ему сказали, что надо задержаться часа на два.

«В чем дело? — забеспокоился он.— Неужели меня почему-то задерживают?» Но оказалось, что задержка эта произошла не по приказу начальства, а по инициативе русских рабочих, работавших рядом с ним на этом же строительстве. Они уважали его, как хорошего мастера, и перед тем, как он поедет к себе в Германию, решили проститься с ним, выставили скромное угощение, выпили по чарке, долго трясли ему руку. Таким был его последний день там, на шахтах, его последние часы, которые он провел с русскими рабочими людьми, уже тогда считавшими его своим товарищем, несмотря на то, что он официально все еще был военнопленным.

А Эрнст Парницке, прощаясь со мной, спросил, вернусь ли я домой к Первому мая.

Я сказал, что вернусь.

— Тогда передайте наш рабочий привет товарищам ленинградцам,— сказал он.

Я ответил, что живу сейчас в Москве.

— Ну, тогда передайте наш первомайский привет товарищам москвичам. Какая разница! — сказал Эрнст, крепко пожимая мне руку.

И в самом деле — какая разница?

Мурманск — Штральзунд,
апрель 1964 г.





Талнах. Декабрь–август



1

Что такое Талнах? Я впервые услышал рассказы о нем прошлой зимой, еще не долетев до Норильска, от попутчиков в самолете. Летевшие со мной норильчане произносили это слово со счастливым выражением лица, как вдруг неслыханно разбогатевшие люди. Именно так! Но особенность этих людей — не побоюсь сказать,— наша, советская особенность состояла в том, что в их радости не присутствовало личной корысти. Открытие богатейших талнахских полиметаллических руд не сулило им немедленного персонального обогащения. Наоборот, оно при тех же примерно заработках сулило многим из них новое нелегкое, необжитое место работы, сулило тяжелый труд, сулило новые испытания на прочность характера, новые волнения, тревоги и неудачи по дороге к успеху.

Люди чувствовали себя разбогатевшими, потому что разбогател новыми огромными запасами руд их

Норильский комбинат. И — тем самым — их страна. И тем самым в конечном счете и они вместе с двумястами тридцатью миллионами других людей.

И это уже привычное мышление большими общественными категориями было, если можно так выразиться, их советской визитной карточкой, хотя они, наверно, вовсе и не думали об этом, когда там, в самолете, со счастливыми лицами рассказывали мне о Талнахе: «Вы непременно должны там побывать!»

Я, конечно, послушался их и побывал тогда, в декабре, в Талнахе, который выглядел совсем по-другому, чем сейчас, в августе. Но об этой разительной перемене позже. А сейчас попробую ответить на вопрос: что такое Талнах? Не своими словами, а словами людей, которых я расспрашивал тогда, в декабре, записывая их ответы то в блокнот, то держа в руке микрофончик маленького репортерского магнитофона. (Кстати сказать, нужная в журналистике вещь, которую уже пора бы всерьез освоить нашей промышленности.)

Вот что сказал мне тогда Алексей Владимирович Прохоров, начальник геологоразведочной партии, награжденный орденом Ленина за открытие Талнахского месторождения:

«В основном Талнах открыли молодые ребята. После нескольких лет работ нашли на склоне горы когда-то выброшенные ледником валуны с рудосодержанием. Решили поставить здесь буровые. С техникой было тогда тяжело, тащить буровые по склону трудно, но прораб Куликов со старшим мастером Лимоновым не отступили, сказали: давай услужим геологам, поставим буровую в точности там, где они просят. И как ни трудно — поставили и подхватили руду! Руда была не такая богатая, но все же дала о себе знать, намекала, что здесь есть перспектива. Тогда забросили сюда еще три буровых, и одна попала на жилу мощностью в 27 метров.

О такой в прежние годы на комбинате и не мечтали! Ну тут уж, конечно, сразу весь Норильск взялся за дело — и комбинат и городская партийная организация. Бросили сюда и людей и технику, провели электролинию, доставили уже не четыре, а двадцать буровых! Надо сказать, что комбинат проявил веру в наши геологические результаты и сразу же стал здесь строить,

создавать базу, не дожидаясь окончательного подсчета запасов. По крайней мере года полтора выиграли на этом во времени...»

А главный геолог партии — Виктор Фомич Кравцов — в ответ на мой вопрос, с чего все началось, сказал так:

«Я лично тут только с 1955 года, после окончания института. А история эта начинается издалека. Еще в сороковых годах старые геологи, уже давно работавшие в Норильске, говорили, что здесь, в Талнахе, могут быть найдены месторождения, не уступающие Норильскому. Но поиски в то время и в тех условиях еще не могли увенчаться успехом: для них нужно было иметь мощную технику и транспорт.

Разворот работ здесь начался только в 1957—1958 годах. Изучение выброшенных на поверхность обкатанных, похожих на валуны обломков рудных пород подтверждало, что месторождение находится где-то близко, но долго никак не могли на него наткнуться. Какой-то участок, как раз тот, где руда выходила к поверхности, все еще оставался, как мы выражаемся, «недозаснятым». В 1960 году главный геолог экспедиции Георгий Дмитриевич Маслов направил нас троих — Нестеровского, Кузнецова и меня — на проверку этих недоснятых мест, и нам удалось найти еще не руду, а магматические массы, которые нам указывали, что здесь должен находиться выход руды. Поставили буровую вышку, и, когда очень быстро пошла руда, стало ясно, что имеем дело с месторождением. Когда пробурили еще несколько скважин, выяснилось, что имеем дело с крупным месторождением. А когда пробурили знаменитую теперь скважину КЗ-38, поняли: это — уникальное месторождение. Сейчас ищем дальше, на север, надеемся доказать, что месторождение еще более уникальное, чем это признано...»

— Что значит Талнах для нашего комбината? — переспросил меня директор Норильского горно-металлургического комбината Владимир Иванович Долгих.— Если отвечать коротко, то можно уложить весь ответ в четыре слова: Талнах — это наше будущее.

— А если чуть подробнее?

— Если подробнее, то надо сказать, что хотя Норильский комбинат и сейчас одно из крупнейших пред-

приятий цветной металлургии в стране, но сложность его положения в течение многих лет состояла в том, что он работал на сравнительно бедных рудах. И когда в 1957 году правительство поставило вопрос о резком усилении геологоразведочных работ, а в 1962 году эти работы открыли для нас громадные рудные богатства Талнаха — всего в двух десятках километров от Норильска,— сами понимаете, что это значило для нас! Не удивительно, что мы пошли на известный, хотя и обоснованный в данных условиях риск — на предложение начать работы в Талнахе еще до официального подсчета запасов. И когда нас поддержали, мы бросили из Норильска на Талнах и людей и технику. Величайшая ценность Талнахского месторождения ведь состоит еще и в том, что здесь же под боком оказался наш комбинат, мощная база — и техническая и кадровая. В сущности, нам нужно не строить Талнах, а «пристраивать» его к Норильску. Хотя, конечно, вопросы такой «пристройки» были и остаются нелегкими. То, что вы увидели сейчас, только начало Талнаха. Но у этого начала было тоже свое начало — голая тундра, непроходимая топь, куда первые грузы забрасывались на самолетах и вертолетах...

Так мне отвечали на мои вопросы тогда — зимой, в декабре. И вот на дворе август, и я снова здесь, на Талнахе.

На рассвете за окном, погромыхивая железом где-то на уровне третьего этажа, проезжает смонтированный на «МАЗе» кран.

Впрочем, рассвет — это неверно, это просто так, по привычке. На самом деле рассвета нет. Еще продолжается полярный день, и просто где-то между часом и двумя ненадолго немножко сереет. Вот и все. Не рассвет, а начало дневной смены. И после вчерашнего солнца — первая снежная крупа. Невысокие холмы, поднимающиеся к северу от Талнаха, холмы, на которых геологи серпантином режут дорогу, чтобы втащить наверх свои вышки, с утра еле заметно забелены снегом.

Абрам Иванович Зайдель, старый строитель, работающий здесь, в Норильске и Талнахе, уже двадцать лет, поглядывая на этот снег, говорит с типичной для здешних старожилов предусмотрительностью:

— Кто знает, может быть, это всего-навсего шутка погоды и еще вернется лето, а может быть, и занепогодит надолго. Возьмет да и пойдет ломаться на зиму. Тут бывает по-всякому. В прошлом году первый снег увидели только в середине сентября, но год на год не приходится!

Да, первый снег... А вчера мне еще казалось, что лето в самом разгаре и громадные розовые пятна цветов в тундре — это тоже надолго.

Под снежком, который перемежается то мелким дождиком, то вдруг коротким куском упавшего в дырку между тучами солнца, второй день ездим и ходим по талнахским строительным площадкам. И я, вспоминая, каким видел Талнах в декабре прошлого года, не перестаю удивляться тому, как много успели за это время сделать люди.

Тогда, зимой, в сорокаградусную стужу с ветерком, они в один голос гостеприимно говорили:

— Приезжайте к нам летом, у нас летом, знаете, как хорошо! Тундра цветет. Все кругом зеленое и розовое. Увидите!

Это все, конечно, верно. И тундра цветет, и кругом зеленое и розовое — все верно. Но обещания эти не самые трудные: они из тех, что выполняются сами по себе, без участия людей.

А вот как обстоит с теми обещаниями, выполнение которых всецело во власти людей?

Хожу по Талнаху и листаю свой тогдашний, декабрьский блокнот. Сравниваю и радуюсь каждому совпадению. Радуюсь твердости, силе, здоровому реализму романтиков Севера. Думаю о том, что слова «романтика» и «реализм» начинают сталкиваться друг с другом только тогда, когда у людей слова расходятся с делом. И когда одно сходится с другим, тогда «романтика» и «реализм» — это слова-братья. И даже близнецы. И в этом, пожалуй, одна из особенностей нашего времени, находящая свое отражение во всем: и в стиле жизни и в стиле литературы.

Да, в Талнахе слова сходятся с делом.

В декабрьском блокноте: «Здесь с весны начнем строить мост через Норилку».

Да, точно. Две бетонные опоры уже высятся из свинцовой воды, а третья должна вот-вот вылезти на-

верх. (Кстати, уменьшительное название «Норилка» вовсе не означает, что это ручей или речушка, а просто дает понятие о громадности масштабов северной природы: по сравнению с Енисеем это, конечно, «Норилка», но ширина этой «Норилки» — шестьсот метров, а глубина — до тридцати.)

В блокноте: «Этот первый пятиэтажный дом для строителей сдадим через несколько дней. Второй, видите, недостроенный, скоро выведем под крышу. Третий, где фундаменты, сдадим летом, а четвертый скоро начнем и кончим к сентябрю».

Все правильно. Четыре пятиэтажных дома стоят среди лесотундры. В трех уже живет около восьмисот строителей, работают столовая, магазины, а четвертый почти готов и вот-вот будет сдан. Кстати, в одном из этих домов, в отданной под временную гостиницу квартире со всеми удобствами, мы сегодня ночевали. А в столовой вчера обедали. А на доске объявлений, у входа в столовую, среди сообщений о часах работы мужской и женской парикмахерских и об открытии музыкальных курсов висело и такое: «В воскресенье все желающие приглашаются выехать на экскурсию в тундру. Музыка, буфет. Сбор в 10 часов».

В блокноте: «Здесь, направо, фундаменты будущей постоянной котельной. Летом здание будет уже стоять».

Правильно, стоит.

И клуб, о котором говорили, что закончат его к весне, стоит. Хороший клуб, с хорошим залом на триста мест, с библиотекой, комнатой отдыха. И построен хорошо — просторно, по-современному, и обставлен неплохо, и акустика в нем отличная. Я сам убедился в этом, когда выступал там, затесавшись в несколько неподходящую для меня по возрасту компанию ребят и девушек из выездной редакции радиостанции «Юность».

И большой бытовой комбинат будущего рудника «Маяк-I» тоже стоит, подведенный под крышу, на том самом месте, на которое тогда, в декабре, мне показывали: «Вот здесь будем ставить комбинат».

И здание турбокомпрессорной, которого не было, тоже стоит, как и многие другие наземные сооруже-

ния, входящие в большое и сложное хозяйство рудника.

Да, слова у людей здесь не расходятся с делом — ни на земле, ни под землей, где трест спецпроходки двумя глубокими стволами пробивается к тому, ради чего возник этот строительный городок в непроходимой тундре,— к богатейшей полиметаллической талнахской руде.

Над землей здесь все или почти все как тогда, в декабре. Стоят над стволами те же самые два временных копра. Разница только в том, что рядом с одним из них уже заканчивается монтаж громадного постоянного металлического копра. Он монтируется в сторонке, на рельсах, как бы дожидаясь своей очереди. В сентябре, когда там, внизу, в клетьевом стволе под временным копром будут завершены работы, временный копер уберут, а постоянный, не тратя ни одного лишнего дня, надвинут на его место. Так же будет и со вторым, скиповым стволом — только на несколько месяцев позже. Там, рядом с временным копром, на земле уже начинают готовить металлические конструкции к постоянному.

Но главные перемены, как говорят знающие люди, все-таки не наверху, а внизу, под землей.

Однако об этом — в следующей главе репортажа...

2

Чтобы узнать о переменах, происходящих там, внизу, под землей Талнаха, начинаю с того, что иду после конца первой смены на рабочее собрание коллектива спецпроходки, посвященное подведению итогов работы за июль и первую декаду августа и уточнению планов на будущее. Слушая сообщения о выполнении планов по каждой бригаде проходчиков, заглядываю в свой декабрьский блокнот: «В клетьевом стволе пройдено 110 метров; он должен быть доведен до руды, до конечной отметки 313 в августе. В скиповом стволе пройдено 70 метров; он должен быть доведен до конечной отметки 378 к концу октября».

Так мне говорили тогда. Что слова и тут не разошлись с делом, становится ясным по ходу собрания, хотя отнюдь нельзя сказать, что оно проходит в идил-

лической обстановке и что все довольны собой и друг другом.

Речь на собрании идет не только об успехах, но и о неполадках: о несвоевременной откачке воды, на несколько дней задержавшей работу в скиповом стволе, о пневматической лебедке, которую уже пора спускать в ствол, но ее еще нет на месте, и о разных других малоприятных вещах.

Но попутно выясняется, что все эти критикующие друг друга за те или иные неполадки и просчеты люди своим настойчивым и тяжелым трудом уже добились того, что дела этого года у них не разошлись с прошлогодними обещаниями.

И сейчас, когда обсуждаются планы и обязательства, когда люди обдумывают, как и где можно выиграть еще несколько дней, по их выступлениям чувствуется, что время уже и так уплотнено туго, без зазоров. Их движения неторопливы, прежде чем принять обязательство, они как бы взвешивают на ладонях всю тяжесть предстоящего труда.

И, не стану скрывать, меня радует и обнадеживает та неторопливость, обдуманность, с которыми здесь, на моих глазах, принимаются самые небольшие поправки в сроках. За этой неторопливостью чувствуется твердое намерение сделать все, что сегодня обещают, и не обещать того, что не сделают.

Попутно с тем главным вопросом, ради которого собрались, возникают и другие, тоже существенные. Все еще туго с жильем; возникли неполадки с транспортом для тех, кто живет в Норильске и ездит сюда на работу; перестали подавать автобус после ночной смены — приходится ловить попутные. Волнуются, и справедливо волнуются, насчет школы: школьников в Талнахе все прибавляется! В прошлом году ребят обеспечили интернатом в Норильске, а в этом году там, очевидно, для всех не хватит мест, а здесь, в Талнахе, неизвестно, успеют ли к началу учебного года оборудовать школу. Через несколько дней прозвучит первый звонок, а ясности нет, и она, к сожалению, не возникает и здесь, на собрании, после разноречивых объяснений, которые дают по этому поводу руководители. С детским садом тоже плохо. Маленький, под который отдали одно из служебных помещений и который ско-

ро откроется, всех детишек не вместит, а большой, на 280 ребят, только на днях решили строить.

За словом в карман не лезут, говорят обо всех недостатках начальству в глаза, прямо, порой даже сурово, но без перехлестов, без демагогии, с сознанием того, что все, о чем говорят и что действительно нужно сделать, делать здесь, в этих условиях вчерашней непроходимой тундры, далеко не просто.

Перехлестов и демагогии здесь не любят. Когда вдруг среди деловых критических замечаний один из проходчиков начинает крикливо жаловаться, что вот он закончил проходку ствола, сейчас будет период подготовительных работ, самое время взять двухмесячный отпуск, а ему дают только месяц,— тут он, вопреки своим ожиданиям, не находит поддержки у собрания.

Заместитель начальника цеха, старый производственник, из тех, кого на мякине не проведешь, встает и спокойно объясняет, что «уважаемый товарищ такой-то» в начале года, когда всем было предложено подать заявки на отпуска, заявки не дал. А не дал он этой заявки потому, что не знал заранее, когда у него лично кончится период проходки — то есть самый высокооплачиваемый по сравнению с другими период. И, если бы сейчас у него продолжался период проходки, он бы отпуска не попросил, а раз окончился — просит, потому что хочет, чтобы подготовительный период перед проходкой нового ствола, когда заработки в бригаде поменьше, обошелся без его участия. Пусть подготовкой займутся другие люди, а он посидит в отпуске и вернется сразу на высокие заработки, на готовое. «Не выйдет, уважаемый товарищ. Не по-товарищески мыслите!»

«Уважаемый товарищ» сникает. По собранию проходит адресованный ему неодобрительный смешок. Сорвалось, не вышло!

После ответов на текущие производственные и бытовые вопросы, после выступлений начальников стволов Александра Слепенкова, Виталия Бакланова и одного из лучших проходчиков, Петра Яновского, на собрании принимаются обязательства. В заключение председательствующий читает присланную Центральным Комитетом ВЛКСМ поздравительную телеграмму ко Дню строителя — Талнах недавно объявлен все-

союзной ударной комсомольской стройкой. Об этом каждого подъезжающего к Талнаху теперь извещает стоящий на въезде большой, любовно оформленный ребятами транспарант.

После собрания спускаемся вместе с начальником скипового ствола Виталием Баклановым в металлической бадье, которая служит сейчас и для подъема породы и для спуска людей на 329-й метр, до которого сегодня дошло работающее там, внизу, звено Николая Трифонова. В лучах шахтерских лампочек мелькают мощные, пятиметровые в поперечнике, металлические тюбинги ствола. Почвы Талнаха изобилуют водой, и верхние слои их для того, чтобы вода не заливала ствол, на 60 — 70 метров в глубину искусственно замораживают. Если бы не это, работать здесь было бы трудно. И так, конечно, нелегко: вода сочится сверху сотнями беспрерывных капелей. С ней борется мощная трехэтажная система откачки. Снизу до первой трети высоты ствола воду подают в подвешенный в самом стволе, сконструированный здесь, на месте, длинный и узкий металлический бак. Из этого бака, если можно так выразиться, на «второй этаж» качают воду в большую бетонную емкость, устроенную в специально выбранном в породе «кармане». И только оттуда уже качают на «третий этаж» — на поверхность.

Виталию Бакланову, который руководит коллективом из девяноста человек, всего 28 лет. Из них восемь он уже на этой работе; пошел работать сразу после техникума, а сейчас учится на четвертом курсе Донецкого политехнического института. Здесь, в Талнахе, уже пятое по счету место его работы. Жизнь кочевая смолоду, и такой, наверное, будет вся жизнь и у него и у его жены, которая тоже здесь, в Талнахе, и тоже работает.

Надо сказать, что это вообще скорей правило, чем исключение. Мужья и жены вместе приезжают и вместе работают. И нетрудно понять, какое значение в этих условиях, особенно тут, на Севере, приобретает наличие или, наоборот, отсутствие детских садов и яслей. У Бакланова и его жены четырехлетняя девочка. У них одна, а вот, например, у начальника строительного участка, возводящего жилые дома, Николая Мельникова и у его жены-крановщицы целых четверо

сыновей! Пока что жена Мельникова работает в Норильске, но двум молодым людям мало радости жить порознь; она собирается перебраться сюда, и нетрудно себе представить, какой проблемой станет тогда для них детский сад. Для них так же, как и для многих других.

На поверхности, после спуска в ствол, неправдоподобно тихо. Это, конечно, только кажется, потому что кругом со всех сторон шумит работа. Но для того, чтобы представить себе всю сложность работы проходчиков, надо сказать и об этом — о резком и внезапном ощущении тишины наверху. Там, внизу, в гигантском трехсотметровом колодце ствола, грохот буров, лязг подъемных механизмов и даже шум воды и звуки человеческих голосов — все приобретает из-за резонанса гиперболическую силу. Даже привычные к своей работе люди, поднявшись на поверхность, первые минут двадцать плохо слышат друг друга. Нетрудно понять тех из них, кто не хочет после такой работы ловить попутную машину и считает себя вправе, помывшись в душевой, сразу сесть в автобус и ехать. Правда, этот вопрос как будто обещают решить. Раньше здесь, в Талнахе, был только цех спецпроходки, теперь сюда переезжает из Калуги само управление работ: сидящий на собрании начальник управления обещает отрегулировать эту да и некоторые другие проблемы. Ну что ж, будем надеяться, что и у этого нового талнахца слова не разойдутся с делом.

От проходчиков едем к геологам, на одну из их многочисленных точек. Скважину КЗ-434 бурят в сравнительно благополучном месте, в том смысле, что к ней можно добраться на «газике». А ко многим другим без вездехода не попадешь.

Меня привозит сюда главный инженер геологической партии Александр Николаевич Манюков — невысокого роста, совсем еще молодой человек, но, судя по его повадкам, уже опытный, строгий и рукастый руководитель. Там, в конторе партии, у входа в щитовой домик, на деревянном постаменте лежит первый добытый кусок талнахской руды, а в кабинете начальника стоят в углах два знамени — Главгеологии РСФСР и Красноярского краевого управления. Геологических партий в стране и крае немало, но оба переходящих

знамени сошлись теперь вместе не где-нибудь, а именно здесь, в этом щитовом домике.

А добыты эти знамена на многочисленных раскинутых вокруг Талнаха скважинах, добыты вместе с породой и рудой, долгим упорным трудом вот здесь, на этой буровой вышке, на которой мы сейчас находимся, и на десятках других, рядом и поодаль.

На скважине КЗ-434 командует старший мастер Николай Павлович Осипов. Начал бурить ее 18 июля, а сегодня дошел до глубины 312 метров. Согласно геолого-технической карте, висящей тут же, внутри вышки, руду ожидают в первый раз на глубинах 466 — 515 метров и во второй раз — на 584 — 595.

— Если все будет благополучно, к концу августа должны дойти до руды,— говорит Осипов.

Он немногословен, да и в самой этой работе и в обстановке на буровой есть что-то, не располагающее к многословию. Кроме карты, на стене план проходки в метрах, да рация для связи с диспетчерской службой, да небольшой плакатик, сообщающий, что здесь работает бригада коммунистического труда.

Люди напряженно и дружно трудятся, видимо, понимая друг друга с полуслова, и отвлекаются от дела для разговора со мною без особой охоты, что, к слову сказать, у меня лично вызывает обычно чувство уважения.

Осипов приехал сюда в декабре, под Новый год, а до этого тринадцать лет бурил на Урале.

Пока мы беседуем, на буровую мимоходом заглядывает другой старший мастер — сосед Анатолий Дмитриевич Сажин. Этот приехал сюда не с Урала, а с Ангары — бурил там на свинец. Работает на буровых седьмой год.

Спрашиваю, где семья.

— Семья со мной. Жена тоже геолог. В общем, как говорится, семья разведчиков!

Сейчас, летом, старшие мастера наблюдают за работой двух буровых каждый. А зимой, как правило, по одной буровой на старшего мастера. Вышки стоят в тундре с большими разрывами, и в сорок градусов, да еще со здешними бешеными ветрами и пургой с вышки на вышку по нескольку раз за смену не пошагаешь...

Спрашиваю, какие трудности. Отвечают уверенно и немногословно:

— Работа здесь вся кругом нелегкая, но особенных трудностей нет. За исключением, пожалуй, одной старой болезни — от времени до времени по-прежнему не хватает запасных частей к станкам, насосам, к тракторам, машинам. Не хватает троса, шланга, даже иногда бурильных коронок не хватает...

Упоминают об этом коротко, но сердито, видимо, надоело, что уже сколько лет в скольких местах все никак люди на спланируют до конца, как нам развязаться с этой самой старой и самой прилипчивой из всех наших болезней роста.

Вечная беда человека, дающего материал в очередной номер газеты: хочется написать сразу о многом, а место ограничено, и ты сам прекрасно знаешь это, потому что газетный лист — не журнал и не книга.

Хочется написать о развороте работ и о самом Норильске, перед которым в будущем стоит сложнейшая задача: перерабатывать продукцию Талнаха.

Хочется написать о людях, которым предстоит проложить сюда 600 километров газопровода, и о работниках Игаркской мерзлотной станции, помогающих изыскателям находить новые, небывалые варианты прокладки этого газопровода в условиях вечной мерзлоты.

Хочется написать о речниках Енисея и о моряках Северного флота, которые каждый год за период очень короткой и трудной навигации должны забрасывать сюда, в Заполярье, все, что понадобится строителям в течение целого года,— начиная от сверхтяжелых металлических конструкций и тепловозов и кончая мукой и картошкой.

Хочется написать о портовиках связанного с Норильском ниточкой самой северной в мире железной дороги речного порта Дудинки, где за тридцать лет работы уже много построено, но где за три будущих года надо построить еще втрое больше.

Хочется написать обо всем этом, потому что все это связано здесь в один неразрывный узел, в одну общую цепь, из которой не имеет права выпасть ни одно звено.

Хочется написать обо всех местах, где был, и обо всех людях, с которыми встречался, и обо всех про-

блемах, которые обнаружились в разговорах с ними. Но если выбирать, а выбирать все-таки надо, то я хочу сказать о проблеме, которая, как я понял, сейчас больше всего волнует норильчан и талнахцев.

Если бы то, что мне говорили там, в Заполярье, об этой проблеме, изложить в виде краткого открытого письма норильчан и талнахцев своим поставщикам, то это письмо, очевидно, выглядело бы примерно так:

«Дорогие друзья, дорогие товарищи поставщики! Вы, наверное, прекрасно знаете, что такое для строителей некомплект материалов или некомплект оборудования. Но мы просим вас в данном случае возвести это понятие в квадрат, потому что в наших условиях все, что будет недодано нам и недоукомплектовано до конца нынешней навигации по Енисею,— все это придет к нам в Норильск и Талнах только в конце июня будущего года. Когда кончится навигация, досылать и доукомплектовывать будет поздно! Все, что не будет направлено своевременно водой, придется досылать самолетом. Мы не будем вдаваться в подробности, но просим вас помнить, что сегодня, в середине августа, до конца навигации остались считанные дни. Пожалуйста, помните об этом, изготовляя и отгружая предназначенные нам материалы и оборудование. Пожалуйста, считайте эти дни так же, как мы считаем их здесь, в Заполярье! А мы, в свою очередь, обещаем вам не потерять ни одного дня и часа в том стремительном развороте работ, который вы обеспечиваете своими поставками...»

Может быть, это письмо, если бы оно действительно было написано в Норильске или Талнахе, выглядело несколько иначе, но в конце концов дело не в форме! За форму я, как журналист, готов взять ответственность на себя. Дело в сути. А суть этих связанных с хозяйской заботой о нашем общем деле тревог, которыми со мной делились самые разные люди и в Норильске, и в Талнахе, и в Дудинке,— эту суть я, надеюсь, изложил точно.

В заключение — еще одна запись из прошлогоднего блокнота: «Здесь, в Заполярье, народ должен быть громкий. Здесь тихий народ ничего не сделает».

Я записал тогда эти слова одного из строителей Талнаха с некоторым колебанием. Тогда они мне показались немножко самоуверенными. Но сейчас, через восемь месяцев, когда я своими глазами имел возможность убедиться, что за самыми редкими исключениями все, о чем говорили люди тогда как о будущем, сейчас выполнено, сделано в натуре,— мне захотелось привести эту фразу. Громкий народ — это не те, кто громко говорит. Громкий народ — это те, у кого слово не расходится с делом, кто гремит не словами, а делами. И думаю, что в этом смысле о норильчанах и талнахцах с полным правом можно сказать: громкий народ!

Игарка — Дудинка — Норильск — Талнах,
август 1964 г.



Сады на поле боя

(Монгольские записи)

1

Я давно, с юности, люблю эту страну: ее чистый воздух, ее неповторимые рассветы и закаты, ее близкие душе русского человека щедрые степные просторы, ее людей, немногословных, выносливых, сильных, верных в дружбе, стойких перед лицом смерти. Я чувствую себя счастливым, снова приехав сюда в этом августе, четверть века спустя после того, как был здесь впервые.

Неужели прошло уже четверть века? — невольно спрашиваю я себя. Четверть века с того, другого августа, когда газеты всего мира писали о катастрофе шестой японской армии после четырехмесячных боев в районе реки Халхин-Гол, где вторгшиеся в Монголию японские милитаристы и марионеточные войска императора Манчжоу-Го Пу-И скрестили оружие с монгольской и советской армиями.

Неужели прошло целых четверть века с тех пор, как в восточной Монголии громыхнули на весь мир первые раскаты еще формально, на бумаге, не начавшейся второй мировой войны?

Неужели в этот мирный год мы с монголами уже отмечаем четверть века нашего товарищества по оружию, скрепленного тогда, в тридцать девятом, общей кровью и общей победой?

Я пишу эти заметки с волнением человека, у которого с Монголией связана юность: и первый грохот бомбежек, и первое, оставшееся на всю жизнь ощущение того, что интернационализм — это не только высокое слово, а прежде всего дело, помощь одного революционного народа другому в тот решающий час, когда рука старого мира угрожающе занесена над головой нового.

Для меня в этой поездке настоящее переплелось с прошлым, мир с войной; да, пожалуй, иначе и не могло быть! Сама жизнь переплела историю нашей дружбы с монгольским народом так, что в ней, в этой истории, есть и общие битвы с врагом, и общая борьба за мир, и общие усилия, которыми создается новое общество.

Были разные времена, разные трудности, разные повороты истории, но среди всего этого неизменной величиной остается наша дружба, и сила этой дружбы определяет все остальное.

Закончился последний юбилейный вечер в Улан-Баторе, завершивший собой торжества, посвященные двадцатипятилетию Халхин-Гольской битвы. Мои товарищи по делегации, заслуженные генералы Советской Армии, когда-то в разных, еще не генеральских званиях прославившие себя, сражаясь плечом к плечу с монголами за свободу и независимость их страны, улетели домой, в Москву. А я, из-за поездки в далекое Заполярье попавший в Монголию только в последние дни торжеств, теперь лечу на Халхин-Гол один. Все остальные побывали здесь раньше.

Небывало дождливый август поднял все реки, кое-где посрывал мосты, и на машине до Халхин-Гола не доберешься.

В самолете нас пятеро: я, молчаливый подполковник войск связи Сэрдамб, уже немолодой, с халхингольским значком на груди — он служил во время Халхин-Гола цириком, то есть солдатом-связистом в Шестой Монгольской кавдивизии; молодой талантливый монгольский новеллист Эрдэнэ, книга новелл которого скоро выйдет у нас в Москве, и двое летчиков — маленький толстый крепыш майор Батачир и худощавый, тоненький, молодой и, как и положено по монгольской традиции самому молодому, самый молчаливый во всей нашей компании младший лейтенант Баяр.

Батачир летает уже 27 лет. Воевал на Халхин-Голе, летал на «У-2», теперь летает на «антиках», заменивших привычную с войны «уточку». Спрашиваю его: где учился? Оказывается, здесь, в Монголии. Спрашиваю, чем командует. Ничем не командует. Командует своим самолетом. Летает 27 лет, поэтому и долетался до майора. А сыновья не летчики? Нет, сыновья не летчики. Старший сын — главный инженер на Улан-Баторской электростанции, средний учится в Москве в политехническом, а младший едет в этом году учиться в Киев, в Институт пищевой промышленности. Значит, трое? Нет, не трое, а восемь — четыре мальчика, четыре девочки, но остальные еще в школьном возрасте.

Батачир, едва мы поднимаемся в воздух, дает мне карту. Поглядывая в окно, время от времени смотрю на нее.

Пейзаж знакомый, но в нем обращает на себя внимание то, чего не было раньше,— большие желтые квадраты полей: в степи теперь госхозы. Эти квадраты воспринимаются как-то неожиданно. Геометрия непривычно вписывается в здешнюю природу. Так же непривычно, как прямоугольнички домов рядом с кружками юрт на центральных усадьбах госхозов. Раньше с воздуха бывали видны только белые кружочки юрт и мелкая россыпь разноцветных точек — стада. Все это есть и сейчас. Но рядом с этим — прямоугольнички домов и громадные квадраты полей — новая геометрия Монголии.

Летим к Ундурхану вдоль Керулена — самой длинной реки Монголии. Летим к тому самому Ундурхану, из которого летом 39-го шла на выручку в район Хал-

хин-Гола семьсот километров своим ходом знаменитая Яковлевская бригада. Шла и в самый критический момент подоспела из Ундурхана на Баин-Цаганское плоскогорье, на которое уже переправилась с того берега целая дивизия японцев.

Когда-то я писал об этом марше в поэме «Далеко на Востоке»: «Бригада шла по барханам от самого Ундурхана. Был только зной и песок, зной и песок, сквозь броню и чехлы. Приходилось мокрыми тряпками затыкать кобуру нагана, как детей, пеленать крест-накрест орудийные стволы...»

Сейчас погода сырая, прохладная. Ничто не напоминает о зное, который стоял в то халхин-гольское лето в этих местах.

Садимся в Ундурхане. Оказывается, дальше, на Баин-Тумень (теперь этот город называется Чойбалсан), пока не дают погоды: там проливной дождь.

Сидим и ждем на краю летного поля, одной из тысяч травянистых площадок, на которых можно садиться в этой восточной монгольской полупустыне. Начинаю разглядывать карту следующих отрезков пути, которую мне дает майор Батачир. Гляжу и предчувствую зрелище, которое будет разворачиваться перед глазами,— знакомое и, наверное, в чем-то незнакомое. «Сол.», «г.-сол.». Это значит — соленые и горько-соленые озера. «Раз.» — развалины. «Земл.» — землянки. «Раз. земл.» — развалины землянок. Как черная сыпь, на карте по всему Тамцак-Булакскому выступу рассыпаны эти землянки. Да, много тут перебывало войск и в 39-м и в 45-м, когда отсюда наши и монгольские войска двинулись к отрогам Хингана, к твердыням Квантунской армии, столько раз до этого — и в 36-м, и в 37-м, и в 39-м — вторгавшейся оттуда в Монголию.

В Ундурхане сидим долго, тревожась, что пропадает день, а у нас их немного. И нам надо не только побывать на местах боев, но и познакомиться с работой Халхин-Гольской опытной станции, испытывающей сорта пшеницы, кукурузы, яблонь там, где когда-то японские милитаристы испытывали прочность нашего оружия и нашего интернационального духа.

Наконец во второй половине дня все-таки вылетаем из Ундурхана и в Баин-Тумень — нынешний Чойбал-

сан — прилетаем уже перед вечером. За пиалой традиционного монгольского крепкого желто-белого чая с молоком (кстати, пиала — из тонкого собственного монгольского фарфора, раньше его не существовало) председатель аймачного совета, по-нашему говоря, облисполкома, бывший начальник политотдела дивизии, рассказывает о хозяйстве своего аймака. Он говорит, что урожай в этом году обещает быть хорошим, а посевы сильно расширились: в этом году по их аймаку соберут зерновые с 42 тысяч гектаров. На первый взгляд цифра невелика, но когда я ее слышу здесь, в Чойбалсане, где и в помине не было никаких зерновых, цифра 42 тысячи, зрительно подтвержденная еще до этого той геометрией полей, которую видел с самолета, кажется необыкновенно значительной.

Однако долго сидеть за чаем некогда, скоро стемнеет, а надо успеть посмотреть то, чего я здесь не видел раньше.

На центральной площади городка, окруженной зданиями десятилетней школы, техникума, гостиницы, Дворца культуры, стоит высокий белый памятник советским и монгольским бойцам, погибшим в период халхин-гольских событий. А недавно здесь, за городом, открыт еще один памятник, поставленный монгольскими друзьями нашим летчикам. Едем туда. По дороге проезжаем мимо нового, не так давно построенного промкомбината, видим вдалеке здания перевалочной базы — теперь сюда подходит железная дорога, которой тогда, в 39-м, не было, ее еще только тянули сюда с крайней поспешностью. Выезжаем в степь и сразу видим памятник.

В степи поднимается холм, довольно высокий, хотя он и не кажется высоким из-за своей пологости. Называется он «Бунхан», что по-монгольски значит: усыпальница. Наверно, когда-то холм был чьей-то усыпальницей. Был и снова стал ею. На круглой вершине холма, на фоне знакомого тревожного монгольского заката, в безмятежно спокойной вечерней степи стоит серо-белая высокая бетонная стела необычной, суровой и значительной формы. Это не пропеллер и не крыло, но что-то такое, что в своем каменном обличье напоминает и пропеллер, и чем-то тревожа и бередя твои чувства.

Памятник открыт, хотя еще не вполне закончен. Уже привезен камень для низкой каменной стенки, которая будет стоять рядом со стелой, на ней будут вырезаны имена 81 летчика, погибших в разных местах, но похороненных здесь. Кладбище, где они похоронены, здесь же под холмом, внизу, прямо в степи, в сотне метров от спокойного берега Керулена. Восемьдесят один белый низкий прямоугольничек бетонных побеленных плит. Над большинством из них ничего нет, над некоторыми столбики со звездочками, над двумя — два старых пропеллера, а над одной могилой — выкрашенный в красный цвет крест, деревянный, наверно, поставленный кем-то из приезжавших сюда осиротевших стариков родителей.

Возвращаемся в город. Все больше темнеет. Все-таки я был прав тогда, в 39-м, в своем тогдашнем первом ощущении молодого, еще мало что видевшего человека. Здешние монгольские закаты ни с чем не сравнимы своей резкостью и тревожностью. Вот и сейчас на фоне, казалось бы, ровного и спокойного розового заката вдруг проходит узкое острое свинцовое облако, проходит быстро, как подводная лодка, напоминая ее и контурами и скоростью своего движения.

Возвращаемся в гостиницу. Гостиница типовая, каменная — теперь такие построены во всех аймаках. Довольно большая, на 80 мест гостиница, со столовой и даже с верандой для летнего кафе. В гостинице вместе с нами ночуют наши советские комбайнеры, по-соседски приехавшие сюда на перекладных, машинами из Читы, чтобы помочь своим монгольским товарищам в уборке богатых нынешних хлебов.

Встаем рано, на рассвете. Через окна недостроенного спортзала рядом с гостиницей — багрово-красный рассвет. Едем к самолету. Сделав круг, еще раз проезжаем мимо белого памятника на фоне почти черного, только с одной стороны освещенного неба.

Вчера ночью, сидя на крыльце гостиницы и слушая доносившийся через раскрытое в ночь окно, разговор комбайнеров о том, что хлеба у монголов стоят богатые и хорошо бы прямо завтра же приступить к уборке, я вспоминал 39-й год, первые числа октября... Несмотря на осень, день выдался жаркий. Мы летели из Тамцак-Булака в Читу и сделали посадку здесь, в Баин-Туме-

ни — сидели два или три часа. Летели на «ТБ-3» — одном из тех, которые так беспощадно и безнаказанно потом, в 41-м, у меня на глазах жгли над Бобруйском немцы. В крыльях бомбардировщика мы везли из Монголии в Читу человек тридцать японских пленных, не пожелавших возвращаться на тот суд и расправу, которые им, так же как и другим военнопленным, готовила после возвращения контрразведка Квантунской армии. Их выгрузили из крыльев; они тоже сидели поодаль от нас, на солнцепеке, одни, без часовых. Впереди у нас была Чита, возвращение в Москву и поездка на Запад. Продолжался освободительный поход в Западную Белоруссию и на Украину, и неизвестно было, чем все это кончится — может быть, войной с немцами...

Мы сидели на солнцепеке с корреспондентом «Правды» Николаем Кружковым, дожидались, когда вернутся к самолету летчики, смотрели на греющихся на солнце японцев и думали о немцах. И тревожно говорили об этом между собой. Нет, у нас было предчувствие неизбежной войны с фашистами. Было. Неправда, что его тогда не было!

Сегодня, в августе 64-го, на летном поле Чойбалсанского аэродрома, оживленно. Множество народа дожидается очереди лететь в Улан-Батор, а самолеты вчера не пришли из-за дурной погоды. Женщины, дети, араты в халатах, с заплечными торбами. Самолеты вошли здесь в быт, к ним тут привыкли, пожалуй, больше, чем где-нибудь у нас, в средней полосе России.

К писателю Эрдэнэ подходит его знакомый, изящный молодой парень, худощавый, стройный, в остроносых ботинках, в узких брюках, в ловко сшитом костюме, шляпе и плаще. Знакомимся. Выясняется, что этот молодой человек — местный уроженец, был в отпуску у себя в аймаке, прожил месяц в юрте у родных-скотоводов. А сейчас возвращается на работу.

— Куда летите?

— Сначала в Улан-Батор, потом в Москву, потом в Варшаву. Я работаю там в нашем монгольском посольстве.

Пока все еще не дают погоды. Майор Батачир договаривается с пилотом другого АНТа,— который должен взлететь и взять направление на Ундурхан, на

запад,— чтобы тот взлетел повыше, посмотрел и сообщил по радио, далеко ли на восток простирается туман, может быть, он только местный. Как там, на Халхин-Голе, отсюда узнать невозможно. Там нет постоянной посадочной площадки, а с опытной станцией сеанс радиосвязи начнется только через два часа.

Самолет, летящий на Ундурхан, поднимается в воздух и тает в небе над нашими головами.

Гляжу в степь, ровную и далекую, и думаю о том, что она рождает какое-то особенное внутреннее чувство неторопливости, непоспешности. А в то же время сейчас в ней здесь, в Монголии, все нарастают и нарастают скорости движения. Грузовики, «газики», самолеты — все это уже давно вошло в общий быт — скорости стали привычными. Но степь все равно не потеряла своей власти над чувствами человека. Хочется, глядя на ее пространства, распрощаться со всяческой лишней суетой в собственной жизни. Хочется даже сейчас, когда не едешь по ней на верблюде, а летишь над ней на самолете или несешься по ней в «газике».

С полетевшего в Ундурхан самолета сообщили, что туман местного значения, можно лететь. Грузный Батачир ловко и быстро ныряет в самолет, и через полминуты мы уже взлетаем стремительно, как мотоциклетка. Батачир вообще не любит проводить времени зря, и, по-моему, где-то в глубине души он не в ладах с метеорологами,— предпочел бы обходиться без них. Тем более, что, хотя про него говорят, что он рискованный летчик, за 27 лет у него не было ни одной аварии.

Летим на восток, к озеру Буир-Нур, туда, где в него впадает Халхин-Гол. Под крылом самолета появляется все больше и больше следов от юрт и палаток — круглые, квадратные, снова круглые и снова квадратные... Потом вдруг след от большой палатки — громадный прямоугольник; то ли это был склад, то ли большая штабная палатка. Вот такая здоровенная палатка была и у нас в Баин-Бурте, у нашей походной типографии «Героической красноармейской». Наверно, и там, среди круглых следов юрт, до сих пор остался такой же след большого прямоугольника.

Наконец вдали появляется Буир-Нур. Я смотрю то на местность, то на карту и не сразу понимаю, что же

это такое там на местности? Какой-то громадный острый угол, очень хорошо видный: не то противотанковый ров, которых здесь никогда не было; не то какие-то посадки, высаженные этим странным углом; не то какая-то дорога, тоже странная по форме. И только потом, сличив еще раз местность с картой, я наконец понимаю, что это граница. Оказывается, после уточнения границ, происходившего в последние годы, китайцы пропахали весь этот угол двойной широченной полосой. И он выглядит в этой степи такой наглядной границей, какой мне еще не приходилось видеть.

Под крылом слева, в синеватой дымке утреннего тумана, проходит Буир-Нур, а прямо под нами идут окопы, окопы, ходы сообщения. Здесь, прикрывая левый фланг всей нашей обороны на случай обхода его японцами, стояло несколько эскадронов Шестой Монгольской кавдивизии.

И снова следы юрт, палаток, блиндажей, землянок... Все это — брошенное, прошлое и мертвое. И вдруг — пятна, живые пятна живых юрт, а рядом с ними — грузовики, «газики» и стада. Опять юрты, опять машины и, наконец, ровные зеленые, тщательно, как по линейке, вымеренные квадраты полей, огородов и садов опытной станции. Посадки леса. Квадраты, квадратики, полосы. Домики, баскетбольная площадка. И мы, сделав круг, садимся неподалеку от городка опытной станции, почти на самом берегу Халхин-Гола...

Директор опытной станции подъезжает на своем «газике» прямо к самолету, лихо тормозит, выскакивает из-за руля и крепко жмет нам руки.

Товарищ Хучит — на вид совсем еще молодой человек, лет двадцати пяти, не больше, хотя, как вскоре выясняется, на самом деле ему уже тридцать три, и он сам считает себя здесь стариком. Не только потому, что в феврале шестидесятого года, в разгар жестокой здешней зимы, первым вместе с пятнадцатью товарищами приехал основывать здесь станцию, но и потому, что среди двадцати пяти научных работников станции сегодня он действительно самый старый — никому из остальных нет еще и тридцати.

Директор одет небрежно, по-полевому, озабочен и весел одновременно, потому что дел невпроворот, но они, по его словам, идут хорошо. Получаю от него

первую справку о том, что представляет из себя сейчас его станция. Он только что пригнал сюда, за восемьдесят километров, с опытных полей, где убирают сейчас зерновые, а здесь, рядом с главной усадьбой станции, на берегу Халхин-Гола, сажают огородные культуры, ягодники и сады.

— А кукуруза? — спрашиваю я, потому что, еще когда приземлялись, успел заметить растущую здесь высоченную кукурузу.

— А мы здесь ее используем как кулисы для яблонь, прикрываем их от здешних ветров. Выходит неплохо. Может, сразу пойдем, посмотрим?

И мы сразу идем смотреть. И хотя хозяйство опытной станции с воздуха мне показалось не таким уж большим, обойти его на своих двоих, шагая за быстроногим «стариком» директором, оказывается, не так-то просто — на это уходит без малого день.

Я не хочу притворяться знатоком сельского хозяйства, да навряд ли что-нибудь и вышло, если бы я попробовал это сделать, но у меня, пожалуй, есть одно преимущество: я видел эту землю раньше, когда к ней притрагивался только один инструмент — саперная лопатка. А сейчас, после четырех, а вернее, трех с половиной лет работы двадцати пяти молодых монгольских интеллигентов с высшим и средним сельскохозяйственным образованием и двухсот рабочих — вчерашних скотоводов,— здесь, на этой земле, растет все, что можно найти в хорошем, большом, разностороннем хозяйстве где-нибудь в средней полосе России.

И этот контраст между тем, что было, и тем, что есть, не перестает радостно удивлять меня на протяжении всего дня, пока я, в меру сил поддавая ходу, бегаю за Хучитом.

Им владеет такая радость нового, что он беспрестанно и беспощадно заставляет меня пробовать все, что здесь выращено. Я ем лук и морковь, огурцы и помидоры, пробую с кустов малину, и черную смородину, и крыжовник, и сливы, пробую яблоки шести или семи сортов, и, кажется, только картошка, свекла и капуста минуют меня во время этого осмотра. С ними мне предстояло познакомиться в борще, когда мы, вернувшись, сели обедать в столовой, где питается большая часть работников опытной станции.

Я думаю, что монгольские друзья не обидятся на меня за то, что я вспоминаю об этом с улыбкой. Мне так понятна их щедрая творческая радость при виде дела своих рук. Так бывает и с нашим братом: напишешь что-то новое, что тебе нелегко далось, но в конце концов вышло, и так, бывает, хочется, не дожидаясь, когда это будет оттиснуто в типографии, прямо тут же, с листа, вслух прочесть пришедшему к тебе другу. При всей разнице видов продукции, наверно, в этом все же есть то сходство, о котором я говорю.

Я осматриваю все подряд: и огороды, и ягодники, и квадраты полей с бахчевыми культурами — тыквами, кабачками, арбузами, дынями («Арбузы и дыни еще не дозрели,— огорчается Хучит после нескольких бесплодных попыток все-таки отыскать арбуз, который можно дать мне попробовать,— лето дождливое, как никогда, но в прошлом году были прекрасные арбузы и дыни»).

Я смотрю плантации красного перца и первые пробные посевы богарного риса. Смотрю жиденькие посадки акаций («С акациями что-то пока не выходит, плохо приживаются»). Смотрю шумные зеленые, за четыре года великолепно вымахавшие вверх и разросшиеся вширь ряды тополей («Говорили, что здесь не будет расти лес, а он растет и будет расти, вон уже и в самом поселке второй год, как высадили у домов тополя!»). Но самое большое впечатление на меня производит, пожалуй, яблоневый сад. Я был в Монголии в разное время года и знаю, что такое здешняя лютая, бесснежная, насквозь продутая ветрами зима. Я понимаю, каких поисков, трудов и забот, какого терпения и решимости не отступать перед неудачами стоил здесь этот сад. Сорта яблонь главным образом сибирские, морозоустойчивые, подобранные к здешнему суровому климату. Часть сортов стелющиеся, такие, чтобы их можно было прикрывать зимой. Стелющаяся антоновка, стелющаяся боровинка, стелющаяся славянка...

Когда мы под вечер возвращаемся в контору опытной станции, в конторе пахнет не бумагой, а яблоками. Вот уж никогда не думал, что мои воспоминания о монгольской степи будут пахнуть не только чабрецом, но и антоновкой.

Мы начинаем разговаривать с директором о том, о чем обычно, посмотрев достижения, рано или поздно, но в конце концов все равно начинают расспрашивать друг друга свои люди: о трудностях, через которые пришлось пройти. Хучит с дружеской откровенностью отвечает на первый же мой вопрос: да, из тех пятнадцати, кто вместе с ним начинал здесь дело зимой шестидесятого года, выдержали не все — двое уехали, но тринадцать остались и работают...

Наш разговор вдруг прерывается: по какому-то делу к директору заходит скотовод опытной станции Пэльджэ. Хучит знакомит меня с ним. Пэльджэ уже за пятьдесят, он бывший цирик Двадцать третьего полка Восьмой Монгольской кавдивизии. Был ранен в шею японской пулей в бою на Халхин-Голе, чудом выжил. Сейчас вместе с сыном работает на опытной станции: он — скотоводом, сын — трактористом.

Наверно, оттого, что мы с Пэльджэ заговорили о Халхин-Голе, Хучит вдруг вспоминает, что мне завтра на рассвете лететь по местам боев. И хотя ему самому, кажется, не хочется прерывать нашу беседу об опытной станции, он все-таки предлагает мне продолжить разговор завтра, после того, как я слетаю на Халхин-Гол.

— Давайте завтра. Уже поздно, а вам вставать ни свет ни заря.

Интересно это у него получается — сильный монгольский акцент и типично русские обороты речи. Хотя он и не доучился в Тимирязевке, уехал домой из-за вспышки туберкулеза и заканчивал образование в Улан-Баторе, но два года, прожитых в студенческом общежитии в Москве, все-таки сказываются на той свободе, с которой он владеет русским языком.

Ну что ж, завтра, так завтра!

Перед сном выхожу из домика для приезжих покурить. Курю, думаю о завтрашней поездке, вспоминаю недавний мимолетный разговор с бывшим халхингольцем Пэльджэем. Да, за последние дни пришлось мне встретить много людей с круглым халхингольским значком на груди: маленьким летящим по степи всадником. И мои спутники в поездке — Сердамб, и Батачир, и Пэльджэ, и председатель аймачного совета в Чойбалсане, и представитель Монголь-

ского Госстройсовета в новом промышленном городе Дархане, который мы вместе с чехами и поляками помогаем строить монгольским друзьям,— Пэльджэ, нынешний строитель, в прошлом тоже халхинголец, комиссар Шестой Монгольской кавдивизии; и водитель грузового «ЗИЛа», на этой же стройке, бывший водитель броневика Цэрэндорж, который поднял там на прощание чарку за здоровье своего старого знакомого, члена нашей делегации, танкиста, бывшего командира бригады Макара Фомича Терехина. Много их, халхингольцев, в большинстве давно сменивших военную форму на штатский костюм и засучив рукава строящих новую жизнь!

А среди той молодежи, что работает сейчас здесь, на станции, как говорил мне Хучит, тоже есть несколько людей, чьи отцы были халхингольцами и сложили свои головы там, куда я завтра полечу.

Ночь. Мертвые спят в своих солдатских могилах на берегах Халхин-Гола. Возле дома тихонько шумят под ветром молодые тополя. Вдали стрекочет движок: в клубе идет кино...

2

Утром, перед тем как лететь дальше, вдоль Халхин-Гола, пьем чай в маленьком домике — гостинице для приезжающих. Саманный домик, печь, пять коек, лампочка, работающая от движка. Пьем чай с собственным, здешним, черносмородинным вареньем и с хлебом.

— А мука тоже своя?

— Нет, но, наверное, в ней есть и часть нашей, потому что сдаем зерно, везем его в Чойбалсан. Если будет время, когда вернетесь, может быть, съездим посмотреть на наши зерновые?..

— Да, конечно, непременно съездим!

Чтобы не терять времени, решаем днем перекусить где-нибудь в дороге. Уже готовы лететь, но вдруг какая-то задержка. Оказывается, директор опытной станции распорядился, чтобы в самолет принесли и овощи. С вполне понятной гордостью летчикам передают целую торбу с луком, помидорами и огурцами. Смотрю на все это с непреходящим удивлением; по старой

привычке все еще кажется — не может быть, что все это здешнее, а не привозное!

Поднимаемся в воздух и летим вдоль Халхин-Гола. Батачир разворачивает самолет — я сейчас лечу рядом с ним на месте второго пилота — и показывает мне на что-то, находящееся под крылом. Он, снижаясь, делает несколько кругов один за другим, чтобы я разглядел получше.

Под крылом, на откосе пологого холма, выложен громадный каменный ковер, метров по 30 в длину и ширину. Посередине какое-то наполовину выломанное изображение, но орнамент по краям прямоугольника сохранился: видны выложенные из камня верхушки буддийских пагод и громадные надписи. Как потом выясняю, этот каменный ковер был выложен здесь в начале девятнадцатого века по приказу местного монгольского князя Тована. Этот князь владел здесь пограничными с Маньчжурией монгольскими землями и приказал выложить вблизи границы из камня изображение Жанрайсага — бога милосердия и благого отношения ко всему живущему. А вокруг него — молитвенные надписи. Цель была одна: этим каменным языком навеки доказать соседям, что эта земля принадлежит монголам.

Покрутившись над памятником, летим дальше. Под крылом слева — Халхин-Гол. Идем над его западным берегом. Справа, там, где подвысохли солончаки, кое-где пятна соли, похожие сверху на гигантские белые иероглифы на желто-зеленом фоне степи. Пролетаем над Баин-Цаганом. Внизу мелькает и сразу теряется кажущийся отсюда маленьким памятник танкистам-яковлевцам. Летим над Хамардабой, на склонах которой землянки, землянки и остатки ходов сообщения командного пункта монголо-советских войск. На горбах — выемки наблюдательных пунктов. Подлетая к Хамардабе, видим памятник монголам и советским бойцам, так называемый памятник «Девяноста героям». Летим все дальше и дальше на юг, на бывший правый фланг, где дралась Восьмая Монгольская кавдивизия. Теперь там, на сопке Хан-Ула, памятник монгольским воинам-кавалеристам. Разворачиваемся, кружим, но сесть не удается: здесь только что прошел короткий дождь и скользко. Уходим назад, и через минуту этот

памятник, как и другие, сразу теряется в безоглядной, громадной степи.

Обратно по моей просьбе идем уже над восточным берегом Халхин-Гола, над местами, которые захватили и почти четыре месяца, до своего разгрома, удерживали японцы. Вот они проходят под крылом, эти хорошо знакомые места. Не все, конечно, можно угадать с воздуха, хотя на карте и значатся памятные названия японских узлов обороны: «Зеленая сопка», «Высота Палец». Смотрю вниз, впервые вижу теперь сверху всю эту полосу изрытых железом барханов. Сверху гораздо очевиднее вся сложность того, что происходило тогда. Верх каждой сопки выдут ветрами и представляет собой песчаную глубокую чашу. Вот там, в этих чашах, на обратных скатах, и были отрыты круглые глубокие японские окопы и блиндажи. Оттуда били многочисленные японские минометы под углом, сокращавшим до минимума мертвое пространство. А у нас и у монголов минометов не было, была только артиллерия, и чем ближе, вплотную мы подходили к подножиям этих сопок, тем приходилось нам туже. Будь минометы, было бы легко забрасывать эти песчаные чаши минами. Но их у нас тогда не было. Даже странно представить себе это сейчас...

Там, в этих сопках, где шли самые жестокие бои, где — надо им отдать должное — с редким мужеством и упорством дрались брошенные своими авантюристами-генералами на гибель в чужую страну японские солдаты, гораздо меньше следов окопов и блиндажей, чем в нашем расположении. Слишком сильно было тогда все перепахано железом, да и песок быстро заметает следы.

Проходим над восточным берегом Халхин-Гола — аккуратно, нигде ближе чем на два-три километра не приближаясь к границе. Еще несколько лет назад эта граница была одной из самых спокойных и дружественных в мире. Но сейчас, в связи с, мягко говоря, недружелюбной позицией китайских руководителей, эта граница перестала быть идиллической. Кто знает, мало ли на что способны китайские пограничники в обстановке того близкого к истерике недоброжелательства, которое все сильнее искусственно подогревается там, на той стороне. Во всяком случае, монгольские

товарищи, как я это понял еще до полета, не до конца уверены в благоразумии соседей...

Снова переваливаем на западный берег Халхин-Гола и между Хамардабой и Баин-Цаганом садимся около памятника «Девяноста героям», куда тем временем уже добрался с опытной станции «газик», на котором нам предстоит ехать дальше.

Центральный памятник в образцовом порядке, вокруг него заботливо посажены цветы. Остальные памятники — их много — заново побелены. Памятники того времени старенькие, поставленные сразу после боев. На одном — башня танка, на башне — бочка из-под бензина, покрашенная в зеленый цвет, на ней — ствол пушки, под стволом пушки — звезда. Это памятник танкистам. На нем, на единственном, надпись с фамилиями. Вот ее текст: «Памяти танкистам-героям: 28. VIII.39. Прядко А. И., Косенко С. Л., Лямзин Н. И., Краснов Н. В., Медведев Ф. Р., Скворцов В. Д., Войткевич Ф. П., Карасев В. П., Иванов А. Л., Желудков И. С., Мажаров Н. И.».

Стою перед этим старым памятником и думаю о том, что еще не началась в Европе та большая война с фашизмом, а они, эти люди, уже лежали в земле вот здесь, на берегу Халхин-Гола. И все, что прошло потом, прокатилось над ними; они ничего не знали об этом. Но пошли воевать и умерли здесь, в Монголии, за свободу монгольского народа.

Лето дождливое. Степь в конце августа непривычно зеленая. Около могил цветут желтые степные маки. Все это вдруг кажется мне поездкой в юность. Наверно, об этом, о юности, когда-то надо будет написать подробнее, вспомнить все-таки до конца, какой она была, та наша юность, в 1939 году. Был, как и другие, молод, и, как у других, позади было еще мало, почти все было впереди. А что было впереди — не знали, не догадывались, не могли даже отдаленно представить, какая мера испытаний нам еще предстоит!

Садимся в машину и едем на Хамардабу. Медленный подъем. Кое-где лежит старое железо. На косого-

ре — одно-единственное дерево. И то, что оно одно, еще больше подчеркивает пустынность этого места.

По дороге — собственно, это не дорога, а остатки старой дороги — местами лежит по бокам ржавая колючая проволока, местами — полуистлевшие вехи, которыми, помнится, отмечались дороги, чтобы не путаться ночью, а местами ими же пользовались для подвески связи. Ведь каждая деревяшка здесь, в степи, была на счету. И когда эскадрон монгольской разведки ночью на протяжении двух или трех десятков километров не только срезал в тылу у японцев связь, но и увез волоком, приторочив к лошадям, все столбы, это было не только лихой издевкой над врагом, но и серьезной неприятностью для него.

Вдруг вспоминаю, как ездили здесь с Владимиром Петровичем Ставским, как он принюхивался к степи и, никогда не путаясь, сам водил машину — толстый, грузный, бесшабашно храбрый и там, на Халхин-Голе, по-отечески добрый ко мне, новичку.

Над головами летают орлы. Когда шли бои, орлов здесь не было, они не летали — боялись стрельбы.

Мои спутники с опытной станции говорят мне, что здесь, на Хамардабе, они планируют развернуть фруктовое хозяйство. Разговор возникает из-за того, что я вдруг увидел красные флажки на откосах и подумал: неужели мины, неужели не разминировано до сих пор? Оказывается, эти флажки — разметка будущих садов.

Брожу по Хамардабе и вспоминаю, как все это выглядело тогда. Вспоминаю погибшего потом подо Львовом фотокорреспондента Павла Трошкина, свою первую встречу с ним здесь, у юрты разведчиков. Вспоминаю погибших под Киевом писателей Лапина и Хацревина, когда после конца августовских боев мы, корреспонденты, разговаривали здесь, на Хамардабе, с начальством о перспективах на будущее. Вспоминаю стоявших перед нами тогда, рядом с Жуковым, командарма Штерна и комкора Смушкевича; Смушкевич — в сандалиях на босу ногу: он не мог ходить в сапогах после тяжелой авиационной катастрофы; Штерн, наоборот, нарядный, затянутый ремнями. Но все одинаково сияли от счастья только что одержанной победы. Да, трудно было тогда представить себе, этим двоим

людям, свою скорую гибель в дни культа личности, горькую и страшную в своей несправедливости и бессмысленности.

Вспоминаю обо всем этом и думаю: как хорошо, что здесь, на Хамардабе, будут сады...

От Хамардабы едем на Баин-Цаган. Вот он, этот памятник танкистам, которого тогда еще не было и о котором мы заранее поспорили со Ставским. Поспорили потому, что мне казалось, что здесь надо поставить старый, заслуженный, продырявленный в боях танк, а Ставскому казалось, что нужно это сделать в бронзе и мраморе. А потом, когда я написал об этом стихи, снова поспорили, и он сердился на меня. А потом все-таки этот настоящий танк был поставлен, очевидно, потому, что мысль об этом порознь владела сердцами многих участников боев. Вот он стоит теперь здесь, этот старенький «БТ-7», так хорошо проявивший себя на Халхин-Голе. Смотрю на него и вспоминаю, как свечками пылали эти уже успевшие устареть к 41-му году машины на дорогах Украины и Белоруссии. Бедняги, сожженные и оставленные немцами не убранными, для устрашения, они как трагические памятники сорок первого года встречали нас потом вдоль всех дорог, когда мы, гоня перед собой фашистов, шли обратно на Запад в сорок третьем и сорок четвертом годах.

Баин-Цаганский памятник — хороший, настоящий памятник героям и жертвам войны. Мне нравится, что старый танк стоит не на мраморе и граните, а на постаменте, склепанном из танковой брони. С четырех сторон надписи того времени: «Танкистам РККА, яковлевцам, победителям над японцами в Баин-Цаганском сражении, 3—5 июля 1939 года». Это впереди. А сбоку слова знаменитой довоенной песни: «Пусть знает враг, укрывшийся в засаде: мы начеку, мы за врагом следим. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим».

Да, многого мы не знали тогда, и многое в начале войны вышло по-другому, чем думали перед войной. Но люди, думавшие так, как написано на этом памятнике, стоящем над их прахом, погибли в 39-м году, думая именно так, и на их могиле остались именно эти надписи.

А неподалеку еще один памятник танкистам — тем, что погибли уже не в июльских, а в августовских боях. Надпись: «Памяти семидесяти девяти героям РККА, погибшим за дело коммунизма в боях против фашизма, 20-го — 30-го, VIII. 39».

Короче, проще и возвышеннее, сколько ни думай, не скажешь!

Вернувшись на опытную станцию, как договорились заранее, пересаживаемся с самолета на «газик» и едем туда, где лежат опытные поля зерновых,— на юго-запад, в сторону Тамцак-Булака. В этом военном городке, в 39-м году состоявшем из юрт и нескольких саманных бараков, я, прилетев из Читы, еще в штатском, впервые в своей жизни надел военную форму. А теперь там, неподалеку, опытные поля зерновых. По дороге огибаем южный берег Буир-Нура. Слева от дороги — знакомые места: остатки укрытий, в которые затаскивали самолеты. Если мне не изменяет память, как раз тут стоял один из наших выдвинутых к передовой истребительных полков.

Торопимся, чтобы поспеть засветло, и «газик» временами немилосердно прыгает. Поспешно хватаясь руками за борта и перекладины, продолжаем начатый вчера с Хучитом разговор о трудностях.

— С чего началось ваше собственное участие в этом деле?

— С того, что в пятьдесят четвертом году пошел работать на нашу первую опытную станцию в Шамар. Жил на свежем воздухе, лечил туберкулез, работал садоводом и заочно кончал Улан-Баторский сельскохозяйственный институт. А когда кончил, вскоре предложили поехать сюда, в Халхин-Гол, сразу директором.

— И раньше в этих местах не бывали?

— Нет. Конечно, немножко тревожился: к тому времени это были, пожалуй, самые безлюдные в Монголии места. И в тридцать девятом и в сорок пятом, чтобы не подвергать семьи аратов опасности вражеских бомбежек и обстрелов с воздуха, они по указанию правительства дважды откочевывали отсюда на запад, и потом многие не вернулись, тем более что тут места для кочевок были нелегкие. Бездна комара, много волков, голое место, сильные ветра, да и от ближайшего аймачного центра несколько сот километров.

Снабжение было плохое. Машин не было столько, сколько сейчас. Да и радиосвязи тоже еще не было. Но я не колебался — согласился сразу. Очень хотелось именно здесь, на земле, где пролито столько крови, вырастить хлеб и посадить сады!

Хучит говорит эти слова вдруг изменившимся от волнения голосом и, снова переходя на деловой тон, добавляет:

— А, кроме того, по первым изысканиям уже было известно, что здесь неплохие плодородные каштановые земли — таких земель у нас в Монголии не так уж много.

— С чего же вы начали?

— Начали с грузовика. Сели на него шестнадцать человек, погрузили запас продуктов и бензина, палатки, словом, все самое необходимое, и двинулись сюда из Улан-Батора по зимней степи. Начали с того, что доехали. Поставили палатку, потом подвезли несколько юрт, потом летом построили первые домики. Ассигнований на это не было, да мы и не просили в то время. А потом построили, тоже своими руками, красный уголок. Это было одно из первых зданий поселка. В первый год, седьмого ноября, в первый раз крутили там кино. Строить своими руками дома, конечно, было трудно: никакой привычки к этому ни у кого не было.

— А еще что было трудно?

— Мы, первые, были почти все улан-баторские, не знали здешней местности, плутали, путали. Ориентиров на дорогах никаких. Бывали случаи, что встанет зимой в степи машина, идущая из Чойбалсана, и добирались к нам люди по сто пятьдесят километров в пятидесятиградусный мороз пешком. Не было радиосвязи, не было движка, жили на керосине. И с опытами первое время было трудно. В нашем деле опыты надо ставить точные, иначе обманешь себя и людей, а оборудование для лаборатории было тогда слабенькое, и кое-что приходилось все-таки делать на глазок. Да и большинство людей, приехавших и в первый год и во второй, проходили здесь эту школу впервые — не умели соблюдать точности при обработке материалов. Учились этому здесь, на ходу.

Ну и, конечно, была еще одна трудность: привлекать сюда людей, пропагандировать в их глазах этот

обезлюдевший, запущенный в то время район. Это сейчас сюда едут охотно, когда уже широко разошелся слух о том, что мы здесь благополучно живем, работаем и даже растим неплохие хлеба. Сейчас сюда люди потянулись. Скотоводы сюда возвращаются. Мы и для них тоже стали здесь своего рода опорным пунктом: в нашем сомоне сегодня уже шестьдесят тысяч голов скота. А сначала одна из трудностей состояла в безлюдье, о котором сейчас постепенно забываем. В будущем году, опираясь на результаты опытной станции, здесь начнут организовывать два госхоза, через несколько лет — еще три. А вообще-то, по сделанным подсчетам, тут, в этом районе, можно будет постепенно освоить около двухсот семидесяти тысяч гектаров пахотных земель. Для нас, для монголов, цифра очень большая!

— Начали с трудностей, а перешли к перспективам? — невольно улыбнувшись, говорю я.

— Одно от другого неотделимо,— в свою очередь, улыбаясь, отвечает Хучит.— Раз есть новые перспективы, значит, предстоят и новые трудности.

Я молчу. Спорить с этим не приходится. Молчу и думаю, что, конечно, национальный характер остается национальным характером, а в то же время в очень разных и очень отдаленных друг от друга странах, общая и главная черта жизни которых — строительство нового общества, в характерах людей постепенно все более четко вырисовываются общие, роднящие их между собой черты. И мой собеседник здесь, в «газике», несущемся по степям Восточной Монголии, в чем-то самом главном говорит и о трудностях, и о перспективах, и о сочетании того и другого, в сущности, так же или почти так же, как говорили об этом со мной другие и во многом другом не похожие на него люди — в Норильске или Моравской Остраве, в Штральзунде или Мурманске.

Когда мы подъезжаем к полевому стану, уже начинает чуть-чуть темнеть. Вдали, на горизонте, продолжая уборку, стрекочут комбайны, и мы, чтобы успеть до темноты, сразу выскакиваем из машины и идем по полям.

Хучит на ходу знакомит меня со своими товарищами по работе. Они сейчас почти все здесь, на уборке.

На самой усадьбе опытной станции пусто; в эти горячие дни она обезлюдела.

— Главный агроном Дамдинсурен,— знакомит меня Хучит с совсем еще молодым высоким, худощавым монголом, разминающим в пальцах горсть земли. А еще через несколько минут знакомит с другим, тоже молодым человеком: — Наш почвовед Билэгт.— И еще с вовсе уже молодым: — Наш паразитолог — Оюнсурен.

Мы идем мимо пшеницы, обещающей в этом году 12—13 центнеров с гектара. Идем мимо разных сортов кукурузы, выведенной главным образом у нас, в Советском Союзе, и дающей здесь в этом году превосходный урожай.

— Наш агроном — кукурузовод Ринчиндорж.

Очень рослый, на полголовы выше меня, но все-таки на несколько голов ниже своей кукурузы, молодой парень осторожно жмет мне руку своей огромной доброй ручищей.

— А это наш агроном по бобовым — Аварзад.

Худенький, похожий на подростка паренек берет инициативу в свои руки и довольно долго водит меня по своему хозяйству.

— Некоторые сорта бобовых пока что не очень приживаются здесь, но зато другие второй год подряд дают хорошие, устойчивые урожаи!

Потом, уже почти в темноте, мы идем вдоль бесчисленных маленьких участков, на которых высажена громадная коллекция пшеницы — больше двухсот разных сортов.

На фоне все гуще темнеющего неба видно, как комбайны, заканчивая работу, сползаются на отдых к полевому стану. Здесь, на полевом стане, уже в темноте Хучит знакомит меня с тремя работающими на опытной станции нашими специалистами. Двое из них, Лазарь Ефимович Дорофеев — семеновод и Николай Тихонович Глушков — агроном, работают здесь второй год. А механик Вячеслав Степанович Яншин — третий год. Все трое, как выясняется в разговоре, из средней полосы России — из Курска, Воронежа, Орла.

Я разговариваю с ними, расспрашиваю об условиях работы, о семьях («Да, конечно, с семьями, как же без семей!») и вспоминаю о новом монгольском городе

Дархане, о людях работающего там большого строительного коллектива. Куда только не приводит наших советских людей их интернациональный долг, и откуда только они не приезжают работать в далекие страны вместе с семьями — с женами и детишками! Там, в Дархане, я даже составил список городов, из которых приехали в Монголию наши строители. И каких городов там только не было! И Москва, и Ставрополь, и Волгоград, и Ростов-на-Дону, и Макеевка, и Брянск, и Белгород, и Омск, и Коломна, и Новосибирск, и Ленинград, и Владивосток — целая социалистическая география!

Прощаюсь с монгольскими и советскими товарищами: им надо ужинать, а нам ехать обратно,— там, на опытной станции, мне еще предстоит встретиться с аратами-скотоводами из большого переселившегося в прошлом году в эти места объединения скотоводов.

«Газик» разворачивается, и я, высунувшись из него, долго смотрю назад, на теплые мирные ночные огоньки полевого стана, в отгремевшей боями Халхин-Гольской степи.

Монголия,
август 1964 г.





1

Когда я вернулся в Москву после двух лет поездок по Средней Азии, один мой друг сибиряк сказал мне довольно строго:

— А теперь запиши в свои планы поездить по Сибири: Ангарск, Норильск, Братск, Дивногорск, Мирный, нефть и газ Тюмени, сибирская металлургия, сибирская химия, Сибирская Академия наук. Поездишь — влюбишься в Сибирь.

— А не поздно? — попробовал пошутить я.

— Не поздно,— сказал он все с той же строгостью, за которой стояло убеждение в своей правоте.— В Сибирь влюбиться никогда не поздно.

Он оказался прав. За этот год я несколько раз ездил в Сибирь и влюбился в нее. И хочу ездить еще и еще в те места, где еще не бывал, и в те места, где уже побывал и в которых мне говорили ту самую

фразу, которой я озаглавил эти записки: приезжайте через год.

Интересная это фраза, если вдуматься! В ней заложено много характерного для всей нашей жизни, а для нынешней сибирской жизни — особенно. Есть в ней ощущение, что жизнь на ходу и что через год на том же самом месте ты найдешь такие перемены, что ахнешь; есть в ней и настроение самокритическое — не все еще у нас сделано, не все ладно, хотим, чтобы своими глазами через год убедился в том, как дело идет на лад. Есть ощущение перспективы: как ни трудно приходится, а пойдем только вперед — таков закон нашей жизни. Есть и влюбленность в свой край, в то, что этот край и эта работа — самые интересные на свете, и, наконец, есть самое главное — ощущение своей силы, своей способности преодолеть все препятствия.

Вдвоем с корреспондентом «Правды» по Иркутской области Анатолием Прокофьевичем Меркуловым мы улетаем из Братска дальше, к устью Илима. В Братске все для меня было ново и интересно. Но в то же время я испытывал там чувство какой-то неловкости. Если прибегнуть к военным сравнениям, то я оказался там, в Братске, в положении писателя, впервые надевшего военную форму и приехавшего на фронт где-нибудь ранней весной сорок пятого, когда время самых тяжелых испытаний у армии уже за плечами; а победа, как ни трудно ее добывать до последнего дня, все-таки уже не за горами. Хотя стодвадцатитысячный город и сейчас все еще строится и обещает превратиться в двухсоттысячный; хотя строительство величайшего в стране Братского целлюлозного комбината еще не завершено и, чтобы уложиться в сроки, десяткам тысяч строителей нужно проявить все свое упорство,— а все же как-то по-человечески стыдно, что ты уже несколько лет читал о Братске только чужие статьи, очерки и даже романы, а сам увидел все это своими глазами лишь сейчас.

Я оставляю Братск с чувством восхищения масштабами дел человеческих и с маленьким личным чувством неловкости перед людьми, которые все это показывали в тысячный раз тебе — тысячному корреспонденту.

Маленький «АН-2» поднимает нас с Братского аэродрома, который («Приезжайте через год!») будет скоро принимать тяжелые самолеты, и, пожужжав полтора часа над тайгой, садится около таежного прибрежного села Невон, невдалеке от которого начинает строиться на Ангаре Усть-Илимская ГЭС, про которую сами строители говорят: «Вторая Братская». Через шесть-семь лет здесь, на Ангаре, у устья Илима, будет стоять гидростанция мощностью в 4,5—5 миллионов киловатт.

При той же мощности, как и Братская, эта повторяющая ее гидростанция будет стоить много дешевле. Относительная дешевизна будет в значительной мере плодом труда строителей Братска. Здесь, на Усть-Илимской ГЭС, будет применена часть оборудования и механизмов, работавших на строительстве Братской, будет использована большая бетоновозная эстакада для укладки бетона и бетонные заводы, с помощью которых бетонировалась плотина Братской ГЭС. Мощная строительная индустрия Братска даст сюда свою продукцию. Не потребуется здесь, на Усть-Илиме, и такого большого количества подсобных предприятий, которые создавались в Братске на голом месте. Ну и, конечно, вместе со всем этим будет использован и драгоценный человеческий опыт, приобретенный в Братске.

Еще там, в Братске, мне показывали маленький мысок на Ангаре, до которого после заполнения поднимется новое Усть-Илимское море. Оно не дойдет до Братской плотины всего на шесть километров.

И вот мы, готовясь садиться, летим над Ангарой в двухстах пятидесяти километрах от Братска, и видим, если так можно выразиться, нижний конец будущего Усть-Илимского моря: три заросших лесом крутых, лобастых, режущих своими каменными лбами Ангару острова — Лось и Лосята, такой же крутой, лобастый Толстый Мыс — место будущего створа. Наверху, на шесте,— красный флаг, а под флагом, в откосе берега,— первые штольни и поодаль — избушки гидрологов.

Здесь будет плотина такая же грандиозная, как в Братске. А на десять километров ниже, на месте нашего приземления, старая сибирская деревенька Невон дымит своими печными трубами по случаю первых за-

морозков, и грузы, которые заодно с нами, грешными, захватил сюда наш «АН-2» — консервы, печенье, конфеты и болгарские компоты,— без всяких промежуточных видов техники перегружают с самолета на одноконную повозку местной кооперации.

Вместе с Павлом Николаевичем Потехиным — начальником Усть-Илимского стройуправления — вылезаю из самолета у древней невонской околицы. Потехин — первый начальник управления, которого еще две недели назад вообще не было: вопрос о финансировании строительства решен только сейчас. Потехин появлялся здесь и раньше, но как начальник строительства впервые прилетел сюда сегодня и вместе с напросившимися в попутчики корреспондентами привез с собой двух своих новых работников — старшего бухгалтера Тамару Федоровну, строгую средних лет женщину, прилетевшую сюда из Кривого Рога, и прораба, совсем еще молодого паренька Валю Майорова: он только что окончил строительный техникум в Калуге и, получив «свободное распределение», махнул на свою первую работу сюда, на устье Илима.

Обычно наш брат корреспондент упоминает главным образом фамилии тех, кто уже успел отличиться на стройке. И в общем-то оно, конечно, верно. Но сегодня мне в порядке исключения хочется авансом назвать имя и фамилию этого прилетевшего вместе со мной молодого паренька и пожелать ему доброго пути, как только что появившемуся на свет вместе со своими стихами молодому поэту. Сегодня здесь, на Усть-Илиме, его первый рабочий день, можно сказать, день рождения строителя. И Валя переживает это и волнуется, и когда мы с трудом против бурного течения подходим по Ангаре к Толстому Мысу — будущему створу плотины, он смотрит с лодки на этот мыс и на этот красный флажок на вершине с хорошо мне понятным замиранием сердца.

Смотрю на Майорова, на его острый, любопытный носик и задорный чубчик выбившихся из-под кепки волос, и мне хочется поздравить в его лице всех молодых строителей с их днями рождения — первыми днями на первых работах — на Илиме, на Вилюе, в Талнахе или в Маркове — всюду, где далеко и трудно и где будет что вспомнить под старость.

А начальник строительного участка Петр Сергеевич Кучеренко — старожил. Строители — люди предусмотрительные. Финансирование строительства утверждено только что, но участок здесь существует уже два года. Уже срублены для жилья полторы сотни домов, уже есть столовая, и школа, и временный клуб, где крутят кино.

Но не только этим здесь были заняты. Темпы строительства будут решать дороги. Основную магистраль, по которой пойдут грузы,— автомобильную дорогу из Братска — уже гонят сюда через тайгу. И здесь, с этой стороны, тоже готовятся гнать дорогу навстречу. Стройучасток только недавно закончил отсыпку дамбы, перегородившей рукав Ангары между материком и островом, чтобы круглый год брать с этого острова гравий для дорог. По старым меркам создание такой дамбы — само по себе крупное строительство. А сейчас здесь при помощи механизмов всю эту здоровенную дамбу насыпали за двадцать пять суток.

Дамба и жилье для живущих и вновь прибывающих — вот и все, что пока тут сделано. Если, конечно, не говорить об огромной предшествовавшей работе геологов, гидрологов, проектировщиков. Но она пока незрима, эта работа: зримые результаты впереди. Здесь вообще все еще впереди!

И под вечер, прощаясь, провожая корреспондентов к маленькому зеленому «ЯКу», на котором предстоит лететь дальше, нам, конечно же, говорят эту фразу, которую будут потом повторять всюду:

— Приежайте через год!

Летим до районного центра Нижнеилимск и там же затемно пересаживаемся на «газик»—едем через тайгу в Железногорск, один из новых, рождающихся центров большой восточносибирской металлургии: его в перемежку зовут то по-новому — Железногорском, то еще по-старому — Коршунихой.

Широкая дорога через тайгу пробита недавно, когда по трассе стали возникать крупные леспромхозы. По городским понятиям дорога не сказать, чтобы хорошая, но для грузового транспорта проезжая во всякую

погоду и поэтому золотая в том смысле, что ее отсутствие обходилось дорого.

Сначала — в ночное время — дорога кажется совершенно пустынной, но потом, когда наш дряхленький «газик», замученный бесконечными крутыми подъемами, начинает все чаще чихать и заикаться, нас — один за другим — обгоняют тяжелые грузовики и бензоцистерны. Оказывается, эта, как нам сначала показалось, глухая дорога и по ночам живет, трудится.

Кстати сказать, не в пример какому-нибудь подмосковному шоссе, грузовики, заметив нашу остановившуюся машину, тормозят без всяких просьб с нашей стороны — водители интересуются, не нужна ли помощь. И в этом чувствуются тайга, Сибирь, другие, рожденные здешней, более суровой жизнью, более строгие правила товарищества.

(Если кому-то это мое замечание покажется мелочью, скажу, что мелочами такие вещи кажутся только до тех пор, пока сам раз-другой не попадешь в беду.)

Глубокой ночью приезжаем в один из самых старых городов Сибири — Илимск. Когда-то в Илимске сидел воевода и вся окрестная земля называлась «Землей Илимского града». Потом, уже в Железногорске, нам покажут копию с шестнадцатого листа «Чертежной книги Сибири» Семена Ремезова, на которой будет нарисован в виде большого четырехугольника град Илимск с окружавшей его деревянной стеной и восемью башнями и будет пунктиром показан волок с Илима на Ангару «от града Илимска до Брацкого острога».

Проезжая Илимск, останавливаемся около сохранившейся деревянной башни. Здесь, в Илимском остроге, в конце XVIII века, пробыв до этого год в пути, сидел Радищев, сосланный сюда Екатериной за свое «Путешествие из Петербурга в Москву». Соседи-железногорцы хотят перетащить эту пока еще кое-как сохранившуюся Илимскую башню и поставить ее у себя, в своем новом городе, как напоминание о том, чем была старая Сибирь. Не берусь судить, как будет расцениваться эта идея с точки зрения исторической науки, но что в ней присутствует поэзия — готов поручиться.

За Илимском дорога становится хорошей — как только сворачиваешь на Железногорск, сразу чувству-

ешь дыхание большой строительной индустрии и с этим чувством въезжаешь на асфальтированные улицы сияющего электрическими огнями нового города.

Бывает, что после долгой дороги по темноте освещенный электрическими огнями город ночью покажется красивым, а потом, утром, выйдя за порог, почувствуешь себя обманутым. В Железногорске мы не испытали этого чувства. Наоборот, в это прозрачное осеннее сибирское утро Железногорск нам кажется еще красивей, чем ночью.

Город расположен с учетом рельефа местности. Ровно прорубленные улицы поднимаются вверх по лесистым холмам, и стандартные двухэтажные сборные дома, расположенные широким красивым амфитеатром, выкрашенные в веселые, яркие цвета, выглядят не только опрятными и чистенькими, но какими-то особенно нарядными среди зелени заботливо сохраненного леса.

Я сказал: двухэтажные дома. Вернее, трехэтажные. Рельеф местности подсказал правильное решение — ставить эти деревянные сборные дома на склонах на высокие фундаменты, которые с лицевой стороны превращены еще в один, третий, нижний этаж. В этих этажах расположены магазины и разные бытовые и подсобные предприятия и учреждения. В городе есть и фундаментальные, кирпичные, и сборные трехэтажные и четырехэтажные дома, а будут построены и пяти- и даже девятиэтажные; уже утвержден и начинает реализоваться проект нового микрорайона. Но и то, что осуществлено в деревне, сделано так добротно, что производит впечатление фундаментальности. Тем более что, как правило, эти дома уже сейчас обеспечены всеми коммуникациями, имеют водопровод, канализацию и паровое отопление.

Построенный амфитеатром город виден весь как на ладони, и снизу вверх и сверху вниз. Но когда смотришь сверху, красота и разумность планировки наглядней. Видишь и сеть улиц, в большинстве своем заасфальтированных и притом не на скорую руку, а всерьез и надолго; и тщательно спланированные площадки между домами, где будут зелень и цветники; и заботливо и просторно на лучших местах размещенные детские сады.

Железногорск кажется мне антиподом тем, к сожалению, еще многочисленным у нас поселкам, про которые один рассерженный проектировщиками и не лезущий за словом в карман сибирский строитель сказал мне:

— Сначала сами же запроектируют, как закопаться в дерьме, а потом сами же начинают перепроектировать, как из этого дерьма вылезти!

Сказано грубовато, но близко к истине.

Так вот о Железногорске этого никак не скажешь. И не только потому, что планировка хорошая, и дома чистенькие, и коммуникации подведены, а и по другим смежным причинам.

Здесь, например, всеми правдами и неправдами уже ухитрились построить спортивный зал. «Ухитрились» потому, что ассигнований на него не было, и сначала его возвели как летнее кино, потом летнее кино превратили в некий вспомогательный строительный объект, а потом в этом временном строительном объекте разместили временный спортивный зал. Конечно, схитрили. А что было делать, если этот зал не был предусмотрен в проекте, а старше тридцати лет в Железногорске только двадцать процентов населения, остальные восемьдесят процентов — молодежь? А молодежь, она хочет заниматься спортом. И в Сибири тоже. И не только летом, но и зимой, тем более, что зима здесь, как известно, длинная.

Устроили здесь и городской пляж. Хотя он и не был предусмотрен, но строители насыпали его и благоустроили, и в нынешнее жаркое лето весь город бывал на этом пляже.

Но, наверное, самая важная и самая показательная в строительстве Железногорска деталь — это то, что в таком молодом городе, где все пришлось строить заново, все дети уже второй год занимаются только в одну смену. Не думаю, чтобы строители Железногорска в этом смысле были поставлены в какие-то особые, исключительные условия. Думаю, что дело тут решали их твердая воля и твердое убеждение, что эта «деталь» городского строительства не просто деталь, а первоочередное дело.

Может показаться, что я с излишней энергией нажимаю на эту тему, начав рассказ о Железногорске с

благоустройства, с бытовых удобств, детских садов и школ, а не с главного — рудника и обогатительной фабрики. Но если бы меня упрекнули в этом, я бы не согласился. Разумеется, проблемы строительства хорошего, удобного для жизни людей города возникают как производные от проблем строительства промышленных предприятий. Не будь здесь «железной горы», которая при полном развороте работ будет давать столько же или даже больше руды, чем знаменитая Магнитка; не будь здесь строительства обогатительной фабрики, которая запроектирована как вторая по масштабу в стране,— не возникло бы, конечно, и этих веселых разноцветных домов на лесистых склонах, этих детских садов и этих школ... Но раз здесь возникло строительство такого масштаба, то как не порадоваться, что и город сразу, с самого начала возникает ему под стать? Как не хотеть, чтобы в его домах было весело и удобно жить; чтобы на его улицах не приходилось вытаскивать ноги из грязи; чтобы школы, чем раньше, тем лучше, начинали работать в одну смену; чтобы детских садов поскорей оказалось столько, сколько требуется, а не столько, сколько их еще слишком близоруко проектируют, без учета действительного коэффициента занятости населения и без учета его реального среднего возраста, который, как известно, находится в прямом отношении к масштабам рождаемости!

Это важные проблемы, и я еще специально напишу о них на материале ряда новых городов и поселков, а пока для иллюстрации — кусочек из записанного на диктофон разговора на эту тему с секретарем горкома партии Иваном Александровичем Минаевым и начальником строительства Матвеем Исаковичем Тестом здесь, в Железногорске, где эти проблемы пока что лучше решены, чем во многих других местах:

— Значит, восьмидесяти процентам населения у вас нет еще и тридцати лет?

— Да. А шестидесяти процентам нет и двадцати пяти.

— А какая рождаемость?

— Семь процентов. На каждые одиннадцать жителей у нас одно место в детских садах и яслях. Но и этого все равно не хватает.

— И сколько же детей скопилось сейчас, осенью, в очереди?

— Цифра не такая грозная, но все же триста детей.

— На ком же они? На бабушках-дедушках?

— Как правило, нет. Бабушек и дедушек у нас дефицит. Да, по правде сказать, не так уж охотно и едут они сюда, на стройку.

— Значит, все на матерях?

— Выходит, так.

— А сколько бы из этих матерей, по вашим расчетам, пошло работать, если всех детей обеспечить яслями и детсадами?

— По крайней мере двести из трехсот. Кстати, это значит, что нам не пришлось бы планировать строительства новой жилплощади на двести человек. Мы нашли бы нужные нам кадры среди тех, кто уже живет у нас. Следовательно, величину дополнительных затрат на строительство детских учреждений надо рассматривать как величину относительную. Затраты на триста мест в садах и яслях будут, но зато не будет затрат на строительство жилплощади для двухсот вновь прибывших работников. И тут еще вопрос: что дороже? Не говоря уже о моральном факторе!

Пока мы в течение дня объезжаем и обходим строительство Железногорского горнорудного комбината, у меня несколько раз захватывает дух от масштаба и красоты этой строительной панорамы. С одной стороны — рудная гора, с другой — пологий холм, с которого несколькими террасами сборного бетона постепенно спускаются все ниже и ниже мощные серые корпуса цехов обогатительной фабрики. А между тем и другим, внизу, в лощине,— электростанция, подсобные цехи и помещения, железнодорожные пути, обширное путевое хозяйство.

Но и это еще не все. По другую сторону того холма, на котором расположился бетонный каскад зданий обогатительной фабрики, заканчиваются гигантские работы по созданию так называемого хвостохранилища. Название на слух немножко смешноватое, а масштабы работ огромные.

Хвостохранилище — это расположенный между высокими холмами, запертый мощною плотиною громадный искусственный водоем. Сейчас дно его пусто, вернее, сухо, а не пусто, потому что десятки бульдозеров с ревом ползают по нему, очищая его от леса. Но когда заработает обогатительная фабрика — а это время не за горами, первую очередь строители намерены пустить в конце декабря,— сюда, в хвостохранилище, мощные насосы погонят «хвосты» — пульпу, остающуюся после обогащения руды. Густые частицы будут оседать здесь, в хвостохранилище, а так называемая оборотная вода будет качаться другой насосной снова на фабрику.

Я сказал — «частицы». Слово аптекарское, не дающее представления о масштабах. А масштабы такие: наполнение хвостохранилища рассчитано на пятьдесят лет, и за это время в него поступит не более и не менее как 350 миллионов кубометров этих «частиц». В плотину уже сегодня насыпано миллион семьсот тысяч кубометров земли и гравия.

Раз я уже стал называть цифры, то, пожалуй, стоит привести еще несколько для ощущения общих масштабов строительства.

Здесь будет протянута тысяча километров кабеля для энергоснабжения и двести километров железной дороги. Эти двести километров будут проложены на шестнадцати горизонтах громадного рудника. Насосная станция при полном развороте работ будет перекачивать каждую минуту такое количество пульпы, что оно составит средних размеров речку. На строительстве работают сотни механизмов—подъемных кранов, бульдозеров, корчевателей, трелевщиков, экскаваторов.

И самыми различными и самыми ответственными участниками этой огромной стройки, между прочим, командуют, как правило, люди совсем молодые — такие, как главный инженер строительно-монтажного управления, ведущего строительство дробильного комплекса, Александр Николаевич Рыжко, которому всего-навсего 25 лет от роду. По виду, когда мы знакомимся с ним, я из-за его крайней моложавости принимаю его в первый момент за студента-практиканта. Это, однако, не совсем так. Хотя он не так уж давно

был студентом, но, попав из института на первую работу прямо сюда, уже побывал и мастером, и прорабом, и начальником участка, а теперь — главный инженер.

Видимо, таков уж закон: в гуще боя люди быстрей растут, быстрей становятся командирами. Я гляжу на Рыжко и невольно вспоминаю конец войны и некоторых своих знакомых командиров полков, которым после четырех лет боев было всего по 27, по 25 и даже по 24. Как говорится, совсем еще юноши, а дошли до Берлина!

Казалось бы, пора перестать этому удивляться, но строительство Железногорска все-таки поражает обилием молодежи и вообще и на командных постах. Не знаю, может, тут была и доля случайности, но в тот день, обходя строительные площадки Железногорска, я обнаруживаю на них только трех человек моего возраста: начальника строительства, секретаря горкома партии и... самого себя.

Вспоминая все виденное за эти два дня в Железногорске, невольно еще раз думаю о сибирских масштабах, о том общем развороте великих сибирских работ, который записан в Программу партии. При всем своем крупнейшем размахе железногорские строительные работы — лишь часть, хотя и очень значительная, того общего фронта работ, которыми, как командующий и начальник штаба, руководят оттуда, из Братска, знаменитые братские строители — Наймушин и Гиндин. У них под руками и последняя очередь Братской ГЭС, и Железногорск, и строительство гигантского Братского целлюлозного комбината, и строительство Усть-Илимской ГЭС. И еще многое, многое другое.

И все это, вместе взятое, почти непредставимо громадное — тоже только один из главных узлов строительства в Восточной Сибири.

А Восточная Сибирь — тоже еще не вся Сибирь!

2

В двухстах пятидесяти километрах от Железногорска, на Лене, в районе села Марково,— следующее звено восточносибирской индустрии: нефть.

Наша дорога туда лежит через Усть-Кут.

Бросается в глаза контраст между традиционным обликом этого старого, деревянного, все еще небольшого, хотя и начинающего расти городка и обликом громадного речного порта с его вымахавшими в небо современными портовыми кранами, с целыми улицами складов, разросшихся на берегу в еще один город.

В порту, причалы которого растянулись на несколько километров, работает 27 кранов — от пяти- до пятидесятитонного. А сейчас монтируется еще один, новый — стотонный. И, однако, при всем этом новейшем хозяйстве порт работает в дни «пик» с предельной нагрузкой. И не мудрено: его грузооборот составляет два миллиона тонн!

Здесь, в Усть-Куте,— концевой пункт ветки, соединяющей порт с Великой Сибирской магистралью. Отсюда идут почти все грузы вниз по Лене и ее притокам, за исключением тех, что возят снизу — Великим Северным морским путем. В среднем здесь грузится 450 вагонов в сутки. И куда только не идут отсюда грузы: в Мирный, в Нижне-Янск, на Вилюй, на Алдан, на Колыму, на Индигирку...

Как утверждает управляющий здесь, в Усть-Куте, всем этим громадным потоком грузов, заместитель начальника Ленского речного пароходства Василий Максимович Дубровский, Усть-Кут сегодня — самый крупный речной порт страны. Правда, не могу умолчать, что начальник Енисейского пароходства Иван Михайлович Назаров всего месяц назад говорил мне, что крупнейший речной порт страны сейчас — Красноярский...

Не хочу вмешиваться в этот заочный спор. Речники — свои люди, сочтутся, да и главное в конце концов не в том, кто кого обогнал на несколько десятков тысяч тонн. Главное — темпы роста перевозок. А за последние пять лет грузооборот в Усть-Куте растет каждый год в среднем на 25 процентов. Здесь грузят и отправляют на север все, начиная с турбин и кончая иголками, все, что нужно для промышленности и для жизни людей, гуще и гуще заселяющих этот огромный край.

Есть, конечно, и трудности: и сжатые сроки навигации, и односторонний поток грузов. Из двух миллионов тонн примерно 1 950 тысяч идет вниз и только 50 тысяч тонн — обратно вверх. Вниз, на север, идет гро-

моздкое, тяжелое оборудование для строительства гидростанций и электростанций, дорог, приисков, обогатительных фабрик, а продукция, которая возвращается оттуда, с севера, как правило, весит очень мало, и значительная часть ее, в том числе слюда, пушнина и, разумеется, алмазы, перевозится не по реке, а самолетами.

Двадцать пять процентов прироста грузооборота в год не просто цифра. Это как бы моментальная фотография всего того, что мы называем бурным развитием Восточной Сибири. Через два-три года Усть-Кутский порт в нынешнем его виде уже не справится с потоком грузов, который ляжет на его нынешние, казалось бы, широкие, многокилометровые плечи. И даже полная механизация работ, которую ленские речники, недавно ездившие изучать опыт моряков в Одессу, надеются завершить в будущем году, не решит вопрос до конца.

Идя из Усть-Кута вниз по Лене в Марково, видим слева по берегу строительство второй очереди порта. Новые бетонные причальные стенки, каркасы новых огромных складских помещений из сборного железобетона — все это скоро даст возможность перерабатывать здесь дополнительно еще 750 тысяч тонн грузов. Но и это тоже всего-навсего первая очередь второй очереди порта.

Первая буровая вышка справа по берегу появляется в сорока километрах от Усть-Кута, вторая — в восьмидесяти пяти. Потом буровые начинают идти все гуще — работающие, сооружаемые и уже демонтирующиеся.

Моторист нашего катера в курсе дел нефтяников. Поворачиваясь то налево, то направо, он говорит про буровые то сочувственно, то уничижительно:

— Эта дала. И эта дала. А эта так ничего не дала...

Недалеко от Маркова обгоняем катер, везущий в поселок на отдых отработавшую смену с одной из буровых. Тяжело потрудившиеся за день буровики в промасленных брезентовых робах плывут по Лене, устало привалясь к железным бортам катера. Глядя на них, на секунду вспоминаю Баку, каспийскую воду, катера, вот так же после работы везущие на Нефтяные Камни смену с разбросанных кругом вышек.

В сущности, еще не так давно, всего два десятилетия назад, слово **нефть** вызывало ассоциации только с Баку и Грозным. Потом, после войны,— с Татарией, Башкирией, Куйбышевом. А сейчас здесь, в Иркутской области, говорят: «Наша марковская нефть», добавляя для точности: «завтрашняя».

Геологи идут все дальше и дальше по необъятной карте Сибири, пробираются сквозь дебри, плывут по рекам и речкам, слезают в тайге с вертолетов, иногда прыгают с парашютами, разбивают свои палатки на каждом сантиметре карты. И каждый из этих сантиметров обертывается годами трудов, лишений, опасностей, неудобств, приключений. Один английский писатель когда-то хорошо пошутил, что неудобство — это неправильно воспринятое приключение, а приключение — это правильно воспринятое неудобство. Думается, что в этой шутке есть доля правды, с которой постоянно приходится иметь дело сибирским геологам, людям, всегда первыми приходящим туда, где нет никаких удобств для жизни, и первыми уходящим оттуда, где эти удобства начинают возникать.

Марково — старое прибрежное село, но с тех пор, как тут стали искать нефть, оно выросло ровно в семь раз.

Прежде чем поехать на буровые, разбросанные и по берегу и в глубину, в тайге на крутых лесистых холмах, сидим в конторе и говорим с начальником экспедиции Борисом Абовичем Фуксом и его товарищами по работе об истории и о перспективах Марковского месторождения.

Хочу избежать пересказа и, еще раз воспользовавшись диктофонной записью, предоставляю слово своим собеседникам:

— Если сделать экскурс в историю открытия нефти в Восточной Сибири, можно сказать, что тут, как и почти всегда при изысканиях, было два лагеря — пессимисты и оптимисты. Наша особенность заключалась в том, что пессимистов было более чем достаточно. Наш трест нефтеразведки дважды хотели ликвидировать: не верили в нефть. Но в это время ударил газ в районе Парфеновской. Однако запасы газа оказались невелики, и опять подняли голос скептики. И только когда ударил здесь первый марковский фонтан, песси-

мисты умолкли. Надо, конечно, быть объективным — основания для пессимизма существовали. Искали тут нефть еще перед войной, с конца тридцатых годов. Но все это были поиски с малым объемом бурения, с недостаточной техникой. А без широкого бурения, без больших затрат нефти не найдешь. Сколько-нибудь приличный разворот работ начался с пятьдесят третьего — пятьдесят четвертого года. А с шестьдесят первого цифры резко полезли вверх. В шестьдесят первом у нас был план бурения две тысячи метров, в шестьдесят втором — семь, в шестьдесят третьем — двадцать семь, в этом — около тридцати, а в будущем, очевидно, около пятидесяти тысяч. А чтобы вы представили себе, что это такое — пятьдесят тысяч метров на одну экспедицию,— для сравнения скажем, что в шестьдесят втором году было пробурено на нефть 25 тысяч метров на всю Восточную Сибирь. В итоге бурения последних двух лет у нас обнаружено, кроме того пласта, из которого уже пошла нефть, еще четыре, содержащих нефть и газ. На так называемом Парфеновском горизонте идет наверх почти чистый бензин. А одна из скважин дает соляной раствор, содержащий уникальное количество самых высокоценных для химической промышленности солей. Если присутствие этого раствора будет подтверждено на достаточной площади, то здесь, прямо на месте, можно строить химический комбинат. А вообще наша задача — к концу года подсчитать запасы и, как говорится, положить правительству на стол десятки миллионов тонн нефти. Думаем, что положим. А с такими цифрами уже можно планировать промышленное бурение.

— Пока живем тут небогато, тесновато, не хватает жилья. Многое строили своими силами, часто после трудового дня. Постройки, конечно, временные. На капитальные не имеем права, пока не подсчитаем и не доложим запасы. Тогда можно будет рассчитывать и на капитальное строительство и на генеральный план нового поселка. Так что наше будущее зависит от нас самих...

Спрашиваю о других трудностях, кроме трудностей с жильем.

— Ну что ж, климат вынесем за скобки, к нему привыкли. Большинство тут местные, а кто не местный,

уже почувствовал себя местным, приобрел на ходу это самоощущение. А те буровики, что совсем недавно приехали к нам на помощь из Татарии, опять-таки люди небалованные — Татария тоже не Сочи.

Настоящая трудность в том, что мы почти три месяца в году отрезаны. Навигация короткая, не успеешь забыть, когда началась, а она уже кончается. В октябре Лена начнет замерзать, а машины по ледовой дороге пойдут только в декабре, и то со средними грузами. А у нас оборудование большей частью тяжелое. Сможем тащить его по льду лишь в январе. Значит, нужно все рассчитывать заранее, заботиться о досрочном завозе. А чтобы вы представили себе, что нам сюда приходится тащить, взглянем поближе на наши буровые.

Начальник экспедиции садится за руль «газика», и мы едем на буровые.

Да, действительно, тащить все это сюда нелегко. И если буровая мастера Владимира Мартыненко, работу которого мы сейчас наблюдаем, стоит, как тут считают, «на хорошем месте», то есть недалеко от Лены, то трудно даже мысленно представить себе, как все это тяжеленное, крупногабаритное оборудование люди волокут через тайгу, втаскивают на лесистые холмы за пять, за десять километров от реки.

Буровая, которой командует Мартыненко, окончивший институт в Ленинграде и уже шестой год после этого ищущий нефть здесь, в Сибири, оборудована по последнему слову техники. Любо-дорого смотреть, как стальные пальцы механизмов одну за другой обхватывают стальные трубы и опускают их под землю.

Я стою и долго не могу оторваться от этого зрелища, которое, впрочем, доставляет удовольствие и самим хозяевам.

— Да,— с нескрываемым торжеством в голосе говорит один из них,— это действительно полная механизация, а не то что, как у нас выражаются, «кнопку нажмешь, а пуп трещит». Эта скважина идет быстро, мы ею довольны. Начали бурить всего двадцать пятого июня, а сегодня уже дошли до двух тысяч ста метров...

Вечером, когда пора прощаться, начальник экспедиции вдруг говорит, обращаясь ко мне:

— Прочитайте на прощание фронтовые стихи. Хотя бы два-три. Я все-таки зацепил войну, охота послушать.

С некоторым сомнением смотрю на него. Больно уж молодо выглядит; мне до этого никак не приходило в голову, что он мог успеть «зацепить» войну. Спрашиваю, когда «зацепил». Наверно, где-нибудь в сорок пятом? Нет, оказывается, «зацепил» довольно основательно, начиная с сорок второго, семнадцати лет от роду. Восемнадцать исполнилось в недоброй памяти сентябре сорок второго, а здесь, в Маркове, стукнуло сорок.

Ему сорок, а все остальные моложе его. Главному геологу — 33, главному инженеру — 32, главному механику — 30.

Читаю стихи сорок второго года. Начальник экспедиции задумывается, грустнеет. Видно, ему, как и многим людям его возраста, не так-то просто вспоминать себя в восемнадцать лет. Потом он встряхивается, снова становится веселым и оживленным и, протягивая мне руку, говорит то самое, к чему я уже начинаю привыкать:

— Приезжайте к нам через год. Может, к тому времени почтовый адрес сменим.

— Переберетесь куда-то еще?

— Не переберемся, а, может быть, переименуемся. Будем не Комаровом, а Нефтеленском. Наши энтузиасты — комаровские пионеры — тут немного пониже по Лене, на море, на откосе, выложили из досок здоровенную надпись: «Город Нефтеленск». И торжественный костер там, на горе, провели, а там заявили, что будут обновлять свою надпись каждый год до тех пор, пока не будет основан город. Положим правительству на стол запасы нефти, может, через год и пройдет это пионерское предложение!

Наш дальнейший путь из Комарова — на север, в Якутию, на строительство Вилюйской ГЭС. Для этого нам надо сначала добраться по воде до Киренска, а оттуда лететь самолетом на Мирный. Но утренний туман задерживает нас на несколько часов, и, подплывая к живописно раскинувшемуся на острове, посреди Ле-

ны, старому деревянному Киренску, мы имеем удовольствие наблюдать, как с Киренского аэродрома один за другим чиркают над нашими головами в небо «Илы» и «ЛИ-2». Самолеты взлетают и уходят на север. Видимо, сидели тут, пережидали туман, а теперь спешат, наверстывают время.

Как выясняется в аэропорту, до Мирного сегодня нам уже не добраться. Надо ждать завтрашнего утра.

Сегодня — воскресенье, и в Киренском аэропорту относительное затишье. Рейсовые самолеты ушли, а спецрейсов по случаю воскресенья не предвидится. Все летчики, кроме линейных, отдыхают, если не считать команды дежурного вертолета, который всегда наготове — на случай экстренного вызова куда-нибудь в тайгу. Тайга велика, а на поверку, куда ни ткнешься, в ней всюду — работа и всюду — люди!

Пассажиров в порту почти нет — улетели. Только бродят по залам несколько геологов, вернувшихся из тайги и опоздавших пересесть на большой самолет. На веранде аэропорта сложено их имущество — палатки, рюкзаки, ящики с образцами пород, тюки со снаряжением, парашюты. Должно быть, во время экспедиции по ходу дела пришлось пользоваться и парашютами, иначе бы не таскали их с собой.

Сегодняшняя Сибирь без авиации немыслима. Масштабы деятельности нашего гражданского воздушного флота, по объему внутренних перевозок уже ставшего крупнейшим в мире, здесь, в Сибири, особенно чувствуются. Киренск — небольшой сибирский городок, но, посмотрев на висящее в его аэропорту расписание, диву даешься: сколько самолетов прибывает сюда и отправляется отсюда и на юг, и на север, и на северо-восток, и транзитных, с посадкой в Киренске, и местных.

Поскольку раньше завтрашнего дня на Мирный все равно не вылететь, решаем воспользоваться одним из таких местных рейсов и слетать в Токму — одну из деревень самого северного Катангского района, Иркутской области.

— Сейчас полетите, а завтра утром к проходящему самолету на Мирный вернетесь!

Впечатление о Токме — предмет отдельного рассказа. Упоминаю здесь об этом полете только потому, что

он дал мне представление о некоторых характерных черточках работы нашего Аэрофлота в Сибири. Авиация, в сущности, доходит здесь до каждого человека. В Токме меньше ста домов. Почти все, кто в ней живет — и эвенки и русские,— промысловые охотники за пушным зверем. Деревня маленькая, но в этой маленькой деревне есть маленькая метеостанция и маленькое летное поле. И два раза в неделю сюда приходит маленький рейсовый самолет, к которому привыкли и без которого уже с трудом представляют себе свою жизнь. Самолет возит и людей, и почту, и товары в местный магазин. При этом Токма связана авиационным сообщением не только с Киренском, но и со своим районным центром — селом Ербогачен, до которого — ни мало, ни много — шестьсот километров. Район громадный, места глухие, деревни разбросаны на сотни километров друг от друга, но от села до села, от деревни до деревни большим регулярным кольцевым рейсом работает авиация.

Это район, находящийся пока в стороне от больших сибирских строек, район, в котором еще не пахнет индустрией. Но общий уровень развития Сибири, одно из проявлений которого — размах работы сибирской авиации, наложил свой отпечаток и на Токму. Уже и здесь появилось другое ощущение времени и расстояния, появились потребности и привычки, которых недавно не было и в помине.

Вернувшись в Киренск, направляемся в Мирный, а оттуда, через сутки, дальше на север, к своей конечной цели — на строительство Вилюйской ГЭС. Это — будущее энергетическое сердце не только Мирного, который пока выручают энергопоезда, но и новых северных приисков — уже работающего Айхала и только что открытого месторождения «Удачная».

В Мирненском аэропорту еще раз убеждаемся в том, что Сибирь без авиации немыслима. Здесь, в Мирном, об этом говорят даже еще более категорически: «Без авиации Мирного бы не было».

Это и в самом деле так. Не говоря уже о грузах, с которыми каждый день приходят сюда тяжелые «АНТы», цифра пассажирских перевозок из Мирного,

в Мирный и через Мирный уже сейчас весьма велика. Летят, приезжая на работу, летят, оставляя ее, летят в отпуска и из отпусков, летят через Мирный еще дальше, на север. Летят геодезисты, геологи, изыскатели, строители...

Ожидая самолета, разговариваем с будущими строителями «Удачного». Начальник будущего строительства Георгий Александрович Боровитинов с группой специалистов как раз сегодня летит туда, на место, выбирать площадку для будущего поселка. Самолеты там еще не садились, но летчик «АН-2» Виктор Иванович, который повезет строителей, уверенно говорит: все будет в порядке, по сведениям изыскателей, там найдется где сесть, тем более в такую хорошую погоду. Строители тоже не беспокоятся: пилот «АН-2» летает здесь давно, знает этот край, как свои пять пальцев, и за последние годы первым садился на многие впоследствии обжитые площадки.

Разговор происходит на краю аэродрома, перед маленьким старым, временным зданием аэровокзала, размеры которого никак не ассоциируются с количеством перевозок. Это почувствовали еще два года назад, и запроектировали, и даже вывели фундамент нового здания — побольше, но потом вовремя спохватились, что и это здание не решит проблемы. На его фундаменте будут строить другое помещение, а сейчас уже утвержден новый проект аэровокзала, который действительно будет соответствовать масштабам перевозок,— современного, просторного, с использованием стекла и сборного алюминия.

Садимся на «ЯК-12» и едва взлетаем, сразу чувствуем то, что не так бросается в глаза на земле,— масштабы работ, развернувшихся вокруг Мирненской алмазной трубки. Огромные отвалы грунта выглядят с воздуха целой грядой строго спланированных и постепенно, уступами возводимых все выше и выше искусственных гор. Справа, под крылом, немного на отлете от двух других видна третья, самая большая строящаяся обогатительная алмазная фабрика. День солнечный, и она еще долго серебряно сверкает вдали своими стенами из сборных алюминиевых плит, тех самых, которые будут применены на строительстве аэропорта. («Приезжайте через год-два, увидите!»)

Прямо внизу под самолетом — трасса новой дороги, которую спешно ведут через лесотундру из Мирного к Вилюйской ГЭС. Поселки дорожников — палатки, передвижные вагончики, дорожные машины. Дорога нужна давно, с ее строительством и так уже сильно запоздали, и это каждый день влетает в копеечку.

Впереди, почти до самого горизонта, остатки ночного тумана висят над изгибами Вилюя, как бы еще раз повторяя в небе контуры реки. Между этими кусками тумана вдали видна маленькая точка самолета. Пилот нашего «ЯКа» Валерий Завальский (ему всего двадцать четыре, но он уже пятый год летает здесь, в Якутии) показывает мне рукой на эту далекую точку.

— Полетели на «Удачную»...

3

На летном поле, на маленьком деревянном аэродромном зданьице, красиво, крупно — с замахом на будущее — выведена надпись: «Аэропорт Чернышевск». Так назвали свой поселок строители Вилюйской ГЭС — в память о великом русском революционере, отбывавшем свою почти пожизненную ссылку здесь, на реке Вилюй.

Смотрю на эту надпись и думаю: а может, будет верно и там, южнее, на Илиме, где тоже строят гидростанцию и где тоже неподалеку жил в ссылке другой великий русский революционер — Радищев, назвать поселок строителей Радищевском? Кстати, он пока без названия, называется просто Верхним...

Если подумать о том, чем была и чем становится Сибирь на глазах нашего поколения, и вспомнить при этом слова Ленина о русском революционном размахе, то, право же, присвоение этих великих революционных имен городам сибирских гидростроителей, а может быть, и самим гидростанциям покажется не только данью истории, но и актом, полным глубокого современного смысла.

После Хантайской ГЭС, которая с притока Енисея — Хантайки даст энергию в Норильск и Талнах, Вилюйская ГЭС самая северная из крупных сибирских гидростроек.

Как водится, прежде чем идти по объектам, начальник строительства Евгений Никанорович Батенчук у себя в кабинете коротко знакомит нас с характером реки, с масштабами и особенностями работ. Кабинет пустой, необжитой: стол, стулья, телефон да несколько чертежей на стенах. Судя по всему, начальник строительства проводит здесь, в кабинете, минимальную часть рабочего дня.

По словам Батенчука, Вилюй — река сложная и капризная. Зимой в ней почти нет расхода воды, зато в июне, в паводок, она достигает расхода Волги в районе Рыбинской ГЭС. Одна из особенностей — стремительное нарастание расхода воды. В первых числах мая сток практически близок к нулю, а через месяц, в первых числах июня, составляет 13 тысяч кубов в секунду. Так стремительно растет пик паводка. Река течет в глубоком каменном каньоне, и это не дает возможности куда-нибудь отвести ее, как это делается обычно. Поэтому в ходе строительства каждый год в предзимний период в русле реки создают замкнутый котлован и, откачав из него воду, за зиму выполняют в нем возможный максимум работ, а весной разрушают перемычки и затопляют котлован вместе со всеми произведенными в нем работами. При этом, конечно, зевать не приходится, соответствующий цикл работ должен быть выполнен точно в срок, иначе хлебнешь горя. В русле реки работают зимой, летом работают только по берегам.

Скала здесь вечно мерзлая, все ее трещины запечатаны льдом, и это требует особых предупредительных мер. Пока вечная мерзлота существует, скала не будет пропускать воду через основание и края плотины, но по мере оттаивания трещин начнется боковая и донная фильтрация через скалу. Для борьбы с ней в плотине сооружается так называемая цементационная галерея. Она берет начало под порогом водоприемника, опускается под экран плотины, проходит под ним через все русло реки и поднимается на другой берег, образуя туннель три с половиной метра в диаметре, по которому можно пройти с берега на берег. Через этот туннель будут вести цементационные работы — под сильным давлением заливать вытаявшие в скале трещины цементным молоком.

Кругом скала. Вилюйская ГЭС строится с высоким процентом использования местных материалов; по проекту на весь комплекс гидросооружений должно быть затрачено всего-навсего 60 тысяч тонн цемента и 15 тысяч тонн арматурной стали. Цифры более чем скромные; казалось бы, все хорошо. Но у этих цифр есть и оборотная, трудная для строителей сторона. Например, оказалось: для того, чтобы врезать в берега необходимые для плотины бетонные сооружения, требуется вынуть 150 тысяч кубометров скалы. И пришлось вынимать: кругом скала, никуда не подашься!

В этих местах, по подсчетам, только 59 безморозных дней в году. Во время строительства здесь уже зафиксирована зимой температура 61 градус ниже нуля, а теоретически возможна температура и 66!

Станция по проекту спрятана под землю; но, считаясь с низкими температурами, приходится прятать внутрь здания и ту часть приборов, которые на других электростанциях спокойно размещают снаружи.

Готовясь к перекрытию Вилюя, пришлось на его левом берегу в сплошной скале прорубать гигантскую траншею, через которую, как в трубу, ринется река к моменту перекрытия. Но перекрытие все равно будет тяжелым.

— А в общем, нашу реку надо увидеть в натуре, натура у нее крутая! — говорит нам Батенчук. И на этом заканчивается наш первый разговор с ним, изложенный здесь в моем сокращенном пересказе.

Едем на реку. Рыже-черный Вилюй, уже сдавленный в горловине будущего перекрытия до ширины в 42 метра, словно предчувствуя, что ему готовят люди, буквально беснуется в своих каменных берегах. Ширина — 42, глубина — 11, вот и представьте себе бешеную силу этого несущегося со страшной скоростью под уклон столба воды. На секунду мысленно разрежем его и представим себе, что он, как бык, лбом несется прямо на нас, а площадь этого водяного лба 11 на 42 — что-нибудь этак 400 с лишним квадратных метров!

Здесь нам не говорят: «Приезжайте через год!» Здесь говорят: «Прилетайте на перекрытие!»

Отвечаю, что мне, к сожалению, это вряд ли удастся сделать.

— Зря,— говорит Батенчук недовольно и в то же время сочувственно. Ему явно жаль меня, что я лишусь этого зрелища, не увижу, как они тут управятся со своим бешеным Вилюем.

Он интересно говорит о реке, этот человек. Сразу как о враге и как о друге. Говорит, как дрессировщик о тигре. Но все-таки, пожалуй, добрые чувства к Вилюю в нем преобладают. Он даже не называет Вилюй по имени, а говорит «наша река». Река ему явно нравится своей силой, нравом, ну и, конечно, своим будущим, тем, что как бы она ни кусалась, а все-таки они, строители, приберут ее к рукам.

— Верно, красивая, а? — Батенчук говорит это, стоя на самом краю скалы и глядя вниз, под ноги, на бешеную воду.— Иногда, бывает, занедужу, приду и сижу над нею, смотрю на нее и отхожу... Как вам нравится наша река?

Река мне и правда нравится, но человек нравится больше реки.

У нас не очень-то принято писать оды начальникам, а если вдруг все-таки напишешь что-нибудь в этом духе, то такие абзацы чаще всего вырубают в редакциях крест-накрест красным карандашом. И в этом, вообще-то говоря, есть доля здравого смысла.

Но что поделать, если мне действительно нравится этот человек. Да и начальником его сделали не за прекрасные глаза и удобный характер. Характер у него, по моим наблюдениям, как раз наоборот, крутой, неудобный. И это мне тоже нравится в нем, как и многое другое. Нравится тяжелая, мощная фигура — вот уж действительно под стать реке: сила на силу; нравится походка, несмотря на фигуру, ловкая, по-привычному быстрая, такая, за которой чувствуется: привык всюду и везде поспевать сам. Нравится и биография: строил, воевал, опять строил. На Иркутской ГЭС был главным механиком, здесь стал начальником. Чувствуется, что и авторитет и положение взял горбом, пройдя большую и трудную дорогу. За плечами уже пятьдесят, но сил — и душевных и физических — еще не занимать. Нравится мне в его биографии и то, что еще пять братьев Батенчуков, кроме этого — не знаю, похожих ли на него, но мне почему-то кажется, похожих,— работают на разных строительствах в разных

уголках нашей земли. А еще больше нравится, что не он сам говорит мне об этом, как говорится, выигрышном для газетчика факте; я об этом узнаю только потом и не от него.

Мне нравится отношение этого человека к делу и к людям. Мы ходим с ним по стройке, и я все время чувствую, как ему хочется поближе свести меня, корреспондента, с людьми, которые строят ГЭС, рассказать мне о них, дать почувствовать, какие это хорошие, сто̀ящие люди.

У Батенчука крепкая рука и властный характер, это чувствуется. Чувствуется, что он на стройке — хозяин в верном и необходимом смысле этого слова. Но в то же время чувствуется, что и другие люди, с которыми он меня сводит, тоже ощущают себя на этой стройке, каждый на своем месте — хозяевами. И это обоюдное хозяйское чувство, хозяйское отношение к делу определяет и взаимные отношения между начальником и подчиненными: одновременно и строго деловые и непринужденно товарищеские.

Я написал все это и задумался над сложным словом «хозяин». Мы относимся к этому слову настороженно и правильно делаем, потому что это слово во времена культа было синонимом не только твердой руки, но иногда и произвола. Это слово было скомпрометировано теми понятиями, которые постепенно образовались за ним; понятиями, которые, несмотря на социалистическую фразеологию, в сущности, уходили корнями в старый, собственнический мир. Не случайно рядом со словом «хозяин» со временем возникло слово «винтик». Хозяин немногословно и самоуправно решал, винтикам полагалось безмолвно и беспрекословно крутиться.

Нет спору, что у нас есть все исторические причины для решительного неприятия слова «хозяин» в таком его понимании, но само по себе слово не виновато; само по себе это хорошее, нужное слово. Вопрос только в том, чтобы человек чувствовал себя хозяином по отношению к делу, а не к людям и чтобы таким хозяином по отношению к порученному делу чувствовал себя каждый, снизу доверху, а не один за всех. И в таком понимании этого слова любой начальник стройки обязан чувствовать себя хозяином и в действительности

быть им, так же как и любой из его подчиненных, хозяйничающих на своих больших или малых участках общей работы.

Батенчук ходит с нами по стройке и знакомит нас с ее хозяевами.

Один из них — Виктор Иванович Попов, машинист экскаватора, доделывает сейчас трудную и срочную работу — расчищает от глыб взорванной скалы траншею верхнего бьефа. Он и его сменщики подготавливают здесь проход для воды. Это одна из работ, прямо связанных с предстоящим перекрытием Вилюя, и у Попова нет времени долго разговаривать с нами.

— Да, он уже не на первой стройке; работал и на Братской и на Иркутской ГЭС. Да, он считает, что если поднажмут, то уложатся в сроки, хотя предстоит убрать с дороги очень много скалы.

Не вдаваясь в подробности, он коротко машет нам брезентовой рукавицей и лезет обратно в кабину экскаватора.

Тут же, неподалеку, на бетонных работах, на зачистке, трудится целая бригада якутских комсомольцев, приехавших сюда по призыву обкома комсомола. Это ребята и девушки и из самого Якутска и из глубинных районных центров. У всех у них семь-восемь-девять классов образования, почти все приехали сюда, оставив другие работы. Вера Никитина была лаборанткой сельскохозяйственного института. Фекла Алексеева работала в опытном хозяйстве. Евдокия Неустроева была канцелярской служащей, Байрон Федоров — разнорабочим, а Николай Соколов пришел сюда прямо из школы, после девяти классов, и здесь, поступив в вечернюю, учится в десятом. Почти все остальные тоже учатся по вечерам в энергостроительном вечернем техникуме, который создан здесь, в Чернышевске.

Мы вместе с Батенчуком разговариваем с ребятами, а над нашими головами, над будущим створом плотин, на вершине скалы, похожая на батарею зениток, работает целая шеренга мощных бурильных станков. Там, наверху, готовятся отколоть и свалить вниз еще целый слой прибрежной скалы. Батенчук смотрит туда, задрав голову, и вдруг выражает сожаление, что не сможет меня познакомить с Тоней Негуляевой — она работает в другую смену. Из его дальнейших объясне-

ний выясняется, что Тоня Негуляева — одна из тех, кем гордится стройка. Бурильщики, как правило, мужчины, но эта молодая женщина, которую они поначалу не хотели брать в товарищи, все-таки настояла на своем и сейчас заткнула за пояс большинство тех, кто сомневался, справится ли она с этим неженским делом.

Батенчук с завидной неутомимостью таскает нас за собой по стройке вверх и вниз, и снова вверх и вниз, потом переправляет с правого берега на левый, и обратно с левого на правый, и, наконец, делает паузу в осмотре только потому, что его вместе с нами выгоняет с площадки Николай Кириллович Пикулин, командующий здесь всеми работами Гидроспецстроя. На площадке предстоит серия взрывов, и Пикулин лично явился сюда проверить, всех ли людей уже выгнали отсюда первые предупредительные сигналы. Пикулин — хозяин взрывных работ, и тут уж начальство или не начальство, все обязаны слушаться!

Изгнанный с площадки в диспетчерскую — под крышу с толстыми бревенчатыми накатами, совсем как в блиндаже,— Батенчук с минуту томится бездействием и вдруг, с места в карьер, начинает подсчитывать, во что обходится строительству доставка грузов, и так дорогая из-за огромного расстояния и тройной перевалки с железнодорожной колеи на воду и с воды на автотранспорт, а сейчас, пока все еще не достроена дорога Мирный — Чернышевск, дорогая вдвойне!

— Если бы Аэрофлот брал с нас по своему обычному тарифу — по 7 рублей с тонны в один конец, а не по 14, считая обратный порожний рейс, то, как ни дико это звучит, переброска грузов по воздуху стоила бы нам на рубль дешевле, чем стоит сейчас по земле и воде!

— Если даже на минуту предположить возможность такой «экономии», то все равно не всякие грузы к вам сюда по воздуху дотащишь,— говорю я.

— Конечно, не всякие.— Батенчук невесело усмехается, очевидно, при воспоминании о габаритах некоторых грузов, которые им пришлось сюда тащить.— Ждем дороги из Мирного как манны небесной. 89-тонные котельные установки тащили сюда с Лены, из Мухтуи, по зимнику тракторами, 370 километров через

реки с искусственным намораживанием льда. И знаете, сколько его намораживали? На такую же толщину, какую составляет вся глубина реки. Намораживали с расчетом, что даже если лед провалится, то ляжет своей толщиной до самого дна и оборудование не уйдет под воду. Сначала наиболее тяжелое оборудование тащили по сорок пять суток, сейчас уже везем по двадцать! А летом, во время навигации, из-за отсутствия летней дороги тащим, конечно, и по Вилюю, хотя понятие «навигация» тут относительное. Вилюй весь в порогах, через эти пороги железные баржи, знаете, как приходится проводить: по берегам с двух сторон, как бурлаки, гуськом, прут тракторы и на тросах со скрежетом волокут эти баржи через пороги...

После взрыва — отбой. Идем вместе с Батенчуком и Пикулиным смотреть подземное хозяйство — здесь предстоит вырубить в скальном грунте немалой длины галереи, по которым будет подаваться вода к турбинам подземной электростанции.

На одном из подземных горизонтов, где ведут сейчас работу проходчики, знакомимся с начальником горного участка Гидростроя Николаем Георгиевичем Корейшей. Спрашиваю его, с какой стройки он сюда приехал.

— Как с какой?! Своих не узнаете,— смеется Корейша.— С Московского метро сюда прибыл, откуда же еще!

Он говорит об этом так, словно это само собой разумеется. Из дальнейшего разговора выясняется, что тут действительно работает немало метростроевцев. Сам Корейша пришел работать на Метрострой еще в 33-м году, в счет первой тысячи комсомольцев.

— Будете в Москве, передайте от меня привет одному из наших тысячников. Вы его наверняка знаете.

— Кому же это? — спрашиваю я с некоторым недоумением.

— Поэту Евгению Долматовскому. В одной бригаде, на одном щите с ним работал. А теперь вот приехал сюда в Сибирь — кругом комсомольцы, так что снова

чувствую себя тысячником. А хотя это теперь устарелый масштаб — тысячники. Даже не знаю, как теперь в Сибири надо говорить о комсомольцах — миллионщики, что ли?

В проходческой смене, которая сейчас ведет подходные штольни к напорным туннелям, бригадир Николай Фролович Романов, так же как и Корейша, метростроевец, но зато все остальные из других мест. Сменный мастер Владимир Михайлов пришел сюда с медных рудников Хакасии; один из проходчиков, Виктор Николаенко, приехал из Кузбасса, а два других — совсем молодые ребята Геннадий Завадкин и Анатолий Черный, оба слесари-инструментальщики, из Красноярска. Летом два дружка договорились между собой, взяли расчет, собрались и приехали сюда осваивать профессию проходчиков.

Поругивая нас за то, что нам сегодня же нужно лететь обратно, Батенчук напоследок везет нас в поселок строителей. Ему хочется показать нам поселок, и это желание нетрудно понять. Поселок хороший, добротно сделанный, а главное, благоустроенный. От улицы к улице, от дома к дому тянутся трубы теплоцентрали, в условиях вечной мерзлоты не зарытые в землю, а хорошо изолированные, идущие поверху. Эти трубы подведены не только к стандартным сборным деревянным домам, но и к похожим на вагончики маленьким домикам, так называемым ПДУ — «передвижным улучшенным».

Потом едем смотреть Дворец культуры.

— Ничего, успеется! А не успеете, улетят без вас, тем лучше. Останетесь — встречу в клубе проведете,— говорит Батенчук.

Дворец культуры, так же как и больница, должен быть сдан через несколько дней. Большое деревянное здание с просторным зрительным залом, с хорошим фойе, библиотекой, комнатами отдыха. И такой же, как в больнице, запах новизны, чистоты, свежей, непросохшей краски.

Когда выходим из дворца, я спрашиваю: почему его разместили здесь, на горке, на самом высоком месте в поселке? Не будет ли здесь ветрено?

— Холода — другое дело,— говорит Батенчук,— а особых ветров здесь у нас нет. Зато посмотрите, какое

место красивое! Специально его выбрали: чтобы, когда построим станцию, отсюда, из окон, и Вилюй, и плотину, и водохранилище — все было видно!

* * *

Мне почему-то хочется закончить эти путевые записки воспоминанием о совсем другом, очень далеком от Сибири месте, где я недавно побывал.

На севере Польши, в глуши Мазурских озер, или, как называли их у нас раньше, Мазурских болот, недалеко от Грюнвальдского поля, где когда-то соединенные силы поляков, литовцев, русских и чехов разгромили войска крестоносцев, недалеко от Августовских лесов, где в четырнадцатом году под ударами войск Гинденбурга погибла армия Самсонова, есть глухое место, которое фашисты назвали «Волчьим логовом». Не знаю, кто так окрестил это место, сам Гитлер или кто-то другой из его волчьей стаи, но название пришлось к месту.

«Волчье логово» — это главная гитлеровская ставка на Восточном фронте. И даже после тех грандиозных циклопических взрывов, которыми подняли здесь все в воздух фашисты, отступая в сорок четвертом году под натиском наших войск,— все равно оставшееся дает представление о том, какой дьявольской военной машиной управляли отсюда. Саму эту машину взорвал не Гитлер — ее разнесли вдребезги мы. А ему оставалось только взорвать пульт управления. Взорвать, чтобы не достался нам в руки, взорвать, когда это стало неотвратимым.

И вот через двадцать лет среди глухого, угрюмого леса, между проржавленных рельсов и исковыренных бетонных дорог, лежит все, что осталось от гитлеровской ставки: громоздящиеся друг на друга глыбы пяти — семи — девятиметрового бетона; опрокинутые и разбросанные по лесу перекрытия; сдвинувшиеся и наехавшие друг на друга бетонные стены; бункер Гитлера, бункер Геринга, бункер Гиммлера, бункер Кейтеля, бункер штабов и охраны. Бетон на земле, в земле, под землей! Гигантские бетонные щели в громадных, уходящих в глубь земли затопленных водой бетонных колодцах.

Глядя на все это, нельзя не почувствовать, что, высокомерно мечтая о блицкриге, они в то же время задним умом понимали, что война с Советским Союзом может оказаться войной насмерть. Готовясь только к легкой войне и не допуская других возможностей, не построят такого «Волчьего логова»!

Так думалось мне, когда я бродил по этому угрюмому лесу. Бродил и думал о том, как приходили сюда первые торжествующие сводки о падении Минска и Смоленска и первые тревожные звонки об отчаянной, непредвиденной обороне Бреста и Могилева. А потом сюда же приходили клятвенные обещания задушить Ленинград и через месяц взять Москву. Через две недели, через неделю, через три дня... А потом сюда же приходили другие сообщения. Другие, совсем другие, кончая последним, самым последним, тем, после которого пришлось в бессильной ярости своими руками поднять в воздух все эти глыбы бетона.

А ведь им, всем этим серым надземным и подземным пятиэтажным казематам, поначалу, казалось, была уготована совсем иная судьба. Наверное, было время, когда, проходя мимо них, главари третьего рейха представляли себе, что эта восточная ставка Гитлера станет когда-нибудь вечным музеем славы фашизма, что в этот бетон будут врезаны бронзовые доски с именами триумфаторов, с надписями о том, что некогда здесь помещалась ставка великого восточного похода, и с великими датами взятия Ленинграда, Москвы, перехода через Волгу, через Урал, завоевания Сибири...

Да, много мыслей рождает зрелище этого несостоявшегося памятника несостоявшимся владыкам поверженной России!

Меня иногда спрашивают, есть ли какая-нибудь внутренняя связь между моими поездками газетчика по Сибири и моей писательской работой, романами о войне, которые я писал и продолжаю писать. Да, для меня между тем и другим есть самая прямая связь. Не будь тех нечеловеческих усилий всего народа, которые, несмотря на трагическое для нас начало войны, все-таки на четвертый год ее привели нас в это «Волчье логово»,— не было бы ни Ангарска, ни Братска, ни Дивногорска, ни Мирного. Не было бы ни великих строек, ни крупнейших в мире гидростанций... Короче гово-

ря, не было бы великой свободной страны, которая называется Советский Союз. А если говорить не только о себе, то не было бы и той Европы, которая есть сейчас. У нее была бы другая карта и другие, фашистские, хозяева.

Каждая журналистская поездка в любой уголок нашей страны для меня не только открытие нового, сегодняшнего, но и неумолчное воспоминание о войне. И не только потому, что у каждого второго строителя на каждой стройке отец не вернулся с войны, но и потому, что все самое хорошее, смелое, грандиозное, что во время поездок ты своими глазами заново открываешь для себя, все это самым фактом своего существования отвечает тебе на вопрос: за что мы боролись в годы войны? Да, вот за это мы и боролись!

За это, в том числе за эту древнюю и новую Сибирь, которая стала у нас поистине всенародной любовью и гордостью.

Сентябрь 1964 г.





Дорогой товарищ редактор!

Ваша телеграмма напомнила мне о том обещании, которое я с удовольствием дал Вам, прощаясь с Вами прохладным апрельским утром на Берлинском аэродроме перед отлетом в Москву. Это было обещание написать репортаж для Вашего журнала, коллектив которого так дружески сделал все от него зависящее для того, чтобы я за те короткие десять дней, что был в новой, демократической Германии, смог увидеть как можно больше интересного.

Тогда был конец апреля, а сейчас стоит середина сентября.

Я распечатал Вашу телеграмму вчера рано утром в Москве, прилетев из Сибири, из Якутии, со строительства одной из наших самых северных гидростанций — Вилюйской.

Я летел оттуда до Москвы с пересадками на трех самолетах, первый из которых был трехместным и шел со скоростью 120 километров, а последний был стоместным и шел со скоростью 900 километров. А в общем, это достаточно длинное по расстоянию путешествие — примерно семь тысяч километров — заняло со всеми пересадками только несколько более суток.

Я называю эти две цифры — семь тысяч километров и тридцать шесть часов — не потому, что в наше время удивителен контраст между этими двумя цифрами расстояния и времени — с каждым годом он становится все менее удивительным,— а потому, что, вспоминая строительство Вилюйской ГЭС — последнего пункта моей последней поездки по Сибири, невольно думаю о том контрасте, который связан в моей памяти со словом «Вилюй».

Веселый восьмитысячный поселок строителей Вилюйской ГЭС, деревянный, но в то же время весь опутанный протянутыми от дома к дому закутанными от мороза трубами теплоцентралей, сами строители назвали Чернышевском. В памяти каждого человека, знающего историю русской литературы и русской революции, название реки Вилюй, на которой ныне строится ГЭС, связано с именем писателя-революционера Чернышевского — того самого человека, попытка организовать бегство которого из вилюйской ссылки связана в нашей памяти с именами Маркса и Энгельса.

Смелая, более того, отчаянная попытка организовать бегство Чернышевского тогда, сто лет назад, не удалась. Но то, о чем думал тогда, сто лет назад, Чернышевский в России, и то, о чем думали сто лет назад Маркс и Энгельс на Западе, в Германии и Англии,— попытка перестроить мир на новых, демократических, коммунистических началах,— эта попытка на памяти и на глазах нашего поколения с каждым годом все более превращается из мечты в действительность, которая одним может нравиться, а другим не нравиться, но которая уже стала бесповоротным фактом мировой истории.

Если бы я был на десять лет моложе и если бы я писал стихи, как делал это еще десять лет назад, я бы, вернувшись оттуда, с Вилюя, наверно, написал стихи. Красота и резкость контрастов истории невольно тянут

на стихи даже тогда, когда по возрасту уже пора перестать их писать.

Перед тем, как полететь на строительство Вилюйской ГЭС, я был в городе Мирном, в этой северной алмазной столице. Да, столицы, хотя, как и Чернышевск, это тоже пока что деревянный город, и в нем пока что всего-навсего двадцать тысяч жителей. Но тем не менее он все-таки столица алмазов, потому что, насколько мне известно, не только на Севере, но и на всем земном шаре пока не открыто более богатого их месторождения, чем там, в Мирном.

Там, в Мирном, в маленькой гостинице для приезжающих, в тот вечер, когда я туда прилетел, жильцами оказались всего четыре человека: двое русских — я и мой товарищ, так же, как и я, корреспондент «Правды», и двое немцев — корреспонденты «Теглихе Рундшау».

С одной стороны, эта встреча в маленькой гостинице в сердце Сибири была, конечно, совершенно случайной. А с другой стороны, в ней была, пожалуй, и своя закономерность. Закономерность общих интересов журналистов, да и, шире говоря, просто людей двух наших стран, строящих новое общество. Мы слетелись из разных мест на одну из далеких и трудных строек, где люди в жестоких, если не сказать, жесточайших условиях Севера своим повседневным и нелегким трудом укрепляют международные экономические позиции нового мира.

Двое русских и двое немцев одинаково называли работающих здесь людей товарищами, с одинаковой заинтересованностью расспрашивали об их успехах, с одинаковой обеспокоенностью знакомились с их трудностями, с их еще не решенными проблемами. У двух русских и у двух немцев был одинаковый подход и к этим успехам и к этим нерешенным проблемам — подход людей, для которых эти успехи были их общими успехами и трудности были общими трудностями. И когда главный инженер комбината рассказывал об этих успехах и об этих трудностях, то ему не понадобилось затрачивать двойное время для того, чтобы отдельно рассказывать обо всем этом «своим» и отдельно «чужим». Все четверо мы были для него свои люди, и всем четверым он рассказывал одно и то же,

и все четверо мы слушали его вместе, потому что мы были людьми одной идеи, одних интересов, одних симпатий и антипатий.

Этот факт сам по себе не столь существен, но я останавливаюсь на нем потому, что в принципиальном смысле он кажется мне важным и, быть может, даже символическим.

А потом у меня был литературный вечер в местном клубе строителей, и немецкие товарищи с охотой пошли на этот вечер, и я был рад их присутствию на нем.

Я по преимуществу военный писатель; почти все написанное мною начиная с лета 1939 года, когда я впервые услышал свист пуль и грохот бомбежек в Монголии, на Халхин-Голе во время конфликта с японцами, написано о войне. И, конечно, больше всего и в стихах, и в драмах, и в романах, последний из которых я закончил этой весной, написано о войне с германским фашизмом, о войне, которая оставила вдов и сирот почти в каждой русской и почти в каждой немецкой семье.

И разговор на этом литературном вечере шел о моем военном романе «Живые и мертвые» и о фильме, поставленном по нему Александром Столпером; и о романе «Солдатами не рождаются», посвященном Сталинграду; и о новом романе, тоже военном, над которым я начинаю сейчас работать,— романе о конце войны, о боях под Берлином и в Берлине. И вопросы, которые мне задала аудитория, были вопросами об этих военных книгах. И стихи, которые я читал в заключение, были главным образом военными стихами.

А передо мной в первом ряду сидели двое немецких товарищей — сыновья той нации, которую фашизм бросил в пекло этой войны.

Не хочу скрывать, этот вечер был для меня душевной самопроверкой. Одно дело было писать эти книги, драмы и стихи, сидя наедине с самим собой за письменным столом, а другое дело — говорить о них и отвечать на связанные с ними вопросы аудитории, видя перед собой в первом ряду лица двух немцев, слышащих каждое слово, говорившееся на этом вечере здесь, далеко от их родины, в глубине Сибири.

Я говорил так же и то же, что говорю на любом из таких вечеров, на любой встрече со своими читателями. Говорил и не испытывал чувства скованности или неловкости. Во-первых, потому, что никогда, в самые трагические, жестокие для нас дни войны, я, русский коммунист, враг немецкого фашизма, никогда не ощущал себя врагом немецкого народа и никогда не ощущал себя им потом, работая над своими книгами. И, во-вторых,— и это самое главное — потому, что эти два немецких товарища, сидевшие передо мной в зале и глядевшие мне в глаза, хотя и они хранили в душе все эти чувства, которые были связаны с трагедией, пережитой их народом, были в то же время моими единомышленниками. Они так же, как я, ненавидели фашизм и осуждали все то, что было связано с ним в прошлом. Они так же, как я, хотели мира и дружбы между нашими народами. Они так же, как я, в меру своих сил помогали строить новое общество.

У них было, наверное, другое прошлое, чем у меня, но у нас с ними было одинаковое настоящее и общее будущее. И я был особенно счастлив возможности прочесть на этом вечере стихотворение, которое я читал почти всегда, почти на всех вечерах, стихотворение «Немец», посвященное Эрнсту Бушу, немецкому певцу, бойцу, антифашисту, человеку, который, подобно Мате Залке — генералу Лукачу,— был с юности для меня одним из живых символов интернационализма.

Я читал это стихотворение там, в городе Мирном, а перед глазами у меня стояло постаревшее, но по-прежнему волевое и мужественное лицо Буша, такого, каким я его видел недавно, в апреле, в Берлине во время последнего нашего свидания у него в доме.

Я читал стихи, а в моих ушах звучал его глуховатый сильный голос: «Друм лингс, цвай, драй. Друм лингс, цвай, драй»,— и мне вспоминалась моя юность и мое тогдашнее страстное желание попасть в Испанию, где под Мадридом, под Гвадалахарой, под Уэской немцы-антифашисты, такие, как Буш, вместе с антифашистами всего мира дрались против немецких фашистов, против итальянских фашистов, против испанских фашистов...

Если юность стоит того, чтобы о ней вспоминать,— с нею не прощаются никогда, до седых волос. Если идеи заслуживают того, чтобы называть их идеями,— они не умирают никогда, какие бы испытания ни выпали на их долю. Умирают только люди, идеи остаются.

Не знаю, о чем думали мои немецкие товарищи, сидевшие передо мной в зале, но я в тот вечер думал об этом — о силе и бессмертии наших общих идей.

В конце вечера мне прислали несколько записок с вопросами о том, как я работаю над новым романом. Отвечая на них, я рассказал о том, как в апреле в Берлине, собирая материал для заключительных глав своего романа о последних днях боев и первых днях мира, я встречался в редакции «Фрейе вельт» с людьми, которые сейчас строят социализм в новой, демократической Германии и которые тогда, в апреле и мае сорок пятого года, были такими разными людьми, что даже трудно было представить тогда, что они, все эти люди, будут когда-нибудь вместе делать одно общее дело.

Я рассказывал о встрече с немцем, с которым мы сейчас говорим друг другу — товарищ и который тогда, в апреле сорок пятого, был моим прямым противником — связным офицером той самой армии Венка, на которую, сидя в своем бункере в имперской канцелярии, Гитлер делал последнюю безнадежную ставку.

Я рассказывал о немце — секретаре цеховой партийной организации, который тогда, в апреле сорок пятого, четырнадцатилетним мальчишкой, считая, что его призвали в отчаянную минуту спасти свою родину, жег среди развалин Берлина наши советские танки.

Я рассказывал о немце, который начинал войну летчиком фашистской авиации, а потом, попав в плен, учился в антифашистской школе, преподавателями которой были Пик, Ульбрихт и Маттерн, а потом, кончив эту школу, в сорок четвертом году в лесах Белоруссии с редким мужеством, каждый день и каждую ночь рискуя жизнью, спасал от бессмысленной смерти своих соотечественников — немецких солдат, приведенных там, в минском котле, на край гибели фашистскими генералами. Рискуя жизнью, он уговаривал их сдаваться, чтобы после войны вернуться домой и строить другую, новую Германию.

И люди, сидевшие в зале, мои соотечественники, многие из которых были сиротами этой войны, с волнением и сочувствием слушали рассказ о судьбах этих разных немцев с разными биографиями, в конце каждой из которых стояло великое слово — товарищ.

Сначала, когда я садился за это письмо, мне хотелось написать о многом. А вышло так, что я написал только об этом вечере, об этой встрече с двумя немцами там, в глубине Сибири. Ну что ж, может быть, это и есть самое важное воспоминание о той поездке, из которой я вчера вернулся. Да, пожалуй, так оно и есть!

С товарищеским приветом.

Ваш

Константин Симонов

11 сентября 1964 г.
Москва





На ближайшем к месту посадки аэродроме в радиорубку каждую минуту, нет, каждые полминуты и четверть минуты врываются голоса оттуда, с воздуха, голоса с самолетов, барражирующих каждый в своем секторе в районе предполагаемой посадки космического корабля. Самолеты в воздухе, вертолеты наготове, тысячи людей готовы встретить, обнять, помочь тем троим, которые там, над Землей, которых мы ждем здесь так, как редко кого ждем!

Наконец один за другим начинают поступать сигналы о том, что корабль пошел на спуск. Эти сигналы приходят издалека, очень издалека. Пока расстояния еще огромны, хотя в то же время точка приземления намечена и район, в котором ожидается приземление, невелик. Точность в расчетах сопровождала предыдущие полеты, и на эту точность рассчитывают и сейчас.

Показания перекрещиваются. Штурманы, нанося их, склоняются над картой. И вот уже отсюда, с аэродрома, в воздух, на самолеты летят радиосигналы с координатами и с предполагаемыми расстояниями до

точки приземления, расстояниями, которые отделяют от этой точки каждый из барражирующих в небе самолетов. Визуально, как выражаются летчики, космический корабль еще не обнаружен, но, по расчетам, он уже произвел посадку, и точка этой посадки уже определена, и самолетам и вертолетам даны команды следовать к месту посадки.

Еще несколько минут напряженного ожидания — и с одного из самолетов, сразу огромной радостью врываясь в сознание всех присутствующих, приходит первое сообщение: «Увидели!» И сейчас же за этим сообщением следует второе: «Увидели всех трех! Все нормально. Все в порядке. Вылезли из корабля, стоят и машут руками».

Мы слушаем все новые и новые радиосообщения и знаем, что туда, на место приземления, спрыгнули уже первые парашютисты, в том числе врачи, что вертолеты уже подходят туда и через несколько минут подойдут, чтобы взять космонавтов на борт.

Блистательный полет завершен. Еще одна победа советских людей, Советской страны, советской науки.

И вот они наконец здесь, на аэродроме. Они вылезают из самолета, сначала машут руками из люка, а потом спускаются по лесенке навстречу всем нам, бегущим к ним, к самолету.

Даже как будто чуть-чуть стесняясь вдруг возникшего вокруг многолюдства, спускаются по лесенке на землю трое обыкновенных золотых советских ребят, усталые, улыбающиеся, красивые, двое немножко постарше, один помоложе, двое темноволосых, один с неожиданной сединой,—все равно с неожиданной, хотя мы уже и видели ее на снимках в утренних газетах.

Окруженные толпой, они входят в маленькое ближайшее зданьице, моют с дороги руки, пьют нарзан. Наскоро, потому что им почти сейчас же надо улетать дальше, закусывают после долгой дороги.

Да, если вглядеться в их глаза, то, конечно, они все-таки устали; из глаз их не исчезло что-то такое, что напоминает о том состоянии напряжения, в котором они еще так недавно находились там, над Землей. А в то же время сквозь этот налет усталости они с интересом глядят на окружающих, и шутят, и улыбаются. И это не результат тренировки воли и не заранее заго-

товленная маска спокойствия, это просто душевное здоровье трех этих красивых, добрых людей, только что совершивших еще одно доброе дело для всего человечества. Одно из тех добрых дел, на которые наша страна год за годом посылает своих лучших сынов.

Коммунист, беспартийный, комсомолец. Военный инженер, ученый, врач — это как бы слепок, как маленькая частица нашего советского общества, сделавшая за эти сутки 16 витков над Землей.

Об этом невольно думаешь, глядя на этих трех людей. Они только что вернулись оттуда, и вот они снова среди своих, и по-свойски разговаривают с окружающими, и принимают поздравления от людей, в поте лица своего убирающих здесь, на бескрайних полях, последние тысячи тонн хлеба.

И тут же сами поздравляют этих окружающих их людей, поздравляют так горячо, от души, что за этим чувствуется: да, конечно, они знают цену своего подвига, но это не мешает им, а, наоборот, может быть, даже помогает ценить обыденные, но великие труды миллионов своих земляков, не летавших в космос, остававшихся тут, на Земле.

Я впервые на такой встрече. Меня все эти годы интересовало, как выглядят люди, только что вернувшиеся из космоса. Сейчас я могу ответить себе на этот вопрос: они выглядят очень обыкновенно, хорошо, почеловечески выглядят, только глаза их немножко более усталые, чем у всех других, тех, кто окружает их. Тем, кто их встречает, очень хочется, чтобы они хотя бы пригубили по глотку шампанского здесь, на Земле, после полета. Но им этого нельзя, и они, улыбаясь, отказываются и говорят, что их работа еще не кончена, что они еще будут находиться под наблюдением врачей. И один из них шутит, что на этот раз они так и не выходили из-под власти врачей, поскольку врач был с ними даже в космосе.

— Ну и как они вели себя там, ваши пациенты? — спрашивают у самого молодого — у Бориса Егорова.

— Отлично, никаких замечаний,— улыбается тот.

У каждого, кто сейчас здесь, рядом с ними, много вопросов, но все мы как-то стесняемся задавать эти вопросы: как-то неловко мучить вопросами людей, только что закончивших такую трудную работу.

И вдруг в разговоре мелькает одно из впечатлений о Земле, увиденной оттуда, сверху, о том, как успели уловить очертания Мадагаскара и как потом шли над Гималаями, над этим изумительным, застывшим каменным морем.

По-моему, это говорит Константин Феоктистов.

А Борис Егоров, отказываясь от второй порции завтрака, которой непременно хотят его угостить, смеется:

— Мы ведь совсем недавно уже завтракали.

— Где? На месте приземления?

— Нет,— продолжая улыбаться, говорит Егоров,— по-моему, где-то в районе мыса Горн...

А командир корабля Владимир Комаров, вставая из-за стола, вдруг с необычайной задушевностью говорит по-матерински суетящимся вокруг женщинам:

— Спасибо за угощение. Спасибо, спасибо вам, наши родные...

— А что передать от вас москвичам? — спрашивает один из корреспондентов.

— Передайте им, что здесь, где мы приземлились, нас замечательно встретили.

— И скажите, что мы скоро будем дома...

* * *

Мы возвращаемся на самолете из района приземления в Москву уже в темноте. Внизу, под крылом, бесчисленными, прекрасными, добрыми, мирными огнями горит наша Москва — город, где родились двое из трех — этих прекрасных и смелых людей, всего несколько часов назад вернувшихся домой из космоса.

Я много раз подлетал к Москве ночью, но она еще никогда не казалась мне такой красивой, как сегодня.

Район приземления —
борт самолета — Москва.
14 октября 1964 г.





Далеко на востоке, среди тайги, стоит большой рабочий город. Впервые я очутился на его улицах в разгар рабочего дня и удивился их пустынности. Но это была особая пустынность — города, в котором все работают, в котором мало досужих людей. Так уже издавна сложился его быт.

Конечно, городов-бездельников вообще нет. И на лице каждого заметна печать той работы, которой он занят. Но здесь, в Комсомольске-на-Амуре, печать трудового города, всецело отдающего себя тому делу, ради которого он построен, как-то по-особому заметна. Да и сам город, как и некоторые другие города, родившиеся в стремительные тридцатые годы, даже в своей планировке сохраняет черты той строгой эпохи.

Самые оживленные, густо застроенные районы города привязаны к тем предприятиям, ради которых он строился. У этого города как бы несколько мощно бьющихся сердец, каждое со своей системой кровеносных сосудов. А центр его, или, вернее, то, что впоследствии

оказалось его географическим центром, в сущности, еще до сих пор больше существует в градостроительных планах, чем в натуре. Центр города еще будет застраиваться и благоустраиваться — он и сейчас еще предмет забот и огорчений и новоселов и первостроителей Комсомольска. Есть театр, но до сих пор еще нет театрального здания; много лет все еще достраивается общегородской Дворец культуры; и один из первых на Дальнем Востоке телецентр все еще не перешел из своего первого, временного помещения в постоянное; и цирк еще только запланирован; и центральный городской проспект, связывающий воедино большие новые жилые массивы, еще лишь проглядывается из чертежей...

Словом, в городе предстоит сделать еще многое, на долгие годы отодвинутое первыми, неотложными строительными заботами, потом войной, а после нее — послевоенными заботами, тоже нелегкими и неотложными.

И хотя город справляет свое тридцатипятилетие, думаю, что комсомольчане не посетуют, если я в эти юбилейные дни напомню о том, о чем они говорят сами. Чтобы Комсомольск, один из самых романтических городов нашей страны, стал городом-красавцем, надо сделать еще очень много и такого, что потребует длительной работы, и такого, что сделать уже пора и даже давно пора.

И все же сегодня хочется говорить не об этом. Хочется вспомнить тридцатые годы — трудное и героическое время, когда начинался этот город, вошедший в наше искусство вместе с «Мужеством» Веры Кетлинской и «Комсомольском» Сергея Герасимова.

Тех, кто пронес свои боевые знамена через самую трудную пору войны, в армии называют ветеранами. Тех, кто пронес свои комсомольские знамена через самую трудную пору строительства, в городе называют первостроителями. При воинских частях бывают «советы ветеранов»; здесь, в Комсомольске, есть «Совет первостроителей».

Как-никак городу уже тридцать пять лет, но его первостроители, прорубавшие первые просеки в нетронутой тайге, были тогда так молоды, что, давно став ветеранами, они все еще не пенсионеры.

Мы сидим в Комсомольске, за длинным столом у окна, за которым — большие дома большого современного города. Члены «Совета первостроителей» говорят, а я, журналист, записываю их воспоминания о своем городе и о себе. О городе — двухнедельном, месячном, годовалом, и о себе — семнадцати- и двадцатилетних; и на моих глазах один за другим возникают все новые штрихи этого коллективного автопортрета поколения.

ГОВОРИТ МИХАИЛ ГАВРИЛОВИЧ ИЛЬИН, председатель «Совета первостроителей», ныне начальник лаборатории завода «Амурлитмаш»:

— Причина, по которой мы сюда приехали, общеизвестна. Япония, захватив Манчжурию, вышла к нашим границам, и 23 февраля 1932 года Советское правительство приняло решение построить на Нижнем Амуре крупный судостроительный завод и новый город. Работа по тому времени предстояла трудная, со строительной площадкой не было связи, кроме редких пароходов, ходивших в период навигации из Хабаровска. Ну и понятно, что правительство и партия поручили это самым надежным товарищам — комсомольцам.

Нас приехало сюда шесть тысяч человек. Я ехал из Одессы в украинском эшелоне. Эшелон шел пятьдесят дней, а потом мы, первые девятьсот человек, сели в Хабаровске на пароходы «Коминтерн» и «Колумб» и 10 мая 1932 года высадились на этом берегу.

Здесь стояло село Пермское — 52 двора, построенное когда-то переселенцами из Пермской губернии. На правом берегу Амура был заповедный лес, которого не касалась рука человека, да и на левом берегу сразу за околицей начиналось дикое, сухое болото, поросшее осиной и березой.

Мы были в большинстве своем металлисты — токари, фрезеровщики, кузнецы, слесари. Но для начала нам пришлось стать раскорчевщиками. Корчевали первые тридцать гектаров, рассекали лес дорогами, делали дренажи, строили лесозавод. 10 мая высадились, а 25 июня наш первый лесозавод дал свой первый гудок, огласивший тишину тайги...

Свою первую зиму комсомольцы проводили не в бараках и даже не в землянках, а в шалашах. Да и те

едва успели построить к осени. Обыкновенные шалаши, обмазанные по скатам глиной, с железными печками-буржуйками. В них и провели свою первую зиму, а она была холодная, мороз стоял до 60 по Цельсию. (Это куда ниже, чем те 100 по Фаренгейту, о которых когда-то писал Джек Лондон как о температуре, непреодолимой для человека.)

В эти морозы продолжали наружные работы, рыли котлованы. Сперва рвали землю аммоналом, потом отогревали ее кострами, углубляли, расширяли вручную — землеройных машин тогда не было. Зима была тяжелая. Да еще мучила цинга, свирепая северная болезнь, вызванная недостатком пищи, овощей, фруктов.

Естественно, что некоторые заколебались и часть даже бежала отсюда. Но если учесть всю тяжесть обстановки, то надо сказать, что часть эта была незначительной — всего 450 человек из шести тысяч.

В первую зиму среди нас было только тридцать девушек. Да это и можно понять: уж больно тяжелые были условия — жалели их, не хотели везти сюда. Все вспомогательные работы, которые, пожалуй, современный молодой человек и делать-то не будет, делали мы, мужчины. Даже банно-прачечный отряд был мужской. Надо признаться: туда посылали вроде бы как на исправление тех, кто филонил на тяжелых работах. Послали как-то туда группу одесситов. Вначале они вели себя даже весело: полоскали в Амуре белье, валками отбивали его на камешках и пели песню «Позабыт, позаброшен я в чужой стороне»... А потом, когда стали предметом насмешек, пришли к Окуличу — нашему первому секретарю парткома (он и ныне жив, Аким Осипович), и сказали: «Куда хотите посылайте, только больше белья не стирать». И пошли на лесозаготовки.

12 июня 1933 года заложили первый корпус судостроительного завода. На рейде стояла Амурская флотилия. В закладке участвовал Василий Константинович Блюхер. Амурская флотилия дала салют из всех орудий, но опыта, как давать салюты, тогда еще не было, и из многих окон повыскакивали стекла.

Так начиналась наша история. А к пятилетию города, когда строители отправили свой первый трудовой

рапорт в ЦК партии,— он сохранился в архивах, этот рапорт,— город насчитывал уже 70 тысяч населения. И в нем было два крупных действующих завода — мы создали то, ради чего приехали сюда.

ГОВОРИТ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ КРИВОНОСОВ, ныне инженер-технолог завода имени Ленинского комсомола:

— Я пошел сюда по комсомольской мобилизации с металлургического завода, из города Сулин. Я и еще тринадцать товарищей по заводу.

Когда приехали в Хабаровск, Амур был во льдах. Но как только Амур пошел, за нами приехал из Комсомольска заместитель начальника строительства и сказал: «Амур тронулся, надо ехать туда, куда вас посылали». А мы уже работали по разным заводам, и нас не хотели отпускать, говорили нам: «Здесь и квартиру дадим, здесь и поженитесь». Но, представьте, мы настолько душевно рвались туда, куда нас с самого начала послали, что никто из нас не остался — все поехали в Комсомольск.

Подплыли ночью, но капитан не причалил, бросил якорь среди Амура. Моросил дождь. Ребята волновались, рвались на берег, туда, где мы должны работать, хотели скорей посмотреть это место — где, чего, как. Пошли к капитану, спрашиваем, почему не подошли к берегу, а он отвечает: «Это я умышленно, сыны мои, хочу, чтобы вы еще хоть ночку здесь, в тепленьком, переночевали».

Утром причалили, поели в столовой — в бывшей церкви — и сразу пошли на работу.

Через просеку завели нас прямо в тайгу и говорят: «Вот, товарищи комсомольцы, начинайте отсюда корчевать».

Корчевали тайгу, строили шалаши. Земля мерзлая была — это же тайга. Солнце ее не протаяло. Долбнешь разок, а там уже лопата не идет! Заедали комары. Ни днем, ни ночью житья не давали. Нам выдали матрацы, чтобы мы сеном набили и на них спали. Но из-за комаров мы использовали эти матрацы иначе. Залезали туда, внутрь, в матрацы, и завязывали их.

Соревнование у нас было развито сильно с самого начала. Мы соревновались с бригадой Смородова. Не за деньги, а за то, чтобы быстро город выстроить. К большой лиственнице была прибита доска, и на ней каждый день выводились результаты.

Смотрим — Смородов не уходит. И мы не уходим. А он на нас смотрит, что мы не уходим, значит, тоже не уйдет. Глядишь — уже темно, а он и мы еще работаем. Приходишь рано утром, смотришь — Смородов уже работает. Ночью говорим: «Смородов обгонит, давайте выйдем пораньше». В общем, приходили чуть свет и уходили в темноте. Это истинная правда. И не по двенадцать и не по четырнадцать часов работали! И вот однажды во время такой работы раздался гудок — сильный, долгий. Представляете, какая радость — гудок в тайге! Лесозавод — первое, можно сказать, промышленное предприятие. Слышали гудок и чувствовали в себе силу: нет, не зря приехали!

Девушек было мало. Хочу рассказать про одну из них, про Лену Мищенко, украинку. Она в столовой работала. Столовая была не такая, как сейчас, а просто врыто два котла, в одном она рыбу варила, а в другом — кашу. А мы приходили к ним — положим себе каши, рыбы кусок и прямо тут же, на площадке, ели. Если подует ветер — прикроем миску, чтобы пыль не попадала; скушаем, тут же вода близко — напьешься, и пошел обратно на работу.

И вот решила эта Лена сделать кухоньку. Комсомольцы устроили субботник, оплели кухоньку, а чтобы обмазать ее, Лена нас от работы уже не отрывала: сама вырыла яму, глины накопала, вода тут же была. Привела из деревни от крестьян корову, за хвост корове телка привязала, подоткнула платьице и стала эту глину месить. Я запомнил это, как она месила глину. Молодые ребята мимо нее с работы и на работу шли, а она месила, не стеснялась этого труда перед ребятами, хотела, чтобы кухонька была, чтобы пыль и песок в еду не попадали, не хрустели у комсомольцев на зубах. Такие у нас были девушки.

А в заключение хочу сказать, что все-таки никакие спицы в колеса, никакие трудности нас не удержали, мы наш город Комсомольск построили и каждый из нас — строителей — любит его.

ГОВОРИТ АНДРЕЙ КОНДРАТЬЕВИЧ ГОМЕНЮК, ныне мастер столярного цеха:

— До комсомольской мобилизации я работал бригадиром плотников в Харькове, на турбогенераторном. Несмотря на то, что был молодой, четырнадцатого года рождения, но был уже в то время, как говорится, взрослый, буйный. Закончил четыре класса сельской школы и продирался вперед.

Приехал я сюда на «Колумбе» и сначала работал в бригаде Смородова. Работали, надо сказать, крепко. И не только наша бригада, все остальные товарищи работали в те времена, не считаясь с питанием и с временем, работали по-настоящему, дни и ночи.

Помню, как, закладывая завод, Смородов, наш бригадир, вместе с командармом Блюхером и с представителем Советской власти подписали акт, вложили его в трубу, заложили в стену завода и отторжествовали праздник. К этому времени уже была выстроена наша первая столовая. Выпили, попели, потанцевали и стали дальше работать.

Потом бригаде Смородова предложено было разделиться на две. Мы со Смородовым сделали это на добровольных началах. Кто идет ко мне, кто остается у него. Я стою, и он стоит. Один к нему идет, другой ко мне. Поскольку бригада разделилась, начали мы соревноваться со Смородовым. Сначала он брал верх, потому что знал гражданское строительство, рубленые дома, а потом, когда коснулось дело опалубок и первых деревянных ферм с большими пролетами, тут уже я начал брать верх: приобрел еще в Харькове больший, чем у него, навык в промышленном строительстве.

В 1936 году состоялся краевой чрезвычайный съезд Советов. В это время заканчивали железную дорогу. Я был выбран делегатом на съезд, и мне вместе с секретарем горкома комсомола Минкиным было поручено проехать на дрезине начальника дороги и собрать рапорты от строителей с обязательствами пустить дорогу к VI Всесоюзному съезду Советов. Но пока мы добирались на дрезине четыре дня до краевого центра, смотрим — кончился съезд. Предполагалось, что я, как стахановец-бригадир, повезу рапорт в Москву, на съезд Советов, но, ничего не поделаешь, опоздал, другой вместо меня поехал.

Что сказать о нашей жизни, как мы жили? Все мы, товарищи, которые здесь сидят, вместе жили, вместе кушали, вместе песни пели и вместе горе переживали. Но я считаю, что все же за честь Ленинского комсомола постояли. Несмотря на все те невзгоды, которые мы здесь испытали. Я, например, свой город люблю. Меня переводили отсюда в Приморье, но я обратно вернулся сюда, в Комсомольск,— скучно мне без него!

ГОВОРИТ ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ ДОРОДНОВ, ныне кандидат исторических наук:

— Я приехал сюда по второму призыву, в 1934 году. Был сначала стекольщиком, потом делал все, что приходилось на стройке. Потом стал журналистом, потом преподавателем в нашем techinstitute.

Я рад, что, по сути, вся жизнь моя прошла в нашем городе. И если говорить о нашей жизни, и в частности о моей лично, то я бы сказал о ней словами Твардовского, который, по-моему, очень хорошо выразил эту нашу мысль в поэме «За далью — даль»:

Сто раз тебе мое спасибо,
Судьба, что изо всех дорог
Мне подсказала верный выбор
Дороги этой на восток.

Художественная литература в прошлом, конечно, не обходила наш город, но все же, мне кажется, хорошо, если бы Союз советских писателей задумался, почему писатели в последнее время не занимаются нашим городом.

ГОВОРИТ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ СЫСАЕВ, ныне заместитель начальника управления организации труда на заводе «Ленинский комсомол»:

— Я из-под Москвы, из Загорска. Кончил строительный техникум, работал в Наркомтяжпроме. Оттуда по комсомольскому призыву приехал сюда.

Хочу сказать, что поднять здесь заводы, построить город — это был действительно героический труд. Ведь первую просеку — от села Пермского до Большого Селимского озера — прорубили буквально за четыре дня. Тайга была заболоченная — мало того, что нужно

было ее рубить, нужно было настилы стлать, чтобы ворваться в эту таежную глушь.

Много было трудностей и больших и малых, случалось даже, что бумаги не было лозунг написать. На березовой коре комсомольцы их писали. Писали сроки, в которые мы будем бороться за пуск завода, писали, что будем драться за эти сроки, как львы. Помню, был здесь товарищ Гамарник и обратил внимание на эти лозунги. Почему, спрашивает, как львы? А секретарь нашей комсомольской ячейки Волгин ему отвечает: «А потому, что сильнее льва зверя нет!»

Были большие трудности, но и смекалка тоже была большая. Вспоминаю комсомольца Василия Сухнева, который впоследствии героически погиб при обороне Ленинграда. Зима, горючего не было, машины стояли. А надо было с одного места на другое вдоль Амура лес перебросить. Сухнев ночь просидел и придумал: прорубить во льду лоток. Измерили толщину льда, силу течения воды и прорубили в толще льда, но не на всю его толщину лоток. Загнали в него воду и по этому лотку, по воде на левую сторону Амура лес перегнали.

Жизнь наша комсомольская, конечно, потрачена здесь, на этот город, но если бы мне вернуть те мои годы, я бы не пожалел еще раз пережить то, что мы пережили, и сделать то, что сделали.

ГОВОРИТ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ОКУНЕВ, ныне начальник строительного треста:

— Судьба мне выпала счастливая: я начинал строить Комсомольск и сегодня тоже продолжаю его строительство.

Вспоминаю первый митинг в 1933 году. Выступали Блюхер и начальник строительства Капель. Помню, как он заявил: «Вы, товарищи комсомольцы, приехали, когда здесь кругом стоял только один лес, а уезжать будем с вами из Комсомольска, оставим здесь лес заводских труб».

Надо сказать, что многие комсомольцы дожили здесь до исполнения этой мечты. И исполнили ее своими руками.

Все относительно. Когда из палаток в шалаши переехали, это был самый лучший выход из положения.

Даже товарищ Куйбышев, когда он приезжал сюда, одобрил это. Потом стали строить бараки. А когда появились первые дома — это, конечно, было великое торжество.

Перед войной построили много кирпичных домов. Но такая трагедия, как война, надолго почти полностью приостановила строительство города. В годы войны мы работали только на стройке промышленных объектов. Строили завод «Амурсталь» и ввели его в строй в ходе войны. И наша амурская сталь тоже участвовала в победе над фашизмом.

ГОВОРИТ ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ ТКАЧЕВ, ныне директор заводского музея:

— В первое время работы нас сильно мучила цинга. В разгар цинги мы ходили к местным жителям, нанайцам, обращались к ним за помощью и советом. И надо отдать им должное,— они очень тепло относились к нам, советовали, что делать, как бороться против цинги, уделяли нам в меру своих возможностей все, что могли,— и рыбу, и мясо, и другие продукты.

В тот период мы начали рубить бараки, но крыть их было нечем. Мы собрали несколько бригад и на лодках поехали далеко по протоке за материалом для крыш. Там, в этих местах, стоял стройный, густой лес. А комар, гнус, так гудел, что в воздухе все дрожало. Посмотришь на солнце, а в глазах рябит от гнуса.

Как мы крыши готовили? Оголяли дерево от коры на высоту в полтора метра, аккуратно снимали ее, затем выравнивали, клали на нее груз, камни, и через некоторое время эта кора принимала вид фанеры, годной для кровли. Вот какие были у нас первые крыши над головой.

ГОВОРИТ НИНА ТИМОФЕЕВНА БОРОВИЦКАЯ, ныне начальник цеха:

— Я до приезда в Комсомольск работала в Хабаровске, в крайкоме комсомола. Были мы, как это тогда называлось, культармейцы. Ездили бригадой по разным уголкам края, давали представления на местном материале — о местных делах то есть. А когда 1 мая 1932 года выступили на митинге в Хабаровске, прямо оттуда, в своей форме культармейцев, поехали в Ком-

сомольск. Выпускали первые стенные газеты, крутили вручную кино.

Осенью крайком ВЛКСМ отозвал нас в Хабаровск, но я не осталась там и с последним пароходом вернулась обратно сюда, в Комсомольск. Здесь я и вышла замуж за Леву Качаева.

Первая зима в Комсомольске была небывало жестокой. Одеты все были легко. А как потеплее одеть женщин, а тем более детей, заранее вообще не подумали. Когда у меня родился первый ребенок, не знали, во что его укутать. Но жили мы дружно, и товарищи принесли нам все, что смогли.

Поскольку у меня был ребенок, жили мы все же лучше многих других — в рубленом бараке, в комнате. Но температура в этой комнате иногда бывала и нулевая. Я сама ходила в лес, притаскивала топливо. Однажды еле тащила из лесу на дрова целое дерево. Думала, березу тащила. А оказалось, это осина была. Я увидела и заплакала. Может же такое быть! Ошиблась, приняла ночью, при лунном свете осину за березу.

Потом мы организовали свой драматический театр и играли. На сцене, правда, бывало так холодно, что один раз наша актриса сильно обморозила себе ноги.

Я люблю сцену с детства, когда-то маленькой девочкой пела в большом взрослом хоре. И сейчас песню люблю. Организовала у себя в цеху хор. Пою я сама — начальник цеха, поет и парторг, поет и комсорг.

Я давно член партии, но до сих пор состою в комсомоле. Дочь у меня инженер, а сын — техник. И уже один внук есть.

ГОВОРИТ АННА ИВАНОВНА ЗУЗИНА, ныне работник райисполкома:

— Я из Рыбинска, работала там электриком на фарфоровой фабрике. Приехала в Комсомольск в 1934 году. Был призыв ехать на Дальний Восток, я и поехала. Одна с нашей фабрики. А всего из Рыбинска приехало нас шестеро.

Сначала работала я пионервожатой в школе, потом на заводе, потом, уже во время войны, меня сделали директором заводской столовой. В общем, куда посылали, туда и шла.

Помню, в годы войны мы своим комсомольским трудом создали коллективные огороды для семей тех, кто ушел на войну. Работали на этих огородах поочередно, а все, что на них вызревало, распределяли по семьям фронтовиков.

Много всего на памяти. Но особенно мне запомнились слова начальника нашего строительства товарища Кузнецова, который когда-то, еще до войны, сказал нам, комсомольцам, что когда-нибудь мы должны написать сборник «Так закалялась сталь» и собрать в этом сборнике воспоминания первостроителей. Может, еще не поздно сделать это хотя бы сейчас...

В большой комнате за длинным столом сидят, припоминая свое прошлое, мужчины и женщины, уже немолодые, много видевшие, много пережившие и, что самое главное, много сделавшие для своего города в ту самую трудную пору его существования, когда он только еще начинался.

За окнами город — большой, промышленный, нужный всему Дальнему Востоку. Люди, которые вспоминают о начале своего города, продолжают работать в нем. Они не склонны умиляться своим воспоминаниям, потому что для всякого погруженного в нынешние труды человека все-таки самое главное не вчерашний, а сегодняшний и завтрашний дни. Но в свободное от работы время им есть о чем вспомнить, им есть чем гордиться и есть что оставить в нравственное наследство другим поколениям. Жизнь человека не может состоять из одной памяти, но память — великая вещь. Без памяти о прошлом трудно оценить настоящее. И еще трудней заглянуть в будущее.

Комсомольск-на-Амуре,
апрель 1967 г.



Признание в любви

Дальневосточные заметки

БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

Когда, проездив месяц по Дальнему Востоку, я вернулся в Москву и в разговоре с друзьями стал перечислять места, в которых мне, хотя бы накоротке, довелось побывать, это перечисление мне самому показалось довольно внушительным: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Уссурийск, Владивосток, Находка, Магадан, Талая, Анадырь, Камчатка...

Очевидно, в моих словах проскользнул оттенок наивной гордости: вот, дескать, сколько я успел повидать на Дальнем Востоке! Один из моих друзей, несомненно, лучше меня знавший Дальний Восток, вдруг спросил:

— А на Сахалине ты был?

— Нет.

— А в Чугуевке, на родине Фадеева?

— Нет.

— А в Посьете? А в Благовещенске? А на Сучане? А на Курилах? А на Командорах? А в Уэлене? А на острове Врангеля?

Я уже почувствовал дружеское лукавство спрашивающего, но, ничего не поделаешь, пришлось однообразно отвечать: нет, не был, не успел, хотел, но не смог...

Словом, выяснилось, что я, с одной стороны, вроде бы и побывал на Дальнем Востоке, а с другой стороны, вроде еще и не был там. И в этом не было противоречия. Просто-напросто наш Дальний Восток вместе с нашим Северо-Востоком — это целый континент, край непомерных расстояний и необъятных возможностей.

Когда я привел в порядок сделанные в дороге записи и перепечатал их на машинке, получилось почти 200 страниц, — целая книжка, хотя на самом деле это, конечно, никакая не книжка, а просто самые первые, разбросанные впечатления человека, пораженного масштабами и красотой увиденного. Для того чтобы написать книгу о Дальнем Востоке, надо или жить там, или по крайней мере много лет подряд ездить туда год за годом. Но человеку не дано успеть всего, хотя и сейчас, на шестом десятке, по-прежнему хочется думать, что ты еще все успеешь...

Может быть, я когда-нибудь еще напишу книжку о Дальнем Востоке, а пока мне остается только признаться в любви с первого взгляда к этому краю, где с особенной остротой вспоминаешь о молодости. Не только потому, что именно в этом краю встречаешь особенно много молодых лиц, но и потому, что это такой край, где хочется начинать жизнь, куда хочется приехать двадцатилетним. Приехать и прожить в нем жизнь, и где-нибудь лет через тридцать, в пору зрелости, оглянуться на прошедшее тридцатилетие и увидеть, что было и что стало.

Итак, не книжка и даже не серия очерков, а просто некоторые мысли и чувства, привезенные в Москву оттуда, с Дальнего Востока...

ЗА ЭТУ РУССКУЮ ЗЕМЛЮ...

«За эту русскую землю, на которой я сейчас стою, мы умрем, но не отдадим ее никому». Эти слова принадлежат Сергею Лазо. Теперь они стали надписью на его памятнике.

Сергей Лазо, молдаванин по происхождению, солдат революции по профессии, отдавший жизнь за свободу Советского Приморья, сожженный в паровозной топке японцами, стоит сейчас на этой русской земле, молодой и бронзовый, в молодом и зеленом сквере, посреди города, о котором Ленин сказал: Владивосток далеко, но это город-то нашенский...

На 26-м километре шоссе Владивосток — Находка стоит пахнущая морем высокая ростральная колонна, обозначающая въезд в город. Она воздвигнута здесь к столетию Владивостока. На постаменте колонны слова Ленина о Владивостоке. Рядом — бронзовая фигура матроса, охраняющего эту морскую твердыню страны, а на верху колонны — легкий, из кованого черного чугуна силуэт военного транспорта «Манчжур», первым вошедшего в некогда пустынную бухту, где ныне стоит Владивосток.

Железная дорога идет вдоль океана, мимо пригородных санаториев и домов отдыха. При дороге, среди цветущих абрикосов, на железном столбе табличка: «9269 километров от Москвы». Да, действительно далеко...

ГЕОГРАФИЯ ЛЮДЕЙ

Дальний Восток — это земля, море, небо, но прежде всего люди.

Люди, уходящие в океан на траулерах и теплоходах из бухт, заливов и гаваней, открытых, описанных и нанесенных на карты их предками.

Люди, по древним следам русских землепроходцев продолжающие исследовать и вызывать к жизни самые далекие, самые необжитые и трудные уголки этой огромной земли.

Люди, ежедневно и ежечасно бороздящие воздух Дальнего Востока и Северо-Востока во всех мыслимых направлениях, на всех видах современных машин — от «ТУ-114» до «АН-8».

Откуда они, эти люди, сделавшие Дальний Восток таким, каким он стал сейчас?

Многие из них — коренные дальневосточники, родившиеся и выросшие на этой земле, похоронившие в ней своих отцов, дедов и прадедов.

Ну, а другие, все остальные, откуда они? Из каких краев? Какова география их детства и юности? Откуда они приехали, приплыли, прилетели, чтобы стать здесь новыми дальневосточниками?

Где бы я ни был, я всегда расспрашивал их об этом. Вот некоторые ответы, некоторые частности, дающие известное представление о целом, о ходе общего процесса.

Оленеводческий совхоз Кончаланский — час вертолетом от Анадыря. Директор совхоза Петр Давыдович Маслик, родом из Прилук, с Украины, экономист. До войны работал на Севере, на Ямале. Потом минометчик — «война — от гудка до гудка». С 1946 года — Дальний Восток, Камчатка, Чукотка. Говорит о себе: «Почему я на Север попал? Это все челюскинская эпопея наделала!» Четверо дочерей, родившихся здесь: одна камчатская, трое чукотских. Старшая, камчатская, уже учится здесь же, в мединституте.

Председатель рабочкома — Георгий Кондратьевич Трофименко, ровесник челюскинской эпопеи, здесь восьмой год, зоотехник. Родом из Белоруссии, из Орши.

Командир вертолета — Василий Федорович Кемлык, родом из Днепропетровска, здесь седьмой год. До этого работал в Калуге.

Врач-бортхирург Валентина Васильевна Заводчикова. Летает здесь четвертый год, до этого жила в Баку, там и родилась.

Самолет «ИЛ-14», рейсовый, грузовой. Летит из Анадыря. Командир экипажа Глеб Иванович Гаврилица, молдаванин. Летает здесь десятый год. До этого работал в Ашхабаде. Родился в Кишиневе.

Бортрадист Николай Александрович Лукашевич, родился в Лозовой, на Украине, летает здесь 13-й год.

Бортмеханик Геннадий Ефимович Корпачев, родился в Куйбышеве, служил в армии на Украине. Десять лет назад, после демобилизации,— сюда, на Чукотку.

Магадан. Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт Сибирского отделения

Академии наук. Директор института — Николай Алексеевич Шило. Родился в Пятигорске. Окончил Горный институт в Ленинграде и сразу же, на первую работу, сюда. 30 лет безотлучно здесь. Здесь стал кандидатом, доктором наук, членом-корреспондентом Академии. Когда приехал, Магадана еще не было; жил в палатке, на том самом месте, где теперь стоит их институт.

Станция слежения за Солнцем в уссурийской тайге.

Начальник станции — Владимир Федорович Чистяков. Был офицером-зенитчиком, работает здесь после увольнения из армии, родом с Украины.

Ксения Григорьевна Чистякова — его жена, научный сотрудник. Родом из Белоруссии, с реки Сож, из тех самых мест, где мне довелось бывать во время войны, осенью сорок третьего года.

Сергей Попов — лаборант, по национальности эвенк, приехал работать сюда из Якутии.

Камчатка, БМРТ — большой морской рыболовный траулер — «Браслав». Капитан-директор Николай Владимирович Сотников, родом из Магнитогорска, окончил здешнее Камчатское мореходное училище.

В каюте капитана собрался весь командный состав корабля. Спрашиваю одного за другим: откуда?

Старший помощник — украинец из Херсона. Траловый мастер — латыш из-под Риги.

Ессентуки, Ленинград, Орел, Брянск, Новороссийск...

Да, поистине Дальний Восток — дело всесоюзное...

ГОРОД ВСТАЕТ НА ОДНО КОЛЕНО...

Каждая традиция, и самая древняя и самая молодая, имеет дату своего рождения.

Эта владивостокская традиция — молодая. Она родилась всего два года назад, 9 мая 1965 года, в день двадцатилетия Победы.

9 мая этого года Владивосток третий раз собрался для того, чтобы отметить День Победы и вспомнить людей, павших в боях за Родину.

Я сказал: Владивосток собрался! И это не метафора. Вот как это выглядело.

Сзади, за спиной, бухта и корабли — военные и

гражданские, торговые и рыболовные, стоящие на якорях и у причалов. Впереди перед глазами площадь. А дальше, за ней, поднимающийся амфитеатром город, лучами расходящиеся вверх улицы Владивостока, полные народу.

На площади, перед небольшой трибуной, построены квадратами сводные роты моряков, пограничников и сводный отряд офицеров — ветеранов Великой Отечественной войны.

Сводные роты являют привычное глазу строгое единообразие форм: черные ленточки бескозырок, зеленые фуражки пограничников.

Сводный отряд ветеранов выглядит непривычно. Среди морских фуражек — шляпы и кепки; среди морских кителей — штатские пиджаки. В свободном отряде стоят рядом и те, кто служит по сей день, и те, кто отслужил свое и ушел на «гражданку», на пенсию...

В этом непривычном на первый взгляд строю есть и что-то глубоко значительное и справедливое. В нем стоят рядом и те, что продолжают командовать и сейчас, и те, что уже перестали командовать, но в свое время входили во главе своих частей в Берлин и Кенигсберг, в Варшаву и Прагу, в Мукден и Порт-Артур...

Глядишь на этот сомкнутый военно-штатский строй и невольно думаешь о том, сколько их повсюду, во всех уголках страны, этих людей в штатском, в пиджаках и ватниках, в комбинезонах и полушубках, в мосторговских пальто и в летних рубашках навыпуск, бывших комвзводов и комбатов, подводников и артиллеристов, саперов и летчиков, отдавших свою молодость войне и вернувшихся к гражданским делам навсегда, безотказно, на черный час оставаясь в запасе у Родины.

На митинге перед микрофоном берут короткое слово партийные работники, комсомольцы, рабочие. Затем речь командующего флотом и рапорт о том, что сводные части построены.

Солдаты и матросы, стоящие в строю сводных рот, называют имена тех, кого сейчас нет рядом с ними в строю, но кто за свои подвиги навечно занесен в списки частей.

Имя... Подвиг... Место и дата...

Днепр... Подмосковье... Кавказ... Ленинград... Берлин... Курилы...

Каждое слово доносится по радио до самых отдаленных уголков города.

После этого к трибуне подходит командир отряда ветеранов.

«Сводный отряд ветеранов Великой Отечественной войны построен. В строю присутствуют все, за исключением отдавших свою жизнь за честь, свободу и независимость Родины».

Вслед за ним с докладами подходят командиры первой, второй, третьей сводных рот.

...Присутствуют все, за исключением отдавших жизнь...

...все, за исключением отдавших свою жизнь...

...все, за исключением отдавших...— повторяясь, разносится по городу.

А когда выносят боевые знамена и контр-адмирал, командующий парадом, встав на одно колено, целует знамя, вслед за ним на одно колено встают все.

Все на трибуне.

Все в строю сводных частей.

Все на площади.

Все в городе.

Все, на всех его улицах, там, где их застало это мгновение.

Прохождение сводных отрядов и рот. Гимн Советского Союза. Весь город снова обнажает головы. Митинг закончен.

Так продолжается эта возникшая два года назад во Владивостоке традиция.

Сила традиций не только в их духовном единстве, но и в их особости. Здесь, во Владивостоке, традиция отмечать День Победы сложилась именно так, а не иначе. В этом есть ее особость. Пусть так оно и будет всегда!

А в Уссурийске возникает другая, своя традиция. Там, на окраине города, на территории Уссурийского военного автомобильного училища, стоит старый памятник героям гражданской войны.

Приехав туда на следующее утро после Дня Победы, я увидел вокруг памятника огромные гирлянды цветов. Вчера во время митинга и демонстрации моло-

дежь Уссурийска пронесла эти гирлянды через весь город и положила их здесь, в конце пути.

И еще одна традиция, тоже родившаяся в последние годы: неподалеку от Уссурийска, возле маленького таежного села, стоит скромный памятник на могиле отважного юноши Виталия Бонивура, восемнадцати лет от роду погибшего здесь от руки японских оккупантов. У памятника венки, цветы — скромные дары приезжающих и приходящих сюда школьников, комсомольцев и пионеров.

Но есть еще традиция оставлять здесь, у памятника, кроме венков и цветов, записки, адресованные погибшему Бонивуру. Их много здесь, этих записок, и совсем коротких и подлиннее, написанных разными, и совсем детскими и более твердыми, уже начинающими устанавливаться почерками...

Вот одна из них:

«Виталию Бонивуру. 30 марта 1967 года. У памятника Виталию коллектив 8-го класса Покровской школы. Мы хотим принадлежать к лагерю Бонивура. Для этого жить так, чтобы совесть перед людьми и перед собой всегда оставалась чистой. Обдумывать каждый свой шаг самому. Всегда помнить о дружбе, о великой дружбе между честными людьми. Быть верными этой дружбе. Труд. Честь. Дружба. Комсомольцы...» Следуют подписи. Много подписей. Мальчиков и девочек, 15- и 16-летних людей, тех, о которых мы обязаны думать, когда произносим слово «будущее».

Так возникают традиции...

ОДИН ИЗ ТЕХ, О КОМ ПИСАТЬ НЕ ПРИНЯТО

А я все-таки напишу...

Сегодня днем он открывал во Владивостоке митинг, посвященный 22-й годовщине Дня Победы. Открывал по обязанности и по праву первого секретаря Приморского крайкома партии. Но было у него на это еще и другое, не менее высокое нравственное право — право ветерана Великой Отечественной войны, много и трудно воевавшего, четыре года подряд отдававшего этой тяжелой войне все, что у него было,— жизнь, молодость, здоровье.

Рядом с военными моряками, отдавая дань памяти погибшим, стоял на трибуне без шапки широкоплечий,

грузный человек в штатском — Василий Ефимович Чернышев, генерал-майор запаса, секретарь Барановичского подпольного обкома, командир знаменитого партизанского соединения, взявшего в плен в последних боях на белорусской земле, летом 1944 года, 22 тысячи немецких солдат и офицеров. Именно его соединение вместе с другими помогло армии сделать так, чтобы немцы не вырвались на запад оттуда, из большого котла под Минском.

Стоял под горячим солнцем с непокрытой головой грузный штатский человек в черном костюме, увешанный орденами, еле помещающимися на широкой груди. Звезда Героя Советского Союза, ордена Ленина, Красного Знамени, полководческий орден Суворова I степени, польский Военный крест Грюнвальда — за то, что воевал против фашистов вместе с поляками...

Даже немножко странно было потом, несколько часов спустя, сидеть с ним рядом в холодке на лавке возле дома. Орденов уже не было, на голове кепчонка, на плечах брезентовый старый бушлат. Вид пожилого рыбака. Так, впрочем, и было. Вопреки запрещению врачей он после очередного сердечного приступа все же собирался улизнуть на рыбалку.

Война стоила здоровья, гибели двух сыновей и жены. Многого стоила война, может быть, даже слишком многого для одного человека.

Но после войны земля лежала в развалинах, и надо было засучив рукава работать. Работать так же много и трудно, как во время войны воевали. И он работал не покладая рук. В Бресте, в Минске, а потом, когда вспомнил, что он до партийной работы учился в институте инженеров морского транспорта, в Калининграде. Сначала налаживал рыбную промышленность там, потом перебросили сюда, в Приморье.

Теперь девятый год работает здесь. Влюблен в Дальний Восток сильно, безвозвратно, как бы это получше сказать,— яростно! Любит здесь все. И удивительную здешнюю погоду, и океан, в разные концы которого каждый день уходят из Владивостока и Находки бесчисленные рыболовные и морские суда. И этот прекрасный город, бухту, всю в золотых огнях судов, сопки с бесчисленными стрелами башенных кранов...

Не могу отделаться от ощущения, что рядом со мной сидит словно бы не один человек, а сразу два. Один — влюбленный в людей и в работу, сильный и любящий яростно трудиться; и другой человек, еще не старый, но с частыми сердечными приступами, с категорическими запрещениями врачей много ходить, двигаться, перегружать свое больное сердце, то есть делать все то, что он продолжает каждый день делать.

И первый из этих двух людей все-таки ежедневно побеждает второго. И эта победа над болезнями — еще одна трудная и повседневная работа, добавленная ко всем тем другим, трудным и повседневным, которые составляют жизнь секретаря крайкома.

На всех должностях и постах, на больших и маленьких, встречаются люди и сильнее и слабее. Сама по себе должность человека еще ничего не говорит о нем. Или, выражусь чуть помягче, говорит далеко не все. Но если на большой должности трудится человек с большой душой и характером, хочется сказать о нем доброе слово, даже когда это вроде бы и не принято по должности.

ЧИТАЮЩИЕ ЛЮДИ

Большая Колымская трасса. Дорога Магадан — Усть-Нера, связывающая Колыму с Якутией. Трасса длинная — 1 168 километров,— серьезная, работающая круглый год. Современные порядки и оборудование, ремонтные базы, заправки, столовые, дома отдыха для водителей.

Водители здесь не гонят день и ночь, сидя за баранкой, от Магадана до Усть-Неры. Теперь другой порядок. Проехал свои семь-восемь часов, отработал смену, останавливайся, ешь, отдыхай, ночуй. Завтра поведешь дальше другую машину. А твою поведет уже отдохнувший, сменивший тебя шофер.

Так вот, на этой трассе, у самого шоссе, в поселке Атка, который когда-то вместе с другими заключенными строил умерший здесь старый коммунист, рабочий, поэт Василий Князев, автор знаменитой песни «Коммунары не будут рабами!..», стоит небольшой, обыкновенный, неказистого вида, но, впрочем, добротно построенный домик — книжный магазин. Районный

книжный магазин, далеко не единственный на этой трассе.

Захожу в этот магазин и удивленно останавливаюсь. На открытых полках такое обилие книг по самым разным специальностям, такой богатейший выбор, что глаза разбегаются!

Купив несколько книг, подумал: а может быть, грешным делом, засылают сюда и лишнее? Может быть, это как раз одно из тех мест, где затовариваются, залеживаются книги? Спрашиваю девушку-продавщицу: как торгуете? Оказывается, торгуют неплохо. Прошлый месяц план был 1 300 рублей, а выполнили на 1 400. Что значат эти 1 400 рублей? Много или мало?

Это значит, что здесь, только в этом районном книжном магазине, при средней цене книги в пятьдесят копеек купили 2 800 книг, то есть покупали по сотне книг каждый день.

А поселок небольшой. А трасса рабочая, трудовая, на которой подолгу не останавливаются, времени не теряют.

Как я узнаю впоследствии, современная Колыма — Магаданская область — по числу выписываемых на душу населения газет и журналов и по числу продаваемых и получаемых по подписке книг стоит на первом месте во всем Советском Союзе. Магаданская область — на первом. Камчатская область — на втором. В Приморском крае в среднем на каждую семью выписывается пять газет и журналов.

Здесь, на Дальнем Востоке, живут читающие люди. Много и внимательно читающие. Об этом говорят не только цифры. Говорят книжные полки в каждой квартире. Говорят вопросы и записки на литературных вечерах. Говорит вот этот маленький домик в маленьком поселке Атка, книжная лавка, в которой каждый день покупают по сто книг.

НЕБОЛЬШОЙ РАЙОН

— Наш район небольшой,— говорит секретарь райкома Георгий Павлович Федотов.

Мы сидим в районном центре — поселке Провидения. 10 часов разницы поясного времени с Москвой и полторы сотни километров морем до Аляски.

— Небольшой...— повторяет секретарь райкома.— Один из самых молодых районов нашей Магаданской области. В ней есть районы и постарше и побольше. Но, конечно, если на западные масштабы, то он порядочный. На его территории, к примеру, могли бы разместиться три Ленинградских области...

Слова «западные масштабы», «Запад» звучат здесь иначе, чем у нас в Москве. У нас «Запад» — это Берлин или Париж, «западные масштабы» — Голландия или Бельгия. Здесь, на Дальнем Востоке, говоря «там, на Западе», иногда подразумевают Москву, иногда Урал, а иногда и Красноярск.

Отсюда, от бухты Провидения, до Красноярска — около пяти тысяч километров на запад.

Один из наших собеседников, Федотов,— русский, второй собеседник — секретарь окружкома партии, приехавший сюда вместе с нами из Анадыря. Путь был долгий и сложный. Николай Михайлович Айнавье — чукча, родился и вырос здесь, на Чукотке, в яранге оленевода, а высшее образование получил в Ленинграде, как многие другие люди Советского Севера.

Провиденский район — многонациональный. На его территории живут русские, чукчи, эскимосы... Расстояния огромные, снега лежат незыблемо почти круглый год. Есть такие дороги, по которым сверхмощные вездеходы идут со скоростью три-четыре километра в час.

И, однако, при всех этих условиях каждый ребенок должен учиться в школе и кончать ее своевременно, точно так же, как в Хабаровске или Москве; и каждый больной должен получать медицинскую помощь; и у каждой роженицы должны быть своевременно приняты роды; и люди должны смотреть кино, слушать радио, читать газеты.

Так вот, для того, чтобы люди нормально жили, для того, чтобы дети нормально росли в этих труднейших условиях отдаленности и разобщенности, для того, чтобы здесь не было ни хронических заболеваний, ни малограмотности, Советская власть уже давно предприняла и продолжает предпринимать поистине героические усилия.

Несколько цифр лучше, чем всякие высокие слова, дадут представление об этом.

В районе на каждые 8 учеников — один учитель.

В районе на каждые 120 человек — врач.

В районе есть санаторно-лесная восьмилетняя школа, в которой живут на полном государственном обеспечении 120 детей, предрасположенных к заболеванию туберкулезом.

В районе множество школ-интернатов и детских садов, в которых дети живут постоянно.

Несколько слов о расходах государства, связанных с условиями таких районов, как этот. Не обо всех расходах, только о некоторых.

Содержание каждого ребенка в саду с полным пансионом обходится здесь в 82 рубля в месяц. Если вывести по району средние цифры, то 10 рублей из этих 82 уплатят родители, а 72 — государство.

Содержание ребенка в школе-интернате, учитывая все затраты на жилье, питание, уход, на заработную плату учителям и обслуживающему персоналу, обходится здесь в 274 рубля в месяц. Причем треть детей живет в школах-интернатах на полном государственном обеспечении; за вторую треть детей родители платят по 54 рубля в месяц, а государство — по 220; и лишь за одну треть детей родители платят от двадцати до пятидесяти процентов стоимости их содержания.

Пребывание больного, поступившего в больницу на полное обеспечение государства, здесь, в условиях крайней отдаленности, обходится Советской власти в 504 рубля в месяц.

Вот они, эти несколько цифр, сильнее всяких слов говорящие здесь, на Севере, людям, что это такое — Советская власть, которая эти доставшиеся ей в наследство от царской власти районы вымирания сделала районами нормального человеческого существования.

О САМОМ РАЗНОМ

Хабаровск. Заключительный концерт смотра самодеятельности всего Дальнего Востока. В набитом битком театре совершенно особая атмосфера самодеятельного фестиваля. Почти невозможно разобрать, кто здесь просто зритель, кто болельщик и кто только что

сошедший со сцены участник концерта. А на сцене кого только нет! Силовые акробаты — моряки из Владивостока и акробаты-эксцентрики с Камчатки. Чукотско-эскимосский ансамбль из поселка Уэлен — самой крайней точки Чукотки. Амурский народный хор из Благовещенска. Жены офицеров из Уссурийска исполняют танцевальную картинку «Ситцы». Чукча Нутетеин танцует на сцене охоту на песца. Танцевальный ансамбль коряков, приехавших из глубины Камчатки, танцует отрывок из первого корякского национального балета. Врач из Петропавловска поет балладу Новикова о русских мальчишках. В программе обозначены профессии исполнителей: матрос, рабочий, медсестра, колхозник, заведующий клубом, школьница... На концерте возникает ощущение необъятного и разноплеменного края со своей, совершенно особой, неповторимой физиономией. И это первое ощущение особости, неповторимости потом, чем дальше едешь, тем больше укрепляется в тебе.

Небольшой уютный дом — Хабаровское отделение Союза писателей. Его основал здесь в тридцатые годы Фадеев. Так оно и живет с тех пор в этом теплом, обжитом литературном доме. У отделения свои, давно сложившиеся традиции и ежемесячный журнал, широко печатающий всю дальневосточную литературу. Здешнее издательство, кроме новинок, в последние годы стало выпускать большую серию «Дальневосточный роман». В этой серии выходят и свои, дальневосточные авторы, и недальневосточные, но многие из них тоже выходцы с Дальнего Востока — Фадеев, Нагишкин, Задорнов, Ажаев...

— А знаете ли вы, в каком кресле вы сейчас сидите? Вы сидите в кресле, в котором сидел Арсеньев! Это его кресло и его стол!

Разговор происходит в маленькой директорской комнате Хабаровского краевого музея. Комнатка маленькая, да и музей небольшой, но природоведческий отдел его подобран так блистательно, что не хочется уходить. Посреди одной из комнат, от пола до потолка,

стоит кусок огромного ствола лиственницы с диковинным дуплом, в котором зимовал медведь. Зимовал он, как выясняется, на десятиметровой высоте. О том, как спиливали это дерево — так, чтобы не повредить при его падении диковинное дупло,— рассказывает директор музея Всеволод Петрович Сысоев. Географ, путешественник, охотник, еще не старый, крепкий, бородатый, влюбленный в свое дело человек, он, кстати говоря, сам и спилил это дерево. Впрочем, он же, как охотник, добыл многие из экспонатов, стоящих в музее. Не удивительно, что он с таким блеском рассказывает о природе этого края и о том, как, где, когда был добыт тот или иной зверь, чучела которых стоят в музее.

Комсомольск-на-Амуре. Ходим по большому судостроительному заводу, по стапелям, на которых строятся крупные грузовые суда северного ледокольного типа, и слушаем рассказы о том, как — «вот здесь» и «вот здесь» — на месте вот этого цеха, вот этого заводского пролета, вот этой заводской улицы была прорублена первая просека, сделана первая дорога, стояли первые палатки.

В киноискусстве есть такой прием двойного, наплывающего одного на другое изображения. Так и с этими людьми, построившими здесь все своими руками. Они идут вдоль стапелей, видят строящиеся корабли, а в их глазах на эти корабли наплывает еще одно, тридцатилетней давности изображение: первые падающие под топорами лиственницы, первые занесенные пургою палатки...

Город Солнечный. Неподалеку от Комсомольска. Вернее, пока еще поселок, но скоро начнет называться городом. Прямо в тайге, на сопках,— четырех- и пятиэтажные дома со всеми удобствами, большой универсальный магазин, который должны открыть на будущей неделе, новенькие прилавки, еще не поставленные на свои места полки, веселый запах свежей краски. В городе будет жить двадцать пять тысяч человек. Они будут ездить отсюда автобусами на работу — на разбросанные вокруг города в тайге рудники, добывающие олово. Город называется Солнечный, а рудни-

ки и поселки при них — Снежное, Озерное, Северное, Ветвистое, Перевальное, Придорожное и даже Фестивальное. В этих названиях все сразу — и ощущение красоты края, и ощущение собственной молодости, и доля озорства.

Разговор происходит в Магадане. Магаданскую область создали в 1953 году.

Земля богатейшая: ртуть, олово, вольфрам, золото, серебро.

В крае живет большая любовь к этой ледяной земле. Даже люди, в прошлом обиженные, стали величайшими патриотами края. А вообще по людскому составу область сейчас молодая — около шестидесяти процентов населения не перешагнуло еще за 30 лет. Пришлось решать много разных проблем. Взять хотя бы такую: в 1953 году на территории области женщин было 9 процентов, а теперь — 52 процента. В 1953 году было более 17 тысяч школьников, а сейчас — около 50 тысяч. Десятая часть населения — специалисты с высшим и средним специальным образованием.

— Спрашиваете насчет пенсионеров? Они, надо сказать прямо, чаще всего уезжают. Но все же первые пенсионеры появились у нас, на Колыме, особенно старушки. Проблема бабушки здесь — проблема острая, может, острей, чем где-нибудь. Вот и застревает старушка по доброте душевной, несмотря на то, что, как говорится: «Колыма, ты, Колыма, веселая планета, двенадцать месяцев — зима, а остальное — лето!»

— А в общем, многие из нас, наверное, уже насмерть вписались в Колыму, в чукотский пейзаж. Все мои дети здесь, все работают. За исключением тех, которые еще учатся. А выучатся, тоже вернутся сюда. Бывает так иногда: зовешь сюда человека, а он колеблется, говорит: «Куда вы тащите меня на Колыму, она у вас еще не обжитая». Мы слушаем и сердимся: «Как так еще не обжитая?» Для нас самих она уже обжитая. Мы-то помним, с чего начинали тут в пятьдесят третьем году!

Моему собеседнику Павлу Яковлевичу Афанасьеву за шестьдесят. Он приехал сюда уже немолодым. Был

рабочим, в войну был директором танкового завода; был советским работником; потом — работа в обкоме партии. К тем временам, которые были здесь до пятьдесят третьего года, при Дальстрое, относится строго, судит их по справедливости. Любит детей, любит этот трудный край. Человек, много повидавший в своей жизни, мудрый и усталый. В разговорах с ним чувствуется, что здоровье у него неважное, но и к этому он относится тоже мудро и мужественно.

Летим из Магадана в Анадырь. Мой сосед, Анатолий Иванович Иванов, работает в Магаданском управлении гражданского воздушного флота начальником отдела авиации специального применения. Спрашиваю, что делает его авиация. В ответе, как в капле воды, отражается облик края. Авиация отдела специального применения обслуживает геологов, десантно-съемочные и геодезические работы, гамма-съемки, магнитные съемки, высаживает с вертолетов на точки геодезистов, обеспечивает ледовую и рыбную разведки, разведку морского зверя, занимается лесопатрульной работой, включает в себя санитарную авиацию. Кроме того, ее вертолеты обслуживают скважины глубокого бурения нефти, завозят туда бурильное оборудование и разборные бараки...

Живем на Чукотке у пограничников. Застава. Где только их нет, этих застав! На каких самых дальних прибрежных сопках на материке, на островах, в местах, где приходится применять буквально все — от вертолетов и самолетов до оленьих упряжек и чукотских лыж-снегоступов!

Кстати сказать, для несения дежурства среди здешних снегов идет в дело и национальная чукотская одежда — ничего лучше пока не придумано да, наверное, и не будет придумано.

А если заглянуть в историю пограничного отряда, на одной из застав которого мы оказались, то путь его на Чукотку был ох каким длинным! Сформированный в сорок первом году, он прошел через всю Великую Отечественную войну...

Теперь на Чукотке май месяц. Снимаемся вместе с пограничниками на фоне трехметровой стены еще и не думающего таять снега.

Зенитчики. С высокой сопки виден океан. Весна. Но погожих дней мне здесь так и не удалось застать. Здания казармы почти не видно: в снегу,— одна сторона по фасаду открыта, но окна с другой стороны выходят в стену снега, поднимающуюся выше крыши.

Обыкновенная солдатская казарма, не хуже и не лучше, чем в других местах. Комната Славы, красный уголок, столовая, где крутят по вечерам кино,— все, как везде, только очень-очень далеко. А рядом — тончайшая техника, станции слежения и обнаружения самолетов, локаторы, улавливатели, слухачи и вообще, как говорится, черта в ступе,— чего только тут нет! Один из командиров провоевал зенитчиком всю блокаду Ленинграда, там же, в Ленинградском ПВО, и окончил войну. Другой начал войну под Кременчугом, окончил в Софии. Третий, начав в Калуге, завершил в Берлине.

А теперь служат зенитчики на краю света, в таком месте, где ветра́ при температуре минус двадцать бывают 60 метров в секунду. И люди, случается, обмораживаются, заблудившись во время пурги или белой мглы по дороге из казармы в санчасть,— дорога длиной метров семьдесят, но свернул на шаг в сторону и ушел неведомо куда...

Доброй службы вам, дорогие товарищи!

ТАМ, ЗА РЕКОЙ

Едем из Хабаровска по шоссе, ведущему на Владивосток. Еду и вспоминаю свое первое ощущение от Хабаровска, в котором я никогда до этого не был.

Если глядеть на Хабаровск с Амура, то город похож на человека, вышедшего к огромной реке и, удивившись и обрадовавшись ее мощи, остановившегося на берегу, широко раскинув большие, натруженные руки. Руки города раскинуты не то на тридцать, не то на сорок километров. Верфи, заводы, башенные краны, причалы; и снова заводы, и снова причалы, и снова башенные краны... Все это вышло к реке и раски-

нулось свободно и широко, не теснясь, не толкаясь плечами.

Если смотреть на Хабаровск не с реки, не со стороны, а изнутри, проходя по его улицам, то все равно удивительное ощущение просторности города не исчезает, остается. Широкие улицы идут с холма на холм, то подымаясь, то опускаясь. Втекают в просторные площади и снова неторопливо вытекают из них. А в то же время есть в этой просторности и какая-то своя, дальневосточная строгость.

О Хабаровске можно в этом смысле сказать, как о человеке: в нем есть военная косточка. Пожалуй, нет другого края в нашей стране, где бы — как здесь — до такой степени привыкли пахать и строить, держа под рукой винтовку. Это было вынужденно, но за десятилетия стало частью характера и дальневосточных людей и дальневосточных городов.

Хабаровск-город — военная косточка. И КВЖД, и Хасан, и Халхин-Гол — все это было, если исходить из дальневосточных представлений о расстояниях, рукой подать отсюда.

Главная война разразилась далеко отсюда, но почти во всех послужных списках людей, бравших или освобождавших столицы Европы, числилось до этого хотя бы несколько лет службы на Дальнем Востоке — в Хабаровске, Уссурийске...

Вчера я выступал в Хабаровске в казармах. Читал стихи солдатам. Каждый год сюда приезжают из Читы шефы. Каждый год, осенью, в часть приезжают служить пятьдесят призывников из Читы. Лучших, отборных читинских ребят.

Читая стихи в части, я вспомнил пыльную, насквозь продутую забайкальскими ветрами Читу лета тридцать девятого года. Японцы вторглись в Монголию. Мы, как было обещано, пришли на помощь монголам. В газетах почти ничего не писалось. А в районе реки Халхин-Гол шли уже третий месяц кровавые бои.

Редактору армейской газеты там, в районе боев, вдруг понадобился поэт, и он, не вдаваясь в подробности, послал в Москву телеграмму из трех слов: «Пришлите одного поэта». Был разгар лета, других

поэтов в Москве в тот день не случилось, и послали меня. Так, здесь, на Дальнем Востоке, двадцать восемь лет назад началась моя военная молодость.

Об этом я вспомнил, читая стихи в казармах части и глядя в молодые солдатские лица.

Часть воевала с Колчаком, прошла Казахстан и Прииртышье, дошла до Читы, потом дралась с бароном Унгерном в Монголии и 25 октября 1922 года первой вошла во Владивосток.

Вот уж о ком действительно можно сказать:

И на Тихом океане
свой закончили поход...

А сегодня мы едем из Хабаровска в тот район китайской границы, где не так давно пытались резвиться хунвэйбины. Пробовали крепость дальневосточных пограничных нервов...

По сторонам шоссе — тайга, лесхозы, деревни, промышленные поселки. То здесь, то там к самому шоссе выбегают дома и старой и новой постройки.

Клуб пограничников. На одной из стен — фотографии отличников пограничной службы. Среди них несколько человек, награжденных медалями за стойкость и выдержку, проявленные ими здесь в этом году, недавно, при охране неприкосновенности наших государственных границ.

Военных столкновений в прямом смысле этого слова здесь не было, но стойкость и выдержку пришлось проявить действительно железные. Медали на груди. Молодые, серьезные лица. Этим двадцатилетним ребятам оказалось свойственно высокое чувство государственной ответственности. За каждый свой шаг и поступок в весьма сложных обстоятельствах.

Воспитание в людях этого чувства государственной ответственности или, вернее, личной ответственности за дело государственной важности давно стало традиционным в наших пограничных частях. Вспомнить только, сколько конфликтов удалось избежать, сколько провокаций удалось пресечь именно здесь, на Дальнем Востоке, благодаря этому воспитанному в людях чувству государственной ответственности. Не сорвать-

ся, не поддаться первому порыву чувств, суметь вызвать чувство уважения к своей силе, не пуская в ход оружия,— все это, вместе взятое, и составляет трудное искусство пограничной службы. И это искусство вновь было проявлено здесь совсем недавно.

Свидетели и участники недавних событий здесь, на границе, рассказывают о том, как все это происходило. Как несколько дней особенно назойливо, пользуясь тем, что на Уссури еще стоял лед, хунвэйбины пересекали линию государственной границы, толпами двигались к нашему берегу, орали, наезжали грузовиками на цепь пограничников, преградившую им путь...

Спрашиваю: сколько их было? Отвечают, что было и по нескольку сот, было и до тысячи человек.

Судя по всему, организаторы буйств сгоняли людей к границе из нескольких ближайших китайских деревень. Среди рядовых участников этих спектаклей были, конечно, и наивные, малограмотные, распропагандированные люди, которым было внушено, что они делают нечто нужное и полезное. Некоторые из них на ломаном русском языке даже взывали к классовой солидарности советских солдат-пограничников, которые-де не должны слушаться своих, «продавшихся американскому империализму» офицеров.

Но среди шумевшей и хулиганствующей толпы нетрудно было заметить деловито сновавших, переодетых в гражданское военных организаторов всего этого, так называемого «проявления чувств».

Они, эти организаторы, по контрасту со всеми остальными хорошо заметны на снимках, сделанных нашими пограничниками.

Я рассматриваю снимки, и меня охватывает тяжелое чувство досады. Вот они, эти снимки: орущие на льду хунвэйбины, прущие на пограничников грузовики, лица деревенских мальчишек и молодых крестьян, а среди них — выхваченные из темноты аппаратом физиономии озабоченно совещающегося по ходу дела переодетого начальства.

До чего же противно все это! Цинично, глупо, наконец, противоестественно.

Я вспоминаю обо всем сделанном нашим народом для китайского народа. Вспоминаю народный Китай 1949 года, китайскую армию, в которой я был коррес-

пондентом «Правды» в дни ее последних боев с чанкайшистами. Я вспоминаю силу и естественность добрых и благородных чувств к Советскому Союзу, свидетелем которых мне приходилось тогда быть. Я вспоминаю все это и думаю об антинародной, в сущности, антикитайской подоплеке всей той нынешней, создаваемой сверху, антисоветской накипи, которая чем дальше, тем больше начинает перехлестывать все границы.

Впрочем, не все границы. В данном случае я употребил метафору, которая к нашим государственным границам не относится. Эту границу здесь, на Дальнем Востоке, ничто не перехлестнет и никто не перейдет. Порукой тому старая дальневосточная традиция прочности и незыблемости, от которой здесь и впредь никто не собирается отступать. К тому антисоветскому шабашу, который происходит рядом, в Китае, здесь, на Советском Дальнем Востоке, относятся спокойно. Здесь давным-давно привыкли к тому, что так называемая «тревожная граница» — это обыденность.

Одно время это привычное ощущение изгладилось, почти исчезло. Сейчас оно стало возобновляться. Ну что ж, это реальность, с которой, к сожалению, приходится считаться. Только и всего.

Дальний Восток — Москва.
Апрель — май 1967 г.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 3
Люди с характером 5
Разведчики бухарского газа 91
Июнь на Памире 111
Письмо господину Уиксу 125
Штрихи эпопеи 145
В ночь после штурма 180
Мурманск—Штральзунд 183
Талнах. Декабрь—август 196
Сады на поле боя 211
Приезжайте через год 234
Письмо в редакцию «Фрейе Вельт» 267
Первые часы на земле 274
Первостроители 278
Признание в любви 290

Константин Симонов.

ОСТАЮСЬ ЖУРНАЛИСТОМ

Редактор С. Сутоцкий.

Художник В. Медведев.

Художественный редактор Г. Федоров.
Технический редактор Л. Новикова.

Сдано в набор 22/VII 1968 г. А 00538. Подп. к печ. 31/XII 1968 г.
Бумага типогр. № 2. Форм. бум. 84×108[1]/32. Объем 16,38 усл. печ. л.
17,36 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Зак. № 2157. Цена 69 коп.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.

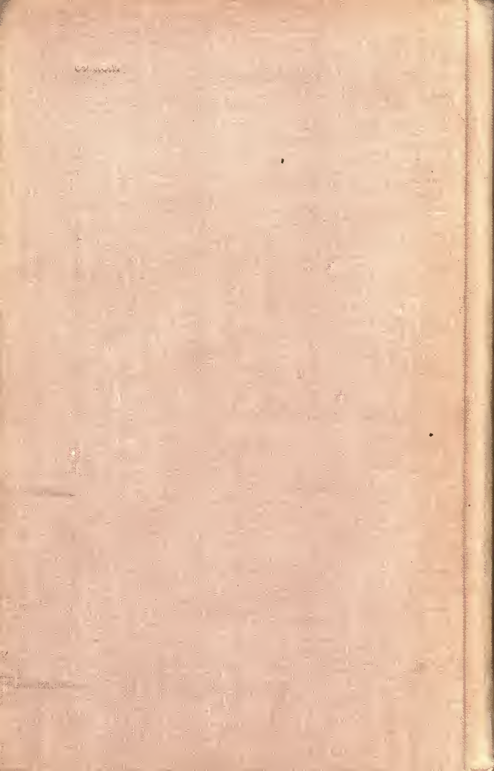
Индекс 7—3—2

3
5
91
111
125
145
180
183
196
211
234
267
274
278
290



3 г.
. л.
:оп.
:на.

-2



КОНСТ. СИМОНОВ • ОСТАЮСЬ ЖУРНАЛИСТОМ